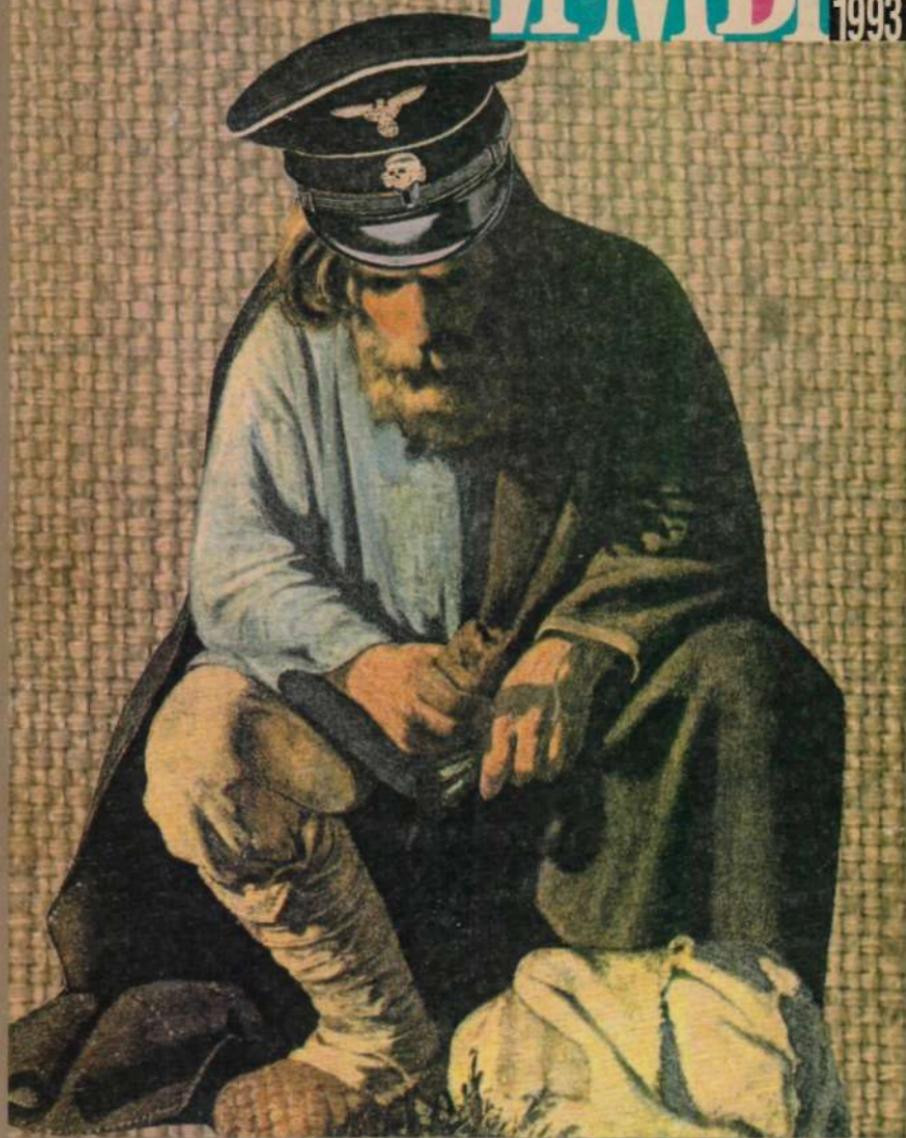


**ВРЕМЯ
И МЫ** 122
1993



ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ВРЕМЯ

И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Девятнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

122
1993

НЬЮ-ЙОРК,

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1993

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ЛЕВ НАВРОЗОВ**
ЮРИЙ БРЕТЕЛЬ **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ДЖОН ГЛЭД **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ **ЕФИМ ЭТКИНД** (зам. гл. редактора)

Московское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Лев Аннинский
Отвественная за распространение
Наталья Казакова
Адрес отделения: 103914, Москва,
ул. Моховая, д. 9, к. 206.
Тел.: 203-37-71

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot
Mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,
92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине

Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зиновий ЗИНИК
Десант в Колюре. 5
Владимир ДУШСКИЙ
Павел Иванович. 66
Лорен АЙЗЛИ
Течение реки. 86

ПОЭЗИЯ

Женя КИПЕРМАН
Поэма. 98
Денис НОВИКОВ
Проточная вода. 105
А. ЛЕИН
На губах у ночного дождя. 113

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Испытание. 118
Эраст ГЛИНЕР
Стихия с человеческим лицом?. 130
Алексей АБРИКОСОВ
Я никогда не вернусь в Россию. 150
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Крушение Шермана Маккоя, хозяина вселенной 163

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Елена ИГНАТОВА
Венедикт. 182
Хаим СОКОЛИН
Повесть об израильской нефти. 216

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

В. ПЕТРОВСКИЙ
Слово артпартии "Правда". 280



Зиновий ЗИНИК

ДЕСАНТ В КОЛЮРЕ

Ирине и Саймону Уолдрон

1

"Жаль, тебя с нами вчера не было", — тараторила Лена с набитым ртом. Она с беззаботностью большого ребенка уплетала свежий теплый круасан. Когда все нормальные люди приступают к ланчу, она завтракала. Она отрывала слоистые ломти горячего теста жадными пальцами, не глядя. Одновременно она прихлебывала кофе со сливками из чашки размером, как это заведено у французов, с суповую миску. Кофе расплескивался на ее джинсы, слоистая шкурка круасана летала вокруг их столика, как пух из разорванной подушки. Круасановый хлебный пух (как из разорванной перины?) подхватывался и уносился чайками. (Лена, со своим полузабытым русским, периодически называла их то чаинками, то чайниками). Причем

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© „Время и мы”
ISSN 0737-7061

тут, однако, разорванная подушка или перина? Подобный лексикон обысков и погромов мог возникнуть только у Алека в мозгу, с его диссидентскими аллюзиями из московского прошлого двадцатилетней давности, крайне неуместными здесь, в этом средиземноморском раю, где море и горы, и белый пароход проплывали перед глазами в разной последовательности, но с фатальным постоянством, как дурная рифма. Его одутловатая мрачность в это утро прибавляла лишней десяток к его сорока годам — особенно в контрасте с новоиспеченной беспечностью Лены с Сергеем: они были свежи, как утренний круасан, несмотря на перипетии утомительного вояжа в дом-музей Сальватора Дали по другую сторону франко-испанской границы.

"Мог ли ты, Серж, вообразить себе еще пару лет назад, в Москве, что будешь сидеть вот так вот, на юге Франции? Колюр, сюрреалисты и все такое, — Лена обвела горизонт широким жестом, взмахнув круасаном, как кистью живописца. — Алек, не строй из себя бирюка и зануду, ты помнишь, где ты мне впервые рассказал про Колюр?" Она снова повернулась к Сергею, отвечая на собственный вопрос: "В нашу первую встречу. Мы познакомились, представь, в Сохо".

"Это там, где лондонские порнухи, что ли?" — отозвался Сергей.

"В Сохо все есть. Мы познакомились в пабе. The French. Французский. Потому что владелец паба, пабликан, из французских гугенотов. Из семейства тех, кто бежал в Англию, после ночи длинных ножиц".

"Не ножиц. Ножей. Ночь длинных ножей", — поправил ее Алек.

"Большой нож, он и есть — ножище, разве не так? — отмахнулась Лена. — В этот паб ходили лондонские сюрреалисты. Фрэнсис Бэкон. Алек мне в первую же встречу рассказал про Колюр." (Алек от упоминания на людях собственного имени вздрогнул, как будто его поймали с поличным.) Постимпрессионисты. Сюрреалист Да-

ли. Это было много лет назад. И вот мы здесь. Колюр. Постимпрессионисты. Дали. Но все в натуре. То же самое, но не то. Смешно?"

"Что смешно? Что не то?"

"Слова про что-то, и это самое что-то, но уже в натуре". Лену начинало раздражать отсутствие энтузиазма в глазах у Сережи. "Фрэнсис и Франция. Понимаешь? Английский бекон, но меню при этом французское. Слова, казалось бы, те же, но все на самом деле — другое. Как меня будоражат эти сопоставления", — тараторила Лена. Алек собирался отчитать ее, как маленькую девочку, и напомнить, что в приличном обществе с набитым ртом не говорят. Но вовремя вспомнил, что он больше не отвечает за ее манеры перед лицом всего человечества. Человечество, разбросанное в неприлично полуголом виде по соседним столикам этого припляжного кафе, было, впрочем, занято совершенно иными заботами и идеями. Алек с толстовской брезгливостью и осуждением взирал на праздную суету толпы с ее зоологическими наклонностями. Часть публики, у парапета, с ленивой расчетливостью бросала хлебные крошки рыбам; рыбы метались со страшной суетливостью в толкучке за убогим даровым кормом, а рядом особи человеческого рода с нездоровым любопытством рассматривали это наглядное пособие по дарвинистской борьбе за выживание. Лена оторвала очередную дольку круасана, но вместо того, чтобы отправить ее в рот, пульнула ее в направлении озверевших рыб. Но попала она в Сергея, засмеялась и взглянула на него как бы заново, чтобы извиниться, и тут ее неожиданно поразило, как его бородатая хипповость, чуть ли не паспортная печать принадлежности к избранному классу в Москве, здесь воспринималась так, как будто Сергей был побродяжкой из алкоголиков, из тех, кто ошивается вокруг заезжей богемы.

"Если бы не Дали, он так бы и остался еще одним экземляром провинциального убожества", — продолжала Лена. Она произнесла "Дали" на английский лад, с ударением на "а", и Алек не понял, о каких таких далях идет

речь. Под словом "он" подразумевался, естественно, не Сергей, а Фигуэрес — родной город Сальватора Дали. Алек прождал их весь вечер, а потом полночи вслушивался в звуки за стенкой: не вернулись ли они? Эти звуки за стеной. Они (не звуки, а Сергей с Леной; впрочем, и звуки за стеной, вместе с ними) вернулись лишь на следующий день к ланчу.

"Мы вчера совершенно потеряли счет времени, пьянствуя в одной придорожной каталонской таверне, — встал Сергей. — Чем-то напоминает наши хазы".

"Наши — что? — брезгливо осведомился Алек, — если хазы, то, боюсь, что не наши".

"Хаза — не от английского ли это house?" — Лена обожала лингвистические параллели.

"Украинская, Ленок, — пояснил Сергей спокойно и терпеливо, как в разговоре с иностранцем, — украинская хаза. Мазанка. Хата".

"А вы разве — что, с Украины?" — вздернул удивленно брови Алек.

"Да, я родился в Киеве, — помялся Сергей, — но воспитывался в Сибири", — поспешил добавить он, как будто исправляя оплошность: то ли свою собственную, то ли своих родителей, то ли судьбы. Алек вздохнул с некоторым облегчением, если не сказать — с удовлетворением: хотя бы по пункту географического происхождения ему удалось поставить этого выскочку на место — показать, кто тут из них истинный москвич, а кто приезжий. Впрочем, они не в Москве, к сожалению, а в Колюре: а тут все приезжие. Не только постимпрессионисты. Даже сюрреалист Дали. Поскольку Дали — каталонец, а колюрцы как никак французы. Сейчас из некоторой дали не видно пошлых мелочей.

"С вашей независимой Украиной вы теперь в России иностранец?" Он отмахнулся рукой от кружащей над столом назойливой осы. "Это украинское "га" всегда, знаете ли, раздражало русское ухо. Приближается к восточной гортанности. Или возьмем грузин. Вы замечали: чем гортанней язык, тем климат теплей? Потому что в окружаю-

щую атмосферу выделяется больше углекислого газа. Хга! хга! — прохрипел он в лицо Сергею, подражая украинскому акценту. — А в Саудовской Аравии, где кричат верблюды, вообще сплошная пустыня".

"Грузины — это кто? — спросила Лена нервно. — Те, кто грузы грузят?"

"Я воспитывался в Сибири", — повторил Сергей, стараясь не поддаваться на провокацию.

"Когда же вы перебрались в Москву?" — не уклонялся от намеченной линии Алек. Сергей ответил, что в семьдесят пятом. "То есть именно тогда, когда я эмигрировал, — сопоставил даты вслух Алек. — В семидесятые в Москве образовалась масса вакансий. Удивительное дело: пока был железный занавес, казалось, что там, за ним, в России, есть и для меня место". Он закусил губу. "Но вот занавес открылся и выяснилось, что никакого места нет."

"Может быть, его никогда и не было? А про занавес вы это, между прочим, точно заметили. Что его уже нет. Ты понимаешь, Ленок, — Сергей закурил сигарету и откинулся в плетеном кресле, — если нет занавеса, значит, нет разделения на зал и сцену. То есть, на Россию и Запад. То есть, вместо театра "четвертой стенки" Станиславского у нас теперь театр Пиранделло. Я помню даже, Алек, вы писали где-то на эту тему". Сергей наморщил лоб. "Насчет того, что тюремная стена остается — неважно, внутри ты или вовне, но стена все равно непреодолима. А теперь стены нет и сплошной Пиранделло повсюду", — и он обвел рукой пляж.

"Почему нужно все сводить к театру?" — раздраженно пожал плечами Алек.

"Можно вопрос, — шутливо подняла по-школьному руку Лена. — А почему все нужно сводить к эмиграции?"

"Ну, конечно, у вас теперь в России все туристы, — хмыкнул Алек. — Есть куда поехать. Есть куда вернуться". Алек явно хотел добавить что-то еще язвительное про туристское отношение к прыжкам через границу, из-за

чего в эпоху железного занавеса некоторые ломали себе шею. Но он вовремя сдержался.

"Жаль, ты с нами не поехал", — вернулась Лена к дому-музею Дали. "Поразительный ум у этого Дали. У входа, представляешь, растет пальма. Но подходишь: а это, оказывается, не ствол пальмы, а автомобильные шины, покрышки, одна на другой".

"А помнишь, Леноч, еще вот эти, — подключился Сергей, — водопроводные раковины под крышей — точь-в-точь капители колонн. Это такой поиск необычного, чуждого — в знакомом. Не так ли, Леноч? Автомобильная покрышка — ствол пальмы; капитель, увиденная в обыкновенной водопроводной раковине. Гениально!", — помычал он, уплетая спаржу со свежей семгой — самое дорогое блюдо в меню, прихлебывая при этом из фляжки с серебряной завинчивающейся крышкой (подарок Лены). Еще одна оса слетела с плеча Алека и стала кружиться над тарелкой Сергея. Потом еще одна. И еще. Алек отвернулся, вглядываясь в горизонт средиземноморского рая, где и земля, и небо, и море давно уравнились в правах по глубине и голубизне. В небе парил огромный и вытянутый, как надувной матрас, то ли парашют, то ли воздушный шар, и под ним, на ниточках, висел человек. Этот вытянутый воздушный шар был раскрашен в черно-желтую полоску, и можно было подумать, что это гигантская оса уносит ввысь цепляющегося человечка на своих ниточках-лапках. Алек хотел указать на эту странную иллюзию Лене, но подумал, что это будет воспринято как некая попытка подладиться под Сергея, с его открытиями чуждого в знакомом, как у Дали.

"Откуда здесь столько мух?" — отмахнулась в очередной раз Лена от назойливого жужжания вокруг, как от надоедливого разговора.

"Это не мухи. Это осы. Говорят, здесь где-то неподалеку перерабатывают мед", — сухо проинформировал присутствующих Алек.

"Мед собирают пчелы. А это осы", — сказала Лена.

"Насчет меда не знаю, но портвейн тут приличный", — прихлебнул из фляжки Сергей.

"Надо будет повесить какие-нибудь занавески: от ос, — сказала Лена задумчиво. — Я всегда боялась, что оса залетит мне в ухо, в нос, в рот, или еще куда-нибудь".

"Куда?" — Сережа улыбнулся двусмысленной улыбкой. И похлопал ее по бедру. Алек хотел бы ударить его чем-нибудь тяжелым.

"Они все кружат вокруг еды почему-то. Мы же не цветы?" — сказала Лена.

"Ты моя ягодка", — потрепал Сергей Лену за загривок.

"Это, явно, особые осы. Это осы-мясоеды", — сказал Алек.

"Это не мясо — это рыба, семга", — сказал Сергей, подчищая остатки на своей тарелке.

"Семга — она, между прочим, мясная рыба. Кровавая. А может быть, они подбираются по вашу душу? точнее, тело? — сказал Алек с наигранной зловещностью. — Может быть, они осы-каннибалы?" При условии, что вы — не рыба, хотел добавить он, но промолчал. Может быть, они — не мясо, не рыба, а нечто третье. Новая порода. Новое поколение, короче, советских людей, которое уже никогда, никогда — не будет жить при коммунизме.

"Сережа, тебе не кажется, — и Лена задумчиво запрокинула голову, погружая пятерню в копну своих рыжих кудрей, — не кажется ли тебе, что у Дали наоборот: это не поиски чуждого в знакомом, а наоборот, знакомого — в чуждом?"

"Понимаешь, Леноч, — пронзая вилкой пустоту, подхватывал ее мысль Сергей, — это зависит от твоей религиозной позиции: поиск чуждого в знакомом — это, так сказать, иудаизм, в то время как поиск родного в чуждом — явное христианство, понимаешь?"

"Понимаю", — промычала Лена, прихлебнув из чашки и проникновенно задумалась. Оба, и она, и Сергей, наслаждались этими псевдофилософскими изысками в кафе, у моря, среди курортной толпы. Им явно нравилось,

как они гляделись и слушались со стороны. Со стороны третьим лишним слушателем был, однако, лишь Алек. Все остальные в кафе были немецкими туристами.

Выискивать родное в чуждом — значит доказывать, что все, в общем-то, на свете одно и то же, и одно другого не лучше. Не в этом ли и весь смысл христианства? Ни эллина, ни иудея, ни родины, ни заграницы, ни пчелы, ни осы. "Насчет религиозности Дали, — с лекторским напором пошел в наступление Алек, — там, в Фигуэре, есть поучительный один экспонат: на растяжение и сжатие. На самом деле все религиозные метания Дали — не что иное как шутки старого клоуна". И он стал описывать стеклянный ящик. В нем — грязный клубок из спутанной проволоки, каких-то ленточек, резинок и бечевки. Ящик стоит на постаменте, вроде пьедестала, и в нем две прорези-щелки: одна с надписью "Растяжение", другая — "Сжатие". Кидаешь десять *песет* (тяжелая для русского слуха валюта) в щель с "Растяжением", и клубок под стеклом начинает на твоих глазах разворачиваться, дергаясь и распрямляясь, и трансформируется в конце концов, представьте себе, в фигуру распятого на кресте Искупителя. Еще десять *песет* (монета с грохотом проваливается в щель с надписью "Сжатие"), и Искупитель на кресте начинает сморщиваться, суксиваться, сжиматься и превращается в комок проволоки, грязных тряпок и бечевки. Изложив инженерные тонкости всей этой сюрреалистской конструкции, Алек взглянул на Лену с Сергеем по-учительски: "Надеюсь, вы приняли участие в этом аттракционе?"

"Откуда ты все это знаешь, ты там был?" — спросила Лена.

"Где? В доме-музее Дали или на кресте?" — сощурился Алек пытливо. Лена, однако, не прореагировала на это ерничество. Она закурила и стала смотреть на море.

"Пора идти купаться, — сказала она. — Попроси счет".

"Для этого не обязательно видеть все это воочию, — не съезжал с конька (с креста?) Алек. — В ногах правды нет. Больше правды в печатном слове. Я изучал каталог.

Чудо воскрешения, хочет нам сказать Сальватор Дали, как и кара распятия, и то и другое творится нашими собственными руками — с десятипенсовыми песетами-серебренниками в руках. Или с российскими медяками. Все в руках человека. *L'addition, сильвуплэ*", — помахал он официанту, требуя счет. В этот момент Сергей поднялся из-за стола и направился в туалет. Платить, как обычно, приходилось Алеку. Такое упражнение на растяжение и сжатие чужого кармана. Он снова повернулся к Лене: "С каких это пор тебя стал задевать мой антиклерикализм?"

"Это не антиклерикализм. Это богохульство", — сказала Лена, после некоторой паузы.

"Если это и богохульство, то не мое. Жалуйся на Сальватора Дали, — не унимался Алек. — Но с каких это пор тебя стало задевать богохульство как таковое?"

Она помялась. "Я, ты знаешь, крестилась". И опережая вопросы: "Полгода назад. Когда была в последний раз в Москве". Она оглянулась по сторонам, как будто проверяя, не подслушивают ли их. "Сергей, кстати, не имеет к этому никакого отношения, хотя и одобряет мой поступок", — поспешно добавила она, перехватив взгляд Алека. Тот отвел глаза, быстро пробормотав: "Ну да, конечно, понятно, о чем речь", — соглашательски, как будто стараясь замять свой антиклерикальный эпатаж с минуту назад и сделать вид, что ничего особенного не произошло. Собственно, этого и следовало ожидать. Как только приоткрылись советские границы, Лена тут же бросилась оформлять визу в Москву, хотя до этого на каждом углу говорила, что все эти перестройки — очередной большевистский блеф и она будет сидеть в эмигрантско-диссидентском окопе вместе с Алеком до окончания века. Век, впрочем, кончался. Не так уж много лет осталось. Алек делал вид, что перемены в России его не касаются. "Нельзя возвращаться к прежней любовнице", — говорил он, когда его спрашивали, не собирается ли он посетить родину. И пожимал плечами: "Родина? Какая родина? В одно болото нельзя войти дважды".

Лена, однако, не способна была столь же афористично формулировать на родном языке свое отношение к России (ее русский был как никак семейно-эмигрантским, от родителей в детстве); поэтому она решила разобраться в собственном словарном запасе и эмоциях, просто-напросто перебравшись временно в Москву. Там она, как всякая дура-иностранка, набралась фарцовочно-богемного сленга новой волны, словечек, вроде "оттянуться". А главное, она подобрала там и Сергея. Сергей и был ее новым доктором Хиггинсом и главным режиссером ее пребывания в России: в прямом и переносном смысле — она прибыла в Москву с английским паспортом для участия в его спектакле про англичанку, прибывающую в Москву. Алек периодически ловил себя на том, что не понимает в их обмене репликами ни слова: в этих словечках, в этих быстрых перемигиваниях с аллюзиями на только им известные московские события, постановки и делишки в театре, с глубокомысленными рассуждениями про "четвертую стенку" Станиславского или слияние зрительного зала с подмостками в духе Пиранделло. В связи со своим опытом гастрольных поездок по Европе и переездом в Англию Сергей постоянно возвращался к шекспировской идее всего мира как театральных подмостков и любил порассуждать о художнике как о бродячем актере, наподобие средневекового барда или менестреля. Лена целиком и полностью разделяла его энтузиазм:

"Он мечтает возродить традицию бродячих трупов", — с академическим апломбом объясняла она Алеку. Без тени улыбки Алек понимающе кивал головой, повторяя: "Традиция бродячих трупов. Оригинально".

2

В курортном Колюре Лена с Сергеем вели себя так, как будто это был их медовый месяц. Алек возвращался к одной и той же мысли: как он вообще согласился включиться в этот припляжный фарс? "Но ты обещал", — настаивала Лена, когда она засветила в Лондоне идею

этой поездки втроем. Он, действительно, обещал. Несколько лет назад он обещал Лене легендарный Колюр постимпрессионистов. Но это было несколько лет назад. После знакомства в "гугенотском" пабе*. И вот гугеноты вернулись во Францию, чтобы до хрипоты спорить о христианстве как опыте на растяжение и сжатие. Известно, чем такие споры заканчиваются: "ночью длинных ножищ". Старые слова в новом переводе убивают прежние мысли по поводу этих слов. Пару лет назад еще была надежда, что наше советское прошлое прочно законсервировано за железным занавесом, где лиходействуют узурпаторы, а мы — изгнанники на Альбионе, нет — на зачарованном острове Просперо, с магическими книгами тамиздата в руках и волшебными снами о братстве и свободе — в уме. Но вот темницы рухнули, и на обломках самовластья вместо "наших имен" стали писать: "Сереза + Лена = любовь", и дальше еще что-то, матерное. Алеку, однако, всегда важнее всего было сделать вид, что ничто не изменилось. Сделать вид, что у него не было никаких особых связей с Леной, кроме как дружбы.

Она, вернувшись из Москвы, и представила его Сергею как старого знакомого, доброго соседа; ведя себя при этом во время их первой встречи так, как будто у нее, Лены, в свою очередь, нет никаких особых отношений с Сергеем — разве что стали спать вместе, а так ничего особенного, и все это, само собой, не должно нарушать общей картины добрососедских и приятельских отношений. Почему бы, в таком случае, не мотануть вместе на юг Франции, аллюром в Колюр? Ты да я, да мы с тобой. И он согласился. В Колюре будет все в полном ажуре. Бессознательная злоба вместе с изжогой от маслянистого сэндвича *крок-месье* за ланчем стала подкаты-

*Семейство Берлемонт, родом из французских гугенотов, заняло помещение нынешнего паба The French в Сохо в 1914 г., когда Англия объявила войну Германии, в связи с чем бывший владелец паба, немец Шмидт, вынужден был покинуть Лондон.

ваться от кадыка к груди, как будто гвоздем царапая сердце. Это был еще один гвоздь. Еще один гвоздь в гроб его отношений с Леной. В один прекрасный день он перестал угадывать выражение ее лица, как будто видел ее не целиком, а урывками, сквозь дыры этого самого ржавого и рухнувшего железного занавеса. Сейчас она вот-вот готова была окончательно исчезнуть, хлопнув у него перед носом дверьми православного храма. Не отказавшись, впрочем, от английского паспорта. Такая инвалидная Голгофа. Он еще не мог сформулировать, кто, собственно, виноват в том, что он оказался за дверью, но ясно было одно: этот ее шаг был еще одним гвоздем в гроб их отношений. Шаг был гвоздем? И почему в гроб, а не в крест? Сколько, кстати, гвоздей было вбито в распятого человека?

"Ты не хочешь передвинуться на солнце?" — спросила Лена, обращаясь к Алеку. Сергей вернулся к столику с купальным полотенцем наготове. Они спешили занять место на пляже.

"На солнце нежатся только ящерицы. Змеи тоже", — усмехнулся Алек. "Короче, всякие рептилии", — обобщил он и смерил взглядом мускулистые прелести Сергея. Тот уже успел раздеться до плавок.

"А в тени, между прочим, отсиживаются лягушки. Как насчет искупнуться?" — услышал он в ответ. Искупнуться? Искупители предлагают искупнуться. В водах Иордана? Он затравленно оглянулся на пляжные зонтики, полуобнаженные тела, барашки, бегущие к горизонту по морю: они как будто не имели к морю никакого отношения и неслись по воде, как поезд дальнего следования мимо пригородов. Яко по суху.

"Я предпочитаю передвигаться по водам яко по суху", — скаламбурил он на "водах" и "курорте" в ответ на предложение Лены искупаться. Каламбур, однако, остался явно непонятым, и Сергей с Леной, не улыbnувшись, отчалили. Допивая кофе, он проводил их взглядом до пляжной будки, где выдавались солнечные зонтики. Будкой заведовала тетка в берете, с пародийно французской

внешностью парижанки-пигалицы: раскрашенный помадой воробей с клювом попугая. Как будто наученная опытом дефицита эпохи оккупации, она проводила свою систему распределителки: лучшие зонтики получали самые заслуженные посетители пляжа — с курортным стажем. Остальные раздавались в порядке очередности. Со всем покореженные и сломанные отдавались новопривышшим пришельцам, без всякой при этом скидки. Впрочем, впихивая в руки незадачливому туристу зонтик с внешними данными инвалида Второй мировой войны, она предупреждала на курортной смеси всех доступных ей языков: "Нот гуд. Капут!" Вот именно: капут. Не такие уж космополитические стали эти курорты: во всяком случае, нейтральный английский все больше и больше вытеснялся немецким. Немецкая речь слышалась на каждом углу. Ничего удивительного: все эти французики из Бордо, надсаживая грудь, с энтузиазмом провозглашали свою лояльность нацизму в эпоху оккупации. Сейчас эта лояльность называется преданностью идеалам единой Европы. Алек издал сардонический хмык, но, перехватив удивленный взгляд случайного туриста за соседним столиком, сменил гримасу на добродушную улыбку, взмахнув при этом приветственно рукой — якобы Лене с Сергеем, благо они все равно смотрели в другую сторону: они блуждали между телами отдыхающих в поисках свободного места. Лучшие места на пляже чуть ли не до рассвета выкладывались махровыми купальными полотенцами. Немецкими. Немец выкладывал полотенце, застолбив тем самым место, а сам шел спокойно завтракать. Типично немецкая расчетливость.

Расплатившись, Алек перебрался из кафе на свое любимое место на набережной, в двух шагах от променада, под развесистым тенистым деревом — то ли чинарой, то ли шелковицей; с огромным скрученным в спираль стволом, где кора, как старческий лоб, сморщилась от затянувшейся попытки не забыть собственного, запутанного в ветвях прошлого. Хозяин заведения разрешал ему пе-

редвинуть к дереву одно из парусиновых кресел. Это был комфорт: не надо было корчиться под знойным солнцем на песке пляжа, и, кроме того, всегда можно было перебраться обратно в кафе — с пастисом-перно под кофе с газетами. Кроме того, сколиозная скрученность ствола дерева как бы нейтрализовывала его собственный ревматический позвоночник. Он уселся на краю парапета в удобном парусиновом кресле и раскрыл "Даниэля Деронда" Джордж Эллиот. Он уже добрался чуть ли не до пятисотой страницы, но с героями пока ничего еще не произошло. Главный герой, аристократ, все еще подозревает, что он — еврей; героиня все еще замужем за другим аристократом, не подозревающим, что он поддон; сама же она подозревает, что главный герой может по-настоящему любить ее лишь тогда, когда она глубоко несчастна, то есть замужем за подонком-аристократом и, следовательно, не имеет никаких шансов на ответную любовь главного героя: но главное, обо всем этом они не могут сказать друг другу ни слова, и, видимо, в этой невозможности самовыражения и скрывался весь драматический конфликт. Так или иначе, бросить книгу и забыть про ее героев Алек уже не мог.

Он огляделся. Незамысловатая интрига его пребывания в этой местности состояла в отчетливом ощущении полной своей неуместности. При полном отсутствии, однако, хоть какого-либо повода для жалоб. Окружающая действительность, как впрочем и вся Франция вообще, была похожа на собственную, глянцевирую почтовую открытку. Оптимизм полосатых, как тюремная пижама, навесов над розовой клеткой скатертей в кафе и ресторанчиках, сползающих прямо к морю. Море просматривалось насквозь, на десятки метров в глубину, и не ясно было, что в чем отражалось: небо в море с белыми облачками пены, или же море в небе с белыми пароходами плывущих облаков (Сергей, впрочем, уже успел сравнить небо с голубой тарелкой, где кусок камамбера — вместо облака. Эта его южная сочность метафор!) Игрушечная романтика двух-трех парусных яхт на приколе — как две белые простыни

на невидимой бельевой веревке для просушки на ветру — в уютной гавани. Даже гора с крепостью, замыкающая бухту, была похожа на акварель художника-этнографа, нет, на подмалевок постимпрессиониста (жизнь подражает искусству), и была такой небрежно воздушной, что, при всей его монументальности, пейзаж этот, казалось, можно отклеить от бело-голубого небосвода, свернуть в трубочку, сунуть в карман и увезти с собой в любой конец света (сказал бы Сергей. Почему он все время размышляет с оглядкой на Сергея?)

Во всем этом была прелесть повтора и предсказуемости — в смене колеров ландшафта от восхода до заката, в маршрутах отдыхающих и местного населения: одни после полудня шли с пляжа в кафе и пили кампари, другие, закрыв свои лавочки, начинали катать в скверике блестящие металлические шары, попивая местный портвейн *banuuls*. Все тут было создано, казалось бы, для его, Алека, комфорта. Пляж в двух шагах: спуститься четыре ступеньки по мраморной лестнице. Надоело сидеть на пляже — можно перебраться в кафе. Надоело сидеть в кафе — Лена устроила так, что ему ссужалось парусиновое кресло: сиди себе на парапете под шелковицей (или все-таки чинарой? а может, тамариском?), как на палубе парохода, плывущего в будущее. Алек не знал, к чему придаться, но твердо знал, что придаться просто необходимо, необходимо отыскать объяснение собственной депрессивности. Как может быть все так хорошо вокруг, если внутри у него все так мерзко? Почему человек так подозрительно относится ко всему, что сулит безоблачное счастье? Откуда такое маниакальное стремление разоблачить этот прекрасный старый мир как фальшивку?

"Взгляни, мой друг: какие горы, какое небо, какая вода, какой свет!" — повторяла с припадочным энтузиазмом Лена каждое утро за завтраком, мешая Алеку, мрачно прижимавшему ухо к транзистору, слушать "Свободу". Новости из России утешали: бешеная инфляция, анархия, разгул национализма. Приятно было сознавать, что с

исторической точки зрения отъезд не был ошибкой. Он правильно сделал, что мотанул тогда, несмотря ни на что. "Неправда ли перфектно?" — говорила Лена на своем полурусском, звучащем для московского уха Алека как некий несуществующий хохлацкий выговор. Перфектно. Гарно. Гарна дивчина. У Сергея она, что ли, научилась, начав делить с ним, по-киевски, хазу? "Язык вообще очень изменился за последние годы, правда, Серж?" — отвечала Лена на пренебрежительные колкости Алека. Сережа согласно кивал головой. С похмелья он обычно отмалчивался. "Совершенно по-другому теперь говорят", — повторяла Лена. "Кто говорит? — сощуривался Алек в раздражении. — Те, кто заселил Москву, когда я из нее уехал?" Сергей продолжал молча дожевывать завтрак, обычно не вникая в конфликт, или делая вид, что не понимает, о чем идет речь, тем более, что периодически Алек чуть ли не демонстративно переходил в присутствии Сергея на английский. Лена выскакивала из-за стола к мольберту и начинала энергично вытирать кисти обеденной салфеткой или, наоборот, машинально, свои губы после еды — тряпкой из-под кистей. Потом она хватала этюдник и убегала в горы.

Ее тянуло наверх. Это как во сне летать — к сексу. За ней следом неизменно отправлялся Сергей с томиком повестей Булгакова. Кто-то надоумил его, что в Англии можно с успехом поставить булгаковское "Собачье сердце" ("Интересное у этого писателя сердце", — съязвил Алек): англичан, мол, интригует все, связанное с собаками и с вивисекцией. Пока Сергей обдумывал на вершине пересадку "Собачьего сердца" на английскую почву, Лена с подозрительной жизнерадостностью писала один и тот же пейзаж. Акварель. Иногда ветер срывал с кнопок и уносил этот пейзаж под гору, и тогда, спланировав над крышами Колюра, подмалевок носился по улицам, попадая под ноги прохожим. Но Лену это не смущало, и она приступала к следующему экземпляру этой вечной красоты, при взгляде сверху, все с той же жизнерадостной одержимостью. Впрочем, поскольку от этого вида сверху

оставались одни наметки и подмалевки, снизу, с того места, где сидел Алек, не ясно было, как они там с Сергеем проводили время. То есть, у Алека на этот счет не возникало никаких сомнений — чем они там занимались среди зарослей, как выражалась Лена, "шипейника" (где путался, в ее эмигрантском русском, репейник и шиповник). Сейчас, оторвав глаза от книги, Алек отыскивал среди натюрморта полуголых тел на пляже Сергея и Лену. Она склонилась над ним и высыпала тонкой струйкой песок из горсти ему на волосатую грудь.

В этот момент их полуголые тела среди припляжной оргии, как будто чернильным мазком цензуры, заслонил огромный мешок, всплывший у него прямо перед глазами. Алек встряхнулся и понял, что это не пятно черной ненависти у него в уме, а чей-то огромный рюкзак в натуре. Рюкзак покачался в воздухе перед носом Алека и с глухим шмяканьем, как труп, приземлился на асфальт. Рядом плюхнулся еще один такой же курдюк. И еще один. Рюкзаки прибывали с однообразием каравана груженных верблюдов, один за другим, на площадку под деревом, где он сидел. Верблюды были одеты в шорты и ковбойки, с панамками на голове, в тяжелых горных бутсах с отверстием шерстяных носок. Все это было слегка полинялым, в пятнах пота, несколько обгоревшее на солнце под ветром, как и их лица с обветренными щеками. Верблюды, как оказалось, были женского пола. Немецкого происхождения. С мужиковатым кряканьем они освобождались из лямок рюкзака и с уханьем плюхали его вниз на асфальт точно так же, как скидывают трупы в морге из холодильника на вскрытие. Скинув рюкзаки, они стали рассаживаться прямо перед Алеком, кто на парапет, кто прямо на асфальт, постепенно выталкивая его с привилегированного места под деревом, отделяя его от моря, от простора, от воздуха. Это были крепкие, широкоплечие, кургузые бабы. Большинство было подстрижено под полубокс, с короткой щетинкой седины там, где просматривалась мускулатура шеи. Как по команде, они тут же стали переодеваться: расшнуровывали свои бутсы

и меняли носки — блаженно поводили голыми пальцами, подставляя мозолистые сочленения и пятки морскому бризу; за носками последовали и рубашки — они переодевались в пляжные майки, снимая прямо на глазах у публики свои лифчики. Бесцеремонно стягивалась рубашка — под ней суровое белье женщин военного поколения — такие же сатиновые лифчики были у мамы. Ботинки были в ошметках навоза с горных пастбищ. С блаженным мурлыканьем они распрямляли и растирали, массируя, скрюченные в мозолях пальцы. Расставляли голые икры, подставляя запотевшее тело ветерку. Алек следил за этой процедурой, как за порнографическим кино рвотного содержания: и тошнит, и невозможно глаз отвести. В их бивуачности не было ничего цыганского: скорее, аристократическое презрение к плебеям вокруг. Мол, принимайте нас во всей нашей беспардонности, с небритыми подмышками и бородавками: у вас, рабов прогнившей цивилизации, все равно нет выбора.

Алек чувствовал, как краснеет: но не из-за смущения, а от подступающего бешенства. Это бесцеремонное обнажение плоти проповедовалось, между прочим, еще в нацистской Германии. Эта манифестация единства с природой, демонстрация животных аспектов человеческой породы. Уставшие, но довольные, они передавали друг другу термос то ли с прохладительным, то ли с горячительным напитком, битте, дритте, данке, хенде-хox. По звуку немецкой речи он, наконец, догадался, кого они ему напоминают: состарившихся гимнасток с Олимпийских игр 1939 года в нацистской Германии. Гомосексуальные мускулистые зады. Дискоболки в пирамидах с гимнастами в обтянутых трико. Воющие от восторга трибуны, открытые лица спортсменов, готовых защитить рейх от всего порочного и циничного. Алек закурил и заметил, как одна из этих кургузых скалолазок отмахнулась брезгливо от дыма его сигареты. Это преклонение перед чистотой и незамутненностью всего почвенного, земного, природного. Мать природа, родина-мать. Рюкзак, солнце, ветер, играют мускулистые икры, ягодицы в трико под-

рагивают с каждым упругим шагом. Отойди, изыди, сгинь, не загрязняй своей еврейской душонкой горизонт. Как они похожи на потомков этих гимнасток. Впрочем, почему — потомков? Они и есть сами эти состарившиеся гимнастки. Немки были самыми назойливыми нудистами на пляже. С их провисшими животами над лобком, где волосы похожи на пук колючей проволоки; секс в концлагере. Такие наросты и наплывы плоти, обожженной солнцем, напомнили ему ошпаренные тела баб в русской бане, куда его водила мама, считая, что он в свои четыре годика еще ничего не соображает. Баня. Клубы пара. Газ. Газовые камеры. Наверное, в Освенциме и было, как под небритой подмышкой у такой немки. Так евреи раздевались на глазах у гитлеровцев под рычание овчарок. А теперь эти самодовольные немки, подстриженные под полубокс, раздевались у него на глазах, на глазах у московского еврея. Колесо истории совершило полный круг. В последний раз он объявлял себя евреем в России ради получения выездной визы в 75-м году. Ему пора отсюда сматываться.

3

Его как будто выжили из родной европейской цивилизации на ближневосточный песок пляжа. Когда он подошел к Лене с Сергеем, они распались, отделившись друг от друга, как Россия от Украины, не пересматривая, впрочем, общих границ. Так, по крайней мере, показалось Алеку. Так или иначе, Сергей в этот момент повернулся спиной к солнцу и к Лене и полез к ручке транзистора. В результате, конечно, сдвинет те диапазоны, где регулярно слушал "Свободу" Алек. Все эти дни, пока Лена исступленно воспевала кистью художника постимпрессионистскую красоту окружающего ландшафта, Алек с мрачной одержимостью эмигранта выискивал родные голоса в эфире. Точнее, голоса, звучавшие, как родные, лишь эхом в нашей собственной памяти. В ушах же звучал совсем иной голос.

"Кто это к нам пришел? Жертва борьбы света и тени?" — с ленивой иронией поприветствовала его Лена, растягиваясь поудобнее на песке.

"Какая подлость". — пробурчал Алек.

"Чья подлость? Света или тени?"

"Эти потные немки", — заявил Алек, проигнорировав иронию.

"Потные намеки?" — как будто передразнивая его, переспросила Лена. Еще недавно Алек записал бы этот ее лингвистический вывих, "твист", в качестве очередного танцевального упражнения по классу разговорного русского у себя в университете. Сейчас он даже не улыбнулся. Повторил: немки, потные немки. Лена оглянулась вокруг с любопытством, но никаких потных немок не заметила. Ни немок, ни намек на них. Вокруг располагался натюрморт из всех возможных вариаций обнаженных бюстов и оголенных бедер, сияющих на солнце кремом от загара. Немки, возможно, и были, но не потные. Алек облизнул пересохшие губы; он глядел на знакомые очертания груди своей бывшей любовницы, прищурившись и отворачиваясь от солнца, как будто смущаясь за нее, стыдясь голизны ее тела в присутствии посторонних глаз, ее правого соска, как всегда фамильярно, с задором чуть ли не глядящего тоже в сторону, его сторону.

"Я имею в виду этих баб с рюкзаками, — Алек плюнулся на песок рядом с Леной, отвернувшись от ее наготы. — Они меня выжили. Стали переодеваться у меня на глазах. Разложили свои потные носки с лифчиками у меня под носом. Этот тип германских брунгильд-спортсменов. Уверен, что кое-кто из них служил в лагерях надзирательницами. Неужели ты не заметила, что эти немцы оккупировали тут абсолютно каждый свободный клочок земли?" Последнюю фразу он сказал почему-то по-английски. Лена нервно оглянулась по сторонам. Ей показалось, что несколько голов повернулось в их сторону.

"Это еще Ходасевич писал, — заметил, не отрываясь от ручки транзистора, Сергей. — Леночка, ты читала мему-

ары Ходасевича? про Андрея Белого в Берлине. В публичных местах он говорил о метафизике по-русски, шепотом. Чтобы никому не мешать своими разговорами".

"*Шалом Иерусалаим*", — сказал транзистор под аккомпанемент еврейской скрипочки и поплыл дальше по радиоволнам.

"А когда доходило дело до оскорблений в адрес немецкой нации, — продолжал Сергей, — он, в вагоне берлинского метро, переходил на крики по-немецки. Ему казалось: если на иностранном языке — вокруг никто не поймет. Эмигрантский, короче, синдром."

"Куда ни повернись, везде сплошной *"ауфвидерзейн"*, — как будто намеренно пародируя этот эмигрантский синдром, Алек стал вставлять в свою речь еще и немецкие словечки. "То есть, если бы *ауфвидерзейн!* Но они уходить не собираются. Сплошной *гутен морген* каждый день", — сказал он. Его глаза при этом следили за руками Сергея; тот набирал пригоршни песка и потом аккуратно процеживал его сквозь пальцы — прямо на пупок Лене. Она перевернулась на живот, подставив солнцу (и Алеку) спину вместо ответа. Она старалась вникнуть в брошюру, подобранную в лондонской лавке движения New Age, заваленной кристаллами, глобусами, знаками зодиака, пропитанной буддийскими благовониями и немывотостью хозяев. *How To Create A World Where It Is Safe For Us To Love Each Other*. Louis L. Hay. Розового цвета. *Как Сотворить Мир Где Неопасно Любить Друг Друга*. "Почему ты не реагируешь? почему молчишь?" Алек втайне продолжал считать Лену англичанкой, и никогда не был уверен, понимает она его или нет. Поэтому в ее присутствии он на всякий случай все повторял по нескольку раз в разных вариациях: "Неужели ты ничего не видишь? живешь как в потемках? ведешь себя, как слепая?"

"Передай мне, пожалуйста, темные очки", — не повернув головы, сказала Лена Сергею.

"Они явно решили, что весь мир успел подзабыть нацистские ужасы и никто не будет плевать им в рожу

на каждом повороте. Обнаглели совершенно. Абсолютно". Последнее время слово "абсолютно" все чаще высказывало у него абсолютно неосознанно. Один из типичных англицизмов. Абсолютно. Скоро он начнет говорить, как Лена. Абсолютно перфектно.

"Ты пришел нам читать лекции о реваншизме?" — зевнула Лена. "И еще крем", — сказала она Сергею.

"Тогда Петр приступил к нему и сказал: "Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи раз?", — продекламировал вдруг приемник безупречным русским баритоном. Сергей подкрутил ручку настройки для чистоты звука.

"Это не Свобода. Это Голос Родины", — сказал Алек, как будто с ним кто-то собирался спорить на этот счет.

"И сказал ему Иисус: "Не говорю тебе — до семи, но до седмижды семидесяти раз". На весь пляж гремела с легким жужжанием и потрескиванием православная проповедь.

"Дождались: вместо регулярно-обязательной порции марксизма-ленинизма они теперь кормят население религиозной пропагандой — абсолютно такими же, заметь, сочными, пропитанными кровью, сытыми самодовольными голосами, как и при Брежнев", — забыв тут же про немецкую оккупацию Колюра, язвительно прокомментировал Алек голос прежней родины. Он снова вытер пот со лба и расслабил узел галстука: он разгуливал по курорту без пиджака, но за галстук цеплялся, как утопающий за соломинку — единственное, что, казалось ему, явно отделяло его от ненавистной ему толпы полуголых отдыхающих. Он не мог отвести глаз от струйки песка, которую процеживал сквозь ладони Сергей в ложбинку, где спина их общей знакомой переходила в ягодицы.

"Прекрати", — сказала Лена, приподымаясь и стряхивая песок. Она приняла из рук Сергея темные очки. "А где крем? Нет, не тот. Это для загара. А я и так вся, как вареный франкфуртер".

"Сосиска. Не франкфуртер, а вареная сосиска", — машинально поправил ее Алек, облизнув пересохшие губы.

"Франкфуртер — по русски, это ведь тоже сосиска?" — недовольно пробурчала Лена.

"Что в вымени тебе моем", — хихикнул Сергей.

"Чего-чего?" — спросила Лена.

"Ничего. Это не про сосиску. Это про вымя. Имя. Вымя. Это пародия на Пушкина. Шутка, — сказал Сергей. — Выключить можно?" Он имел в виду грохочущий над ухом приемник.

"Нет, отчего же? Послушаем, что говорят нынешние духовные собратья моей бывшей сестры по эмиграции". Он стрельнул глазом в сторону Лены. Тот факт, что Сергей решил воспользоваться его транзистором, Алек воспринимал, кроме всего прочего, как еще одно посягательство на свою личную свободу, свой интимный мир. Интимный мир обладал, впрочем, самыми мощными передатчиками в мире. Российский голос звучал нелепо и неприкаянно, ниоткуда, из черной коробки на песке, посреди голых тел и пестреных скатертей в кафе неподалеку, где дамы сидели в плетеных креслах с коктейлями и щурились на лазурный горизонт. Вслед за евангельской цитатой бывший партиец стал убеждать своих слушателей, что вне зависимости от загадочной арифметики с цифрой семь, смысл евангельского наставления в том, что теперь у нас не зуб за зуб, как в Ветхом Завете, а сплошное прощение и сочувствие.

Look into your eyes often. Лена старалась вчитываться в розовые странички и не слушать ни русского радио, ни голоса Алека. Express this growing sense of love you have for yourself. Forgive yourself looking into the mirror. Think of your parents looking into the mirror. Forgive them too. [Выражай это растущее чувство любви к самому себе. Прощай себя, глядя на себя в зеркало. Думай о своих родителях, глядящих в зеркало. Прости и их.] "Ты смотрел на себя сегодня в зеркало?" — обратилась она к Алеку.

"Перед тем, как подставлять другую беззубую щеку, они потрудились бы проверить библейскую арифметику, — на мгновение уставившись на нее, продолжал Алек свой монолог курортного тетерева — про то, что цифра

семь — это, на самом деле, аллюзия на слова Бога из Ветхого Завета. Бог пообещал, что тому, кто поднимет руку на Каина, тому отмстится "всемеро". Вот откуда цифра семь. Поучились бы всепрощению у библейских евреев. Но этому долгогривому из бывших партийцев важно доказать, что они, мол, перестроились, что они, православные христиане, гуманнее, чем старорежимные иудеи-жиды, брежневской эпохи. Наш прогрессивный Новый Завет и их реакционный Ветхий." Он хотел добавить что-то еще, столь же резкое и бичующее, про лицемерие новообращенцев, но остановился на середине фразы. "Вы кого слушаете: меня или это идиотское радио?"

"Насчет Нового Завета. Такой анекдот есть, знаете?" — вставил, оживившись, Сергей. "Приходит человек в магазин, спрашивает Новый Завет. А ему говорят: старый завет весь распродан, а нового еще не завезли". И он добавил смущенно, как будто извиняясь, после паузы, под пристальным взглядом Алека: "Старый, в общем-то, анекдот. Это мне еще отец рассказывал".

"Отец? Какой отец?" — спросил Алек, не вслушиваясь в суть дела.

"Мой отец, — пожал плечами Сергей. — А хочу сказать, в общем, это вашего поколения анекдот, я думал, вам будет смешно". До Алека, наконец, дошло, что этот откормленный переросток имеет в виду. Ему в голову не приходило, что Сергей, в принципе, годился ему в сыновья. Алек смотрел на него не мигая, с полуоткрытым ртом. Он снова облизнул пересохшие губы. Потом повернулся к Лене: "У тебя же отец — чистый еврей. Абсолютно. Как ты могла присоединиться к этой шобле абсолютных демагогов?" Алек задышался. В глазах Лены читались лишь замешательство и испуг. Она замычала, сжав зубы, и в жесте полного отчаяния запустила пальцы в копну волос, как всегда во время утомительных, бессмысленных и бесконечных споров с отцом, когда важна была не суть дела, а интонация, казавшаяся подозрительной и оскорбительной — и ей и ему. Алек вдруг напомнил ей отца: той же бычьей склоненностью головы, с залыси-

нами, с наморщенным метафизической натугой лбом, той же волосатостью рук, запущенных в карманы (нервно бряцающих там мелочью), с той же непримиримостью мнений.

"Ты мне своими придирками напоминаешь отца. Ты же сам всегда твердил, что тебе наплевать и на религию, и на родину. А сейчас тебе ведь лишь бы придраться. Чего ты ко мне придираешься?" Она готова была впасть в подростковую истерику со слезами.

"А тебя твой отец уже не устраивает? Тебе хотелось бы другого отца, да? Абсолютно в духе вашей православной религии: абсолютно то же раздражение на Ветхий Завет, на иудаизм. Другого отца захотелось. Неужели ты не понимаешь, что это религия отцеубийц?" Лицо Лены, заслонявшее солнце, почти целиком слилось с башней крепости, нависающей у нее из-за спины, с колокольной на скале, где над морем вздымался католический китч в виде креста с распятым Исккупителем из раскрашенного дерева. Туда ходили глядеть на закат Сергей с Леной: им виделось в этом базарном примитиве нечто православное. "Отца вы подменили. Выдаете новые паспорта. А кто не попал в православный реестр, кого в списке нет, тому духовное отечество не положено? Неужели тебе не ясно? Это и есть рука Москвы. Железный занавес снесен. И эта рука Москвы дотянулась и до меня. И запихнула в еще один эмигрантский карантин". Он яростно рассекал ладонью раскаленный воздух, и с каждым взмахом Лена отстраняла лицо как будто от невидимых пощечин. "И не только родину — даже мою эмигрантскую границу у меня отняли: вокруг сплошная православная губерния. И я — снова внутренний эмигрант. В изоляторе. В карантине". Он поднялся, отряхивая песок, как некую заразу.

"Ну что ты несешь?" — Лена отбросила брошюру с розовыми премудростями. *Sett hatred is only hating your own thoughts. Don't hate yourself for having the thoughts. Gently change your thoughts.* [Самоотвращение — лишь отвращение к собственным мыслям. Перестаньте нена-

видеть себя за подобные мысли. Вместо этого постепенно измените сами эти мысли.] "Ты посмотри, где ты находишься? Какая московская губерния? Какой карантин?" Алек оглянулся в панике, как будто эти слова Лены вытолкнули его из темноты коридора на яркий свет ошарашенного шумом и сутолокой вокруг. Навесы небольших кафе и ресторанчиков, начинаясь у променада, беспечно выплескивались столиками и плетеными креслами прямо на песок пляжа, так что пляжные зонтики путались с зонтиками над столиками кафе. Он проследил глазами линию променада, где через каждые два шага стоял мольберт моменталиста (обычно с пародийно богемной бородой и не менее бутафорским беретом из оперетты Оффенбаха), способного изобразить твое лицо за несколько франков в любой стилистической манере с поразительным несходством. Кроме того, тут были и старожилы изобразительного искусства в соломенных шляпах, с тросточками и этюдниками: такое впечатление, что они прибывали в Колюр каждый год в начале сезона с одними и теми же пейзажами, якобы только что нарисованными, и увозили их в конце сезона обратно домой, так ничего и не продав. А туземное население тем временем катало с загадочной логикой хромированные шары: когда солнце попадало в этот шар и отражалось, ослепляя тебя, казалось, что это не солнечный луч, а само стальное ядро летит тебя прямо в висок. Алек отер пот со лба, пытаясь сосредоточиться. Лена права: надо сначала понять, по какую сторону несуществующего занавеса ты находишься.

Над ухом у Алека, за спиной, немец-профессор размеренно журчащим голосом разъяснял что-то своей студентке (или любовнице?), склонившейся над научным томом у нее на коленях. Эти немцы даже на каникулах не теряют времени даром. Он уже давно заметил эту пару — в кафе, на прогулочном катере, на пляже: они всегда рассказывались так, как будто вокруг никого не было, вольно и с размахом, и тут же окружали себя некоей незримой оболочкой интимности, непроницаемой для постороннего взгляда. Профессорский баритон звучал с напористой

педагогичностью и одновременно с некоей сочной гортанностью, как будто он никак не мог проглотить похотливую слюну. Даже математические термины звучали провокационно эротически. "Эпсилон, икс, игрек, дифференциал, плюс" — причмокивание губами — и потом: "интеграл". Вполне возможно, он готовил ее к осенним экзаменам. Неважно, впрочем, к чему он ее там готовил. Ему было явно за сорок, ей не больше двадцати. Его загорелая кожа, как хорошо ухоженная дорогая обувь, отточенность в жестах и одновременно раскованность, звериная пружинистость всей его фигуры, как у опытного теннисиста, все это было как будто из другой, довоенной эпохи, с незабываемым валютным курсом, тяжелой индустрией и несокрушимыми традициями. Его слушательница внимала профессорскому инструктажу с благоговением, с затуманенным взором и полураскрытыми губами, отводя периодически выгоревший локон со лба, явно не столько вдумываясь в слова, сколько следя за движением его крупного рта, за медальным очертанием скул и подбородка с ямочкой. Известно, чем закончится эта математика, когда они пойдут переодеваться после пляжа к ужину. Рука профессора гуляла с натренированной небрежностью по колену его ученицы в коротких просторных шортах-кюлотах. Икс, игрек и кое-что еще писали мальчишки на заборах нашего детства. Сергей + Лена = любовь. Для твоего имени места на заборе не осталось.

"Профессор. Подсчитывает, во что обойдется строительство газовых камер в Колюре", — сказал Алек и расслабил узел галстука. В ответ он услышал знакомый, но забытый смешок счастливой школьницы: таким смешком встречала Лена его макабрические остроты в прошлом. Сейчас она наивно решила, что Алек после мгновенного приступа желчной злости вернулся к прежней иронии и язвительности. Но не тут-то было. Острота эта была вовсе не макабрическая. Точнее, это вообще была не острота: он сказал про арифметику газовых камер совершенно серьезно, но воспринято это было как макабрическая острота. Мимолетная, едва заметная смена в выраже-

нии лиц и то, что казалось не слишком удачной шуткой, становится зловещим прозрением. Как в плохом переводе: мудрость — это неправильно переведенная нелепость, и наоборот. Над ухом повторялось знакомое слово "гехабен". Если в конце предложения — "нихт гехабен", значит, всю эту мысль, высказанную столь сложно и длинно, надо понимать наоборот: единственное, пожалуй, правило грамматики, запомнившееся со школьных уроков немецкого — еще до того, как он сказал *ауфвидврзейн* всем на свете урокам и школам. Навощенный паркет актового зала. На облупившейся замызганной стене школьного сортира кто-то выцарапал твое имя, матерно приплюсовав его к кому-то еще. В начищенных гуталином ботинках отражается портрет Ленина, когда стоишь у доски и мучительно вспоминаешь не существующий у тебя в памяти ответ на вопрос из неподготовленного домашнего задания. Щеки алеют, как герань, шибаящая в нос клоповной жидкостью на щербатом подоконнике зернистого мрамора. Родина — это детство, и детство ушло. Нихт гехабен. Уебунген. Их бина дубина, полено, бревно. Что немец — скотина, я знаю давно. Вместе с картинками советской школы вернулось и ощущение того, что ее, советской власти, больше нет: ни власти нет, ни родины. И нет железного занавеса, защищавшего нас от всякой другой религии.

"Что же мне теперь, англичанином становиться?" — следуя своей собственной профессорской логике, сказал вслух Алек.

"Кстати, разве у вас нет английского паспорта?" — любопытствовал Сергей. Он в очередной раз прихлебнул из фляжки.

"А вас, Сергей, — повернулся к нему Алек, — как всякого советского, в прошлом, человека, за границей интересует только одно: наличие иностранного паспорта. У меня еще израильский паспорт есть, ну и что?"

"Я и говорю: про двойное гражданство. Про духовное, — отпарировал Сергей. — Возьмем нашу Елену". Он повернулся к Лене, но та отгородилась от разговора

розовыми листочками про мир, где неопасно любить друг друга. "Возьмем Лену: она была еврейкой, а теперь стала христианкой. Двойное гражданство. Двойное гражданство подразумевает, что на территории одной страны гражданство другой не играет никакой роли. Это как со сцены выйти за кулисы: ты еще в маске, но уже вне роли".

"А как насчет преступления против одной страны, совершенного на территории другой — в маске или без", — сощурился Алек. Сергей явно не понял. Послеполуденное солнце палило немилосердно.

"Это вы про Интерпол, что ли?" — спросил он.

"Во всяком случае, не про интер-секс, — хмыкнул Алек. — Интер-бог, скорее. Еврейский бог еще все свое востребует, можете не сомневаться. На какой угодно территории". Он, как старая бабка, ткнул пальцем в небо. Потом опомнился, поправил галстук. "Каждый, кто хоть мельком заглядывал, скажем, в того же Бердяева..."

"Бердяев — раб свободы? — не дал ему закончить Сергей, проявив неожиданную осведомленность. — Он был известный болтун. У него, между прочим, вываливался язык. Прямо посреди беседы вдруг изо рта вываливался язык. Не мог держать язык за зубами. Интересный недуг, особенно для разговорчивого философа".

"...говору тебе: не до семи, а до седмижды семидесяти раз", — снова прохрипел радиоголос. Алек, наконец, догадался выключить транзистор. На мгновение его поразила тишина: перезвон в ушах от припляжного гула и рокота приборя вслед за открячавшими голосами из эфира воспринимался как неожиданная пауза. Назревал скандал. В висках у него гудело от собственного голоса. Надо было держать язык за зубами. За железным занавесом. Как глушилка, все это время звучала еще и назойливая мелодия со стороны кафе: это был заезжий ансамбль ацтекских свирелей — каких-то шарлатанов сутенерского вида, выдававших себя за перуанских пейзажистов с предгорьев Анд. Теперь они со своими экзотическими инструментами прокладывали сложнейшие маршруты между столиками кафе. Алек стоял с опаленной зальсиной, в меш-

коватых хлопчатобумажных штанах фирмы Gap, всегда выглядящих так, как будто они на два размера больше, чем нужно, в сдвинутом набок галстуке — чучело среди обнаженных живых скульптур.

"Шикарная, все-таки, плешка", — сказал Сергей, обводя жадным до экзотики московским взглядом курортный блеск вокруг — как будто этот средиземноморский рай заново возродился во всей своей красоте из руин после артобстрела их идеологической перепалки.

"Да-да, — с преувеличенной поспешностью согласно закивал головой Алек. — Рай, чистый рай. А теперь представьте себе на минутку, что вы отсюда, из этого курортного счастья, никогда не выберетесь, что этот курортный парадиз — навсегда. И России больше не увидеть. Никогда. Вы знаете, что значит никогда? Именно это я и узнал, когда оказался на еще одном курорте — в так называемой Палестине".

"Вы бы присели", — сказал Сережа.

"Куда? Я же сказал: когда был железный занавес, была иллюзия, что у меня есть свое место". Он звучал, как Фома Опискин.

"И вот теперь, ему, бедному, негде приклонить голову. А почему у каждого должно быть свое место?" Лена встала, отшвырнув розовую бумажку, и сняла темные очки. Перевалившее далеко за полдень солнце било в глаза, и поэтому лица Алека она не видела. "Он думает, что у него нигде нет своего места. На самом деле место у него все то же. Заднее. На котором он сидел, сидит и будет сидеть. Он остался на том же месте, что и двадцать лет назад. Это мир вокруг изменился. Я пошла купаться, пока солнце не скрылось". Она поднялась и решительной походкой направилась к морю. Алек стоял красный, как рак; стал вытирать лицо платком, как бы стараясь заслониться от взгляда Сергея.

"Вы бы отошли в тень. Под зонтик. Вы совсем сгорели", — осторожно предложил Сергей, тоже пытаясь скрыть замешательство.

"Какая разница, солнце, тень? Как вы могли убедиться,

меня тут нет, — сказал Алек, — обо мне тут говорят в третьем лице".

"Насчет места, вас в России, — Сергей дотронулся до его локтя незаметным движением, как будто скрывая этот жест от Лены: она, казалось, следила за происходящим на берегу с моря. — Дело не в том, что у вас в России нет места. Дело в том, что там нет места ни у кого. Дело в том, что страна ушла из-под ног. Нету уже той России, где ни у кого не было места и все, тем не менее, были на месте. Вы думаете, мне есть куда возвращаться?" Сергей снова потянулся к фляжке.

"Прошрое у нас, может, и было общим. Но уплываем мы в разное настоящее, — сказал Алек, щурясь взглядом то ли на бултыхающуюся в бухте Лену, то ли на фланирующий на горизонте десантный катер. — И сейчас мне в качестве настоящего навязывают православное прошлое, которого не только у Лены, но и у России никогда толком не существовало".

"Из вашего, советского, прошлого ее увезли родители. Для нее православие было, как для вас, отъезд". Он сам перебрался поглубже в тень, под зонтик. "Такой драматический жест — воссоединиться с несуществующим прошлым: для вас — с Европой, для нее — с Россией. И Москва для нее всегда будет такая же чужая, как для вас Лондон".

"А для вас? — спросил Алек. Он совершенно не ожидал от Сергея подобного поворота в разговоре.

"А мне чего? Мне место не важно. Мне нужна сцена. Я — человек театра. Я сам жестов не делаю: я их режиссирую". Он оглянулся и весело помахал рукой Лене: она уже выходила из моря. Вернувшись к зонтику, она стала энергично растираться махровым полотенцем. Грудь ее ходила ходуном с каким-то олимпийским задором и бесцеремонностью. От ленивой припляжной расслабленности не осталось и следа. Алек даже вздрогнул, отстранившись, как будто это ему она угрожала, размахивая полотенцем в воздухе: "У меня совершенно пересохло горло: как насчет кока-колы, мужчины?" — сказала

Лена и устремила взор к столикам кафе, где с завидной оживленностью люди в экзотических шляпах и солнечных очках обсуждали нечто, явно не имеющее ни к чему отношение.

"Может портвейну?" — протянул Сергей фляжку Лене, но та потрянула головой, отделяваясь то ли от предложения Сергея выпить, то ли от последних морских брызг в волосах. Сергей протянул фляжку Алеку, предварительно отхлебнув из нее.

"Данке", — сказал сухо Алек. С появлением Лены в его голосе снова возникли задиристые нотки: "Портвейна не пью. Предпочитаю шотландское виски *мит вассер*". Он отмахнулся от вновь возникшей, не понятно откуда, осы. Лена вздрогнула, как будто Алек замахнулся на нее, а не на осу.

"Поглядите, какая радостная и оживленная толпа отдыхающих, — сказала она. — Как оживленно и радостно, в отличие от вас, занудных мужчин, беседуют друг с другом французы за столиком кафе".

"Их оживленность — сплошная видимость, — сказал Алек. — Это они руками размахивают. Из-за ос. Они отмахиваются от ос, а тебе кажется: они оживленно беседуют".

"Причем, это страшно опасно, когда язык вываливается, — вернулся неутомимый Сергей к бердяевской теме. — Потому что оса может укусить прямо в язык. Язык распухает изнутри и человек задыхается. Я знаю один такой случай", и он принялся описывать историю про укус в язык спящей жены какого-то его приятеля, что решило для приятеля проблему развода в свое время.

"Лена говорила: вы женаты?" — обратился Алек к Сергею.

"В некотором смысле. Я не успел развестись. Моя жена погибла. Попала под троллейбус", — сказал Сергей, избегая взгляда Лены. Вопрос насчет жены Сергея был оскорбительно-риторическим. Алек не мог не знать от Лены эту историю: ее роман с Сергеем, про скандал в московской квартире и как жена выбежала из подъезда на

улицу, прямо под колеса троллейбуса, неожиданно вывернувшего из-за угла. Лена в свое время ходила к психиатру: чувство вины, раздвоенности и т.д. и т.п. Когда и где Алек умудрился потерять Лену? Когда он позволил ей отправиться в Москву без него, ссылаясь на свое презрение к тем, кто возвращается к старой любовнице? (Она-таки нашлась, что ответить, в свое время: "Россия — твоя бывшая любовница, а не моя. Я пока еще не стала лесбиянкой". Про отношения с родиной-матерью она решила промолчать.) Как он позволил ей увлечься этим провинциальным философом с его рассуждениями насчет проблемы отчуждения, жизни как театра и тому подобными пошлостями? Когда ему стало все равно, с кем она общается? Он начинал ненавидеть ее за то, что его жизнь перестала быть ее жизнью. Он готов был дать ей пощечину за то, что их прошлое уплыло в неизвестном направлении. Вместо этого Алек потянулся к фляжке, взял ее из рук Сергея, но не отхлебнул, а завернул машинально крышечку и, не глядя, вернул фляжку Сергею. Тот, тоже машинально, снова отвинтил крышечку, и, не глядя, отхлебнул — он всматривался в небо:

"Этот парашютист, — сказал он, заслоняясь ладонью от солнца, — со своим полосатым парашютом, он похож на гигантскую осу". Алек раздраженно отметил про себя украденную из воздуха личную метафору. Парашютист все это время медленно вычерчивал в воздухе концентрические круги, расходящиеся по небу, как будто по воде — от гигантского камня Колюрской горы, нависающей над крепостью. Но сравнение маленького цветного тельца парашютиста с кружащей над головой осой было более точным. Она вот-вот готова была войти в смертельно жалящий виток. "Сколько, интересно, они могут продержаться в воздухе?"

"Сколько угодно. *Глайдеры*, — сообщила Лена английское название воздушных существ. — Они разбегаются с горы, подпрыгивают и сразу попадают в какое-нибудь воздушное течение". Однако с этой осой в небе происходило что-то странное. Парашют вдруг стал заруливать

резко вниз наискосок в сторону, снова вбок и снова вниз. Если присмотреться, можно было заметить, как парашютист в панике быстро перебирает стропы, пытаясь, явно, приостановить резкое снижение.

"Смотри, смотри!", — схватил Алек за руку Лену. Это было их первое прикосновение за многие месяцы. "Что с ним происходит? Он падает. Смотри, он падает прямо на нас". Парашютист стал еще быстрее терять высоту; он дергал за сложную систему веревочек, как бы парусную снасть, но ничего не помогало: крылья этого прямоугольного парашюта кренились на сторону, сворачивались по краям; судя по всему, этот летательный аппарат входил в мертвую петлю, в штопор, короче, летел вниз, грозя разбиться в лепешку, как расплющенная под ногой банка кока-колы на пляжном песке.

"Это ложная паника, — сказала Лена. — Тебе просто кажется. Ты не понимаешь: он просто снижается. Это гениальная система — как крылья у птицы. Этими веревочками он тормозит и идет на снижение". Глайдер, действительно замедлив парение, стал совершать плавные концентрические круги над головами загорающих, вырастая на глазах с каждым мгновением: восемь метров, четыре, два — и перед тем, как опуститься на асфальтовую площадку у чинары (или шелковицы?) рядом с кафе, он, в метре от площадки, на мгновение застыл в подвешенном состоянии так, что ступил ногами на землю, как будто выйдя из комфортабельного лифта.

Впечатление было такое, как будто именно этот, чудесным образом приземлившийся парашютист и начал эпическое вторжение военно-морского десанта на Колорский пляж. Но это была лишь иллюзия. Вначале никто ничего не понял. Ничто не было потревожено: ни привычные колера припляжной жизни — голубое с розовым — как в магазине "Top Shop" с Оксфорд-стрит для вульгарной публики; ни привычная и хорошо отлаженная магия курортной рутины: рука со стаканом коктейля приближается к губам, тело поворачивается на песке вслед за солнцем, гребешки волн кончают самоубийством, утопая

в песке пляжа. Среди беспечно снующих прогулочных катеров, моторных лодок и парусников, патрульный бот военно-морского десанта защитных серо-зеленых, жабьих колеров поражал не столько размерами, сколько прямолинейностью и напористостью. Неожиданно, как будто из-под воды, возникнув на горизонте, он вошел в гавань без особой помпы, но со стремительной четкостью хорошо вышколенного военачальника. Лишь когда от него отделился, как будто отпочковался, толстомордый десантный катер в окружении надувных моторных лодок и спасательных шлюпок, и зарывав, помчался, как будто не разбирая дороги, прямо к пляжу, — вот тогда только отдыхающие поняли, что происходит что-то неладное, происходит нечто из ряда вон выходящее. Отдыхающие, еще мгновение назад неподвижные, как трупы, стали приподыматься на локтях, вытягиваться во весь рост, удивленно шуриться на горизонт и пугливо перешептываться.

Лишь нация, столь позорно проигравшая несколько мировых войн, способна была выбрать курортный пляж в качестве площадки для военных учений. Пляж гарантировал полную безнаказанность в ходе маневров. Курортники беспокорно переглядывались, не зная, как им реагировать на богатырей в красных беретах, возникших из морской пучины. Но для Алека высадка десанта была достойным ответом на разнузданность немецких оккупантов Колюра, ответом настолько своевременным, что в первое мгновение он решил, что принимает желаемое за действительное, что появление морских пехотинцев на пляже — не более чем бред его болезненного мстительного сознания на грани солнечного удара. И немудрено: один за другим на страшной скорости из ревущих катеров выпрыгивали на песок курортного бивуака красные береты морских пехотинцев, и в мгновение ока все ключевые посты были оккупированы — крепость, кафе, и главное, солнечные зонтики. На глазах у ошарашенной публики они разворачивали плащ-палатки, выдвигали антенны переносных раций, растягивали провода и прилаживали

акваланги на случай погружения. Они возникали, как глубоководные чудища, прямо среди купающихся, сновали между столиков пляжных кафе, по цепочке передавали друг другу десантную экипировку.

"Что там происходит? Что случилось? В чем дело?" — спросил Алек, моргая и щурясь на солнце от мелькания вокруг; он явно был доволен неожиданным переполохом, нарушившим ненавистную ему припляжную рутину.

"Надень очки — увидишь", — сказала Лена машинально, сама еще не осознав всей абсурдности этой милитаристской выходки на пляже. Алек же раздражал ее, делая, как всегда, вид, что очки ему, якобы, не нужны. Он скрывал собственную близорукость.

"Зачем мне очки? — хмыкнул Алек, надевая очки. — Все абсолютно то же самое — в очках или без, разве что в очках почетче, но какая, в сущности, разница?" Но разница была невероятная. Вот именно: за мгновение до этого обнаженные женские прелести вокруг казались развалом в витрине мясной лавки, или же вообще не замечались, как будто все мы — туземцы, дети природы, и никаких одежд-покрывал не ведаем с рождения. Поразительно, что французские десантники поддерживали, казалось бы, эту иллюзию. Несмотря на курортную скученность, они двигались без заминки, не касаясь и не задевая ни единого предмета пляжного бытия. Они существовали как будто в ином измерении, способные, казалось, проходить сквозь предметы здешнего мира, оставляя реальность побоку, как луч света или дуновение ветерка. Они заведомо догадывались о существовании этого мира, но ни жестом, ни взглядом не выдавали собственной догадки и ни разу не вошли в контакт ни первого, ни третьего рода с его обитателями. Обе стороны делали вид, что они друг для друга не существуют, остаются друг для друга существами-невидимками.

И тем не менее, у телесного эксгибиционизма и эмоционального нудизма вдруг появился зритель. Зритель, хотя и делающий вид, что он не зритель, но, несмотря на свой десантный маскарад, а может быть, благодаря

ему, оттеняющий своим нелепым присутствием голизну участников припляжной сцены (хотя ни у этой сцены, ни у зрительного зала фактически не было границ). Женские позы претерпели почти незаметную глазу метаморфозу: развернулись плечи, чуть приподнялся бюст, втянулся живот, легкий сгиб в колене и разворот бедра — обнаженные тела обрели некую тугую пружинистость, как будто готовые отпарировать невидимый мячик взгляда. Впервые за многие месяцы Лена поймала на себе и взгляд Алека, скользнувшего по ее груди, вниз, к бедрам. Вместе с этой телесностью, плотью, оживающей на глазах, стали заметны глазу и миниатюрные протуберанцы песка или мелкой гальки — они вылетали из-под ног снующих вокруг морских пехотинцев: как следы человека-невидимки на снегу. На мгновение как будто загустел воздух. Но вторжение это растревожило не только дремавшее эротическое чувство. Перезвон бокалов с коктейлями перемежался бряцанием оружия, постукивание ракетки бадминтона с цокотом каблучков по палубе десантного катера, а летающие колечки серсо сливались в воздухе с антеннами. У парапета, рядом с ближайшим кафе была установлена палатка с зашторенным входом, похожая на шапито, и там, судя по всему, была устроена штаб-квартира: у входа стоял десантник, мимо него сновали различные военные чины. При появлении очередного эмиссара у входа в палатку десантник-охранник кланялся.

"Какая все-таки — французы — вежливая нация", — сказала Лена.

"Он не кланяется входящему. Это иллюзия. Как с осами. Он наклоняется, чтобы проверить пропуск", — сказал Алек, довольный своей проницательностью. Настроение его улучшалось. Связь между теми подразделениями десантников, что на берегу, и теми, что в море, постепенно укреплялась, надувные лодки перетаскивались волоком на другой конец гавани и снова выходили в море; на глазах у всех отдыхающих с десятков десантников посреди бухты опрокидывали собственную лодку, имитируя затопление: морские пехотинцы, перевалившись через борт,

исчезали под водой, вновь бодро выныривали на поверхность и снова забирались обратно в лодку под четкие команды старшины. Отдыхающие наблюдали каждый восхитительный маневр, затаив дыхание, но не выдавая своего возбуждения.

Первые положительные результаты высадки десанта уже были налицо. До наглости шикарная парочка снобов — немецкий профессор со своей Лорелеей — явно не одобряли всей этой затеи: они складывали купальные принадлежности и книги, чтобы ретироваться. "Наконец-то!" — с облегчением вздохнул Алек: у него даже возникла безумная мысль: может быть, это не просто французские маневры? может быть, это англо-французские маневры, может быть это вовсе не маневры, а снимают фильм? Или театральная реконструкция исторического вторжения союзнических войск на территорию оккупированной Франции? Такой Пиранделло. Он не без удовольствия вспомнил, что Сергей процитировал одно из его старых эссе. Непонятно, где и когда он его умудрился прочесть? Кто и когда на этот раз оккупировал Францию, было совершенно неважно. Цели, как и стратегия, даже само происхождение этих союзнических войск оставались для него смутными; но по поводу наличия врага, его несомненного присутствия и, следовательно, здоровой необходимости обороняться — на этот счет у Алека не было никаких сомнений. И вместе с этой уверенностью в раскладке на наших и не наших вернулся и аппетит. Впервые за долгое пребывание на этом курорте Алек по-настоящему с наслаждением подумал о предстоящем ужине.

"Я пойду, пожалуй, закажу столик: у твоих религиозных собратьев по ортодоксии". Он засунул руки в карманы, позванивая сантимами. На лице у него блуждала ироническая улыбка, и он снисходительно пояснил: "Я имею в виду греческий ресторан. Там, по крайней мере, официанты все еще продолжают говорить с клиентами на цивилизованном языке: по-английски. Как в старые добрые времена: до немецкого нашествия". Не говоря уже

о том, что цены там были раза в полтора ниже, — что было немаловажным обстоятельством для Алека: платить с неизбежной регулярностью приходилось ему.

"Он все сводит мелкие счета с прошлым, — сказала Лена, глядя на удаляющуюся сутулую спину Алека с обгоревшей красной шеей. — Он просто не может смириться с той мыслью, что если бы не уехал из России, мог бы стать тем, кем он никогда не станет здесь. Эти постоянные обвинения, что его кто-то предал, куда-то не позвал, где-то не принял, не упомянул его имени, не признал его заслуг и пророчеств. Все, что происходит вне его, он воспринимает как заговор против него. Я не ожидала от него такой мелочной ревности". В этот момент она инстинктивно отстранилась от Сергея, потому что два десантника-невидимки с катушкой кабеля протянули между ними линию полевой связи; или не полевой, наверное, а скорее морской телефонной связи (десант все-таки морской), как будто им не хватало раций и *волки-толки* (как любила переводить *walky-talky* Лена).

"Ты так злишься, что можно подумать: ревнуешь именно ты. А ты за него не оправдывайся. Чего ты за него оправдываешься? Потому что сама его сюда затащила?" — сказал Сергей, наблюдая, как морской пехотинец пристраивает полевой телефон к кабелю. Лена удивленно приподняла брови: она не ожидала от Сергея подобного тона.

"Я надеялась, он здесь немного отвлечется от своей паранойи по поводу России", — сказала она. Она обернула полотенце вокруг бедер и стала переодеваться. "У него в голове крутится одна мысль: что бы произошло, если бы произошло то, что не произошло, но могло бы произойти. Почему все это поколение помешалось на отъезде из России?"

"Алё, алё", — сказал десантник по соседству, продувая телефонную трубку.

"Тебя, Леноч, не было в Москве в ту эпоху. Для них, для Алека, для его поколения, эмиграция — это было как

прыжок без парашюта. Из России — в Европу. Несуществующую, заметь, Европу. Ту, из Достоевского: которая на самом деле Россия, но с несуществующим европейским прошлым. В это несуществующее прошлое он и прыгнул. А потерял российское настоящее. Исчез, понимаешь, большой сюжет. Вместо ангелов — парашютисты, припляжный десант". Он приподнял фляжку, как бокал, приветствуя пробежавших с носилками пехотинцев, и сделал большой глоток.

"Ты начал уже прямо с утра?"

"Какое утро? Мало ли, когда начал. Сейчас шестой час вечера". Он снова отвинтил серебряную крышечку фляжки и на этот раз не отхлебнул прямо из фляжки, а использовал крышечку в качестве посуды. "Пусть не минует меня чаша сия. Это было как гражданский подвиг, общественное самопожертвование. Для советского человека пересечение государственной границы — как первородный грех. Так и хочется утопить свою совесть в вине".

"Совесть — в вине?" — переспросила Лена. Она до сих пор плохо различала вину и вино.

"Насчет вины. Как Алек сам писал, дай вспомнить: кто виноват — тот, кто бежит из тюрьмы, оставляя за собой товарищей по камере, или же тот, кто самим пассивным пребыванием за решеткой укрепляет авторитет тюремной администрации?"

"Но тюрьмы давно нет".

"Вот он и ищет виноватых. Меня. Тебя".

"Это была не моя тюрьма. И не моя вина".

"Может быть, тебе этого и не хватает? От этого у тебя и тоска: по большим идеям. Тебе не хватает его тюрьмы, его вины. Как иначе объяснить тот факт, что ты за него до сих пор цепляешься. Сюда зачем-то притащила. Он же здесь явно мучается". Пехотинцы оставили телефон как будто Сергею на присмотр, и он проследил взглядом за линией кабеля, змеившейся меж тел отдыхающих по всему пляжу вместе с катушкой в руках десантников. "Но ты боишься остаться без этих самых больших идей в его

лице: он и есть для тебя проблема России и Запада, тюрьмы и сумы, вины и вина".

"Откуда ты-то все это знаешь?"

"Насчет тюрьмы? Я там жил".

"Да нет: где Алек это писал? Ты его второй раз уже цитируешь. Откуда ты знаешь, что он вообще про это писал?"

"Как откуда?" Еще глоток. "Его эссе все читали. Ну не все. Вся Москва, во всяком случае. Он великий человек. Это всем известно. Трагический отъезд. Жена остается, он уезжает. Грандиозная переписка, телефонные звонки. Вся Москва переживала. Чего ты на меня уставилась?"

"Очень интересно". Лена пожала плечами. Чем дальше затягивался этот диалог, тем яснее становилось Лене, что российское прошлое Алека навсегда останется для нее в потемках. Сергей знал нечто такое, до чего невозможно докопаться самой мощной интуицией на свете. Она всегда будет для него — неполноценной англичанкой, как для Алека она — неполноценная русская. И в обоих случаях не поможет, как говорил Алек, ни православие, ни британский паспорт, поскольку угадывание происходит не по паспорту. Впрочем, если бы дело было только в этом. Единственное, чего не понимал Сергей: что ее отношение к нему или к Алеку не складывалось из больших идей. Все было гораздо проще и одновременно бессловесней, и поэтому трудно было найти для этого слова. Куда, интересно, эти десантники тянут телефонный кабель?

"Ты хочешь сказать, про все это героическое прошлое здесь никто не слышал? У него здесь нет имени?" — допытывался Сергей.

"Почему же нет имени? Есть имя. Алек. Его зовут Алек. Синхронный переводчик. Внештатный корреспондент. Вольнонаемный антрепренер. Преподаватель разговорного русского. Когда надо кого-нибудь заменить по болезни, заткнуть дыру в расписании. Я тебе советую перестать пить. Ты скоро на ногах не будешь стоять".

"У нас под боком Алек на этот случай — заменить меня

по болезни. Дыру заткнуть", — сказал Сергей, смотря ей прямо в глаза с пьяной ернической гримасой на лице. Лена повернулась и направилась к душевым. За углом у раздевалок она заметила, что Алек стоит неподалеку, задержавшись на полдороге к ресторану, и созерцает двух морских пехотинцев: один из них изображал тяжело раненного, другой делал ему перевязку. Она подумала, что с такого расстояния он мог слышать весь ее разговор с Сергеем. Не то чтобы она не готова была повторить все сказанное при Алеке. Но ей вдруг стало его так жалко, так жалко...

"Алё, алё", — повторял десантник в трубку полевого телефона. Теперь стало очевидно, что линия кабеля кончалась у края пляжа: дальше кабель исчезал под водой.

4

Столик на четверых нашелся с трудом, зато в милом месте, прямо на террасе с видом на море, у псевдодорической колонны, обвитой виноградом. Заходило солнце, побежденное движением земли, и Алек почувствовал неожиданное облегчение, как будто выключили слепящую лампу (из чужих описаний допросов на Лубянке). Официант принес горячие греческие питы в корзинке. Алек поднялся и направился вслед за официантом — выбрать блюда прямо на кухне, как это принято в греческих ресторанах. Недолго думая, он заказал ассорти mezes — на любой вкус. Возвратился к столику и с удивлением обнаружил, что столик занят: та самая ногастая Лорелея с русой челкой в белоснежной теннисной плиссированной юбочке флегматично жевала хлеб, отщипывая пальцем, не глядя, ломтики. От его, Алека, питы. Из его, Алека, корзинки. На его, Алека, скатерти.

"Этот столик занят", — сказал Алек по-английски.

"Да-да", — сказала немка, не повернув головы. Она любовалась закатом. Она решила, что это вопрос. Столик действительно был занят. Ею. "Я-я", — повторила она свое "да-да", на этот раз по-немецки.

"Это я, а не вы", — брякнул Алек по-русски. "Вы не поняли," — снова перешел он на английский, хотя неизвестно было, насколько ей этот язык понятен. "Это мой столик. Видите, — он указал на корзинку с лигами, — я уже заказал хлеб".

"Но это мой хлеб, — подняла, наконец, свою породистую молодую физиономию блондинка. — Я его ем". И она подняла в воздух огрызок питы. Если обгрызано — значит, уже чужая собственность. Засвидетельствовано следами от чужих зубов. В этот момент к столику подошел загорелый зубастый профессор с волосатой грудью и в шортах. "Darling, — сказала блондинка по-английски, явно чтобы слышал Алек, — этот человек говорит, что мы сели за его столик". Она прыснула, захихикав по-школьному, в кулачок, странным образом напомнив ему смешок Лены на пляже. Так хихикают за спиной у тех, кто несколько не в себе. Они прокартавили что-то друг другу на легком, как шампанское, немецком, и профессор, искривив лицо в улыбке и недоуменно пожал плечами, сел за столик. При этом ему пришлось двинуть плечом Алека, застывшего, как конвойный, у стула. Тот, недолго думая, обошел столик и уселся на один из двух свободных стульев. В этот момент к столику приблизился Сергей: он был в благодушном расположении духа, слегка покачивался и помахивал уже явно пустой фляжкой. Алек потянул его за рукав, и тот плюхнулся на стул рядом с блондинкой, слегка зависнув на ее плече. За ним выросла Лена с мокрыми еще волосами после пляжа. Она оказалась без стула. Алек вскочил и посадил ее на свое место. Сам он, оказавшись без стула, сказал немцу:

"*Дас ист свинство*".

"Что он говорит?" — поинтересовалась Лорелея у своего профессора Хиггинса. Тот в ответ пробормотал по-немецки что-то насчет *руссише юде*.

"Что он там сказал насчет *юде*?" — промычал пьяный Сережа. Она покачивался на стуле. Кровь бросилась Алеку в лицо. Если немецкое хамство и свинство было очевидно даже Сергею, значит, в его, Алековой, антигерман-

ской фобии этих дней не было ничего параноидального — как это явно представлялось Лене. Это умозаключение придало ему решительности.

"Прошу немедленно освободить мое место", — сказал Алек немецкому педагогу. Тот, явно в замешательстве, снова криво усмехнулся. Алек, подойдя к нему сзади, схватился за спинку стула, рванул его на себя и в сторону, как бы скидывая профессора на асфальт, как ненужный хлам. Тот вцепился в скатерть, скатерть поползла за ним и вместе с ней и корзинка с питами, и вилки, и тарелки.

"Если вилка упала — значит, женщину в гости жди, а нож — значит, мужчину. Много гостей ожидается", — стал заплетающимся языком разъяснять присутствующим пьяный Сережа. Все вскочили. Осколки захрустели под ногами. Хотя во время греческих попоек и бьют тарелки на счастье, подскочившему официанту было ясно, что от этого звона тарелок недалеко до хруста костей.

"Мсье, мсье", — бросился он поднимать с асфальта скатерть, как белый флаг — то ли перемирия, то ли капитуляции. С пляжа донеслась военная команда, холостой залп и тяжелый всплеск и рокот катера. В этот момент немец еле заметным движением локтя, не оборачиваясь, пырнул Алеку в поддых. Тот издал короткий вопль и согнулся в три погибели, повалившись на колени перед немцем. Мимо пробежали морские пехотинцы с носилками. Но Алека они проигнорировали, аккуратно его обогнув. Это были маневры. Истинные жертвы лишь загораживали им дорогу. Сергей поднялся, раскачиваясь и сжимая фляжку в руке, как гранату:

"Не смей! — патетически воздевая руку в ночное небо, прорычал он, надвигаясь на немца и отшвыривая по дороге стулья. — Не смей трогать нашего мыслителя. Он старый больной человек. Инвалид эмиграции, *нихт ферштвйн?*" Он попытался схватить профессора за шкирку, но тот ловко вывернулся и, пробормотав "*руссише швайн*", нанес короткий удар из-под низу в подбородок Сергею. Тот застыл на мгновение с выпученными глазами, качнулся и рухнул. Профессор, бодро подпрыгивая на месте,

как во время теннисной разминки, стал избивать его ногами. В живот, под яйца и в лицо. С соседних столиков повскакали посетители. "*Дас ист свинство*", — повторял Алек, все еще не способный подняться с асфальта, как будто жалуясь, что ему заслонили зрелище живым занавесом из человеческих тел: зрители работали локтями, чтобы протолкнуться поближе к месту действия, как днем, где те же зрители толкались у набережной, наблюдая рыб, дерущихся за крошки хлеба. Из-за спин до Алека доносились глухие удары и шарканье подошв. К его ногам с перезвоном подкатилось что-то металлическое и блестящее. Алек сначала подумал, что это монетка. Он поднес ее к глазам: свет фонаря выхватил резьбу на крышечке от фляжки. Видимо, выпала из кармана Сергея. Ее можно использовать в качестве миниатюрного стаканчика. Слишком, впрочем, миниатюрного для Сергея. Он заглядывал прямо из горлышка со словами: "Пусть минует меня чаша сия".

В этот момент заголосила полицейская сирена и заскрежетали тормоза. Алек, наконец, очнулся и попытался подняться с колен: пора было сматывать удочки. Толпа расступилась, но не перед ним, Алемом, а перед нарядом полиции. В отблеске разноцветных лампочек под крышей ресторана французские полицейские выглядели устрашающе в своей сбруе из ремней с револьверами, наручниками и полицейскими дубинками. Немец одернул свою белую теннисную куртку, пробормотал что-то по-французски, ловко склонившись над ухом полицейского. Тот кивнул, откозырнув. Немец подхватил под руку свою Лорелею, и толпа расступилась, давая ему проход. Они отбыли, как голливудские звезды со съемочной площадки. Где-то у крепости раздался залп, и небо осветилось ракетницей.

"Вот так французские коллаборационисты сотрудничали с гауляйтерами", — констатировал в уме Алек. В этот момент, стоявший на карачках, но несгибаемый перед лицом врага Сергей, с разбитой мордой, дотянулся до фляжки и отшвырнул ее в неопределенном направ-

лени. То есть, он явно метился в удаляющегося немца, но фляжка, поболтавшись в воздухе, выплюнула остатки портвейна прямо в лицо полицейскому и шмякнулась на асфальт ему под ноги. Тяжелый ботинок полицейского отпугил ее обратно в сторону Сергея. Тот потянулся за ней, но полицейский аккуратно наступил ему на руку, надавил каблуком и повертел для верности на месте, как будто загашивая брошенный на асфальт окурок. Алек увидел побелевшие, как море от штормовых гребешков, глаза Лены, и услышал вопль: он не понял, кто кричал — Лена от ужаса, Сергей от боли, или это был гортанный рык команды пробежавшего мимо сержанта морских пехотинцев: учения продолжались в темноте параллельно происходящему, как функционирование правительства Виши в оккупированной Франции. Но вопль так или иначе прозвучал сигналом для полицейских: Алек видел, как под их сапогами, замелькавшими в воздухе, как в ускоренной съемке, тело Сергея оказалось как бы в подвешенном состоянии над асфальтом, вроде дервиша во время сеанса левитации; а полицейские дубинки, снующие, как осы, в свете фонарей, не наносили, казалось бы, ударов, а вертели им в воздухе, как колесиком серсо. И в заключительном трюке фокусника эту гору тряпок и костей поддели одним незаметным движением и швырнули в приоткрытую заднюю дверцу полицейского пикапа. Весь этот цирковой номер Алек так и простоял на коленях, не шелохнувшись, сжимая до боли в пальцах серебряную крышечку от фляжки.

"Как же все это произошло?" — бормотал Алек, когда они с Леной, наконец, добрались до кресел на своей открытой террасе-балконе. Мордобой в ресторане внизу закончился мучительным выяснением отношений на трех языках в полицейском участке: Сергеев советский паспорт с гербом уже несуществующей державы отнюдь не облегчал дело. Пока Лена с Алеком пытались отговорить префекта от предъявления официальных обвинений в оказании вооруженного (фляжка) сопротивления полиции вплоть до подстрекательства к бунту, сам Сергей лежал

в соседнем медпункте за ширмой в отключке после наложения швов и гипса с наркозом и снотворными, перевязанный бинтами с головы до ног, как человек-невидимка, собирающийся выйти на прогулку. Они катили его обратно в пансион в инвалидном кресле по променаду, запруженному курортниками в вечерних туалетах, кто в джинсах дизайнеровского индпошива, а кто в боа с перьями и декольте. Забинтованная мумия, катившаяся по променаду в инвалидном кресле, казалась еще одним бутафорским элементом в этом маскараде битвы союзнических войск за Колюрскую бухту, и на них мало кто обращал внимание. Втащить эту жертву конфликта двух идеологий на второй этаж было не шуткой. Кресло билось по ступенькам, Лена чертыхалась под долдонящий голос Алека с тяжелой астматической отдышкой; пот катился у него градом со лба: "Чуть-чуть вверх. Ты мне сейчас отдавишь ногу. Железный занавес идеологии рухнул — и наружу вылезла биология. Точнее, зоология: сплошной зверинец. Он сейчас заденет головой ручку двери. А теперь направо, сначала с твоего конца". Они так и оставили его, в соседней комнате, напичканного снотворным, в инвалидном кресле: даже переложить на кровать эту хрупкую конструкцию из бинтов и гипса казалось небезопасным.

"Как же все это произошло?" — повторил Алек, и ясно было, что речь уже идет не о недавней драке в ресторане внизу. Там сейчас, как от удара в нос, все рассыпалось перед глазами вспышками огня — от иллюминации цветных лампочек, обвивавших навесы кафе, до фонариков на променаде. Там, за столиками, царил полуночный празднично-курортный галдеж, под грохот приборя, куда примешивался еще и странный перезвон оружия: в потемках вокруг столиков продолжались невидимые перемещения десантников, слышались глухие всплески и далекие взрывы ночных маневров, и тогда горизонт озарялся, как праздничным фейерверком, вспышками сигнальных ракетниц. Или это были всполохи далекой грозы, сползаю-

щей с гор? В отсвете этих огней стало заметно, что по щекам у Лены катятся слезы и трясется подбородок.

Он только сейчас понял, что луны нет, и в бухте светится только вдали гигантский прогулочный пароход на якоре; прожектор на корме осторожно шарил по берегу снопом света, как будто пытаюсь нащупать выход из ситуации. Пароход был похож на огромный дом, где было зажжено каждое окно — нет, на горящий дом, потому что окна пламенели сквозь завесь тумана, дымящегося над морем после знойного дня. Из-за ветра, поднимающегося с горизонта, лампочки на паровых трубах и мачтах раскачивались и дрожали, расплываясь кругами на воде, и мешались в отраженном свете с ночными облаками, бегущими по волнам, как будто язычки пламени сквозь дым. Дом, превратившийся в дым. Он хотел пересказать Лене свой короткий разговор с Сергеем на пляже: про слова Сергея насчет того, что российское прошлое исчезло не только у него, Алека, но и у всех: и про его, Алека, ответную мысль о том, что прошлое, может быть, и было общим, но теперь мы уплываем в разное настоящее и, может быть, никогда не встретимся, потому что принять в качестве своего настоящего некое российское прошлое, которого вообще никогда не было (православие), он отказывается. Он начал все это излагать, мысль казалась ясной, но звучала странно и отчужденно, он быстро запутался и смолк. Припляжные ссоры и перепалки последних суток насчет эмиграции и распятого человека, все это показалось на мгновение страшно далеким, как будто из другой эпохи, в своем роде даже милым в своей абсурдной курортной академичности — про прошлое и настоящее, православие и еврейство, Россию и Запад — по контрасту с кровью, потом и слезами скандального мордобоя в ресторане.

Как будто отвечая на этот сумбур и замешательство, Лена стала пересказывать свой сон накануне. Она идет с друзьями по ночной тропе, по обе стороны — тьма и пропасть. Близкий друг впереди оступается и падает. Она в ужасе и не желает подойти к краю: там, наверное,

месиво из плоти и костей — все то, во что превратился когда-то близкий ей человек. И вдруг она слышит всхлипы. Наклоняется и видит, что край тропы — это вовсе не пропасть, а относительно неглубокая канава, мелкий такой овражек. И в этой канаве лежит тот самый, всем близкий человек и рыдает. Ему страшно обидно, что он так глупо оступился. Алек слушал все это, нахохлившись:

"Ты хочешь сказать, что моя эмиграция — это все равно, как случайно споткнуться в темноте и свалиться в придорожную канаву?"

"При чем тут твоя эмиграция? Почему ты все воспринимаешь на свой счет? И ты, и Сергей. Это не про тебя и не про него. И не про Россию. И даже не про меня. Это про то, как вдруг освобождаешься от страшной гнетущей мысли". И потом без перехода: "Этот пароход похож на московский троллейбус". Алек ничего не ответил, решив, что у нее поэтическое настроение. Но пароход был действительно похож на то самое, сияющее во тьме подсвеченными стеклами чудовище, которое подмяло год назад на московской улице бывшую жену Сергея Людмилу. Московский троллейбус, тот самый последний троллейбус, верша по бульварам круженье, возник из-за угла, когда Людмила, пьяная, выскочив из подъезда, перебежала улицу. После ссоры с ней, с Леной. Из-за Сергея. Лена стояла на балконе и слышала голоса спорящих на улице, как будто из театральной ложи: толпа друзей, догнав Людмилу, толкалась внизу, пытаюсь удержать ее; слышался мат, чей-то истеричный смех, а может быть, плач — как будто сейчас, эхом толпы внизу за столиками. Людмила, в конце концов, вырвалась и бросилась через улицу в тот момент, когда из-за угла и возник троллейбус. Кто-то рванулся ей вдогонку, кто-то пытался предупредить ее окликом, бешено махал руками водителю. Скрежет тормозов и глухой удар: троллейбус как будто проглотил ее челюстью бампера, отбросив и потом подмяв под себя колесами. И снопы искр от штанг троллейбуса, соскочивших с проводов, как фейерверк где-нибудь на

курорте, вроде Колюра. Когда полицейские били Сергея, а она стояла под навесом, у парапета, в стороне.

Она дотянулась до Сережиной фляжки, подобранной на асфальте после драки, и неумело запрокинула ее у себя над губами, пытаясь вытряхнуть остатки портвейна из пустой посуды. Слышно было, как в темноте звякали ее зубы о металл. "Там ничего нет, — сказал Алек, — пусто". Он отыскал завалявшуюся в кармане крышечку и плотно завинтил горлышко фляжки. Вся сцена драки снова предстала перед глазами: опрокинутые стулья, квадратные спины полицейских, взлетающие в воздух дубинки, отблеск на черной коже ботинка, ударяющего в лицо, хруст стекла или челюстей, профессор-немец с нагло ухмыляющейся блондинкой. И Сергей, вдохновенно, с распростертыми руками, на мгновение взлетающий над землей от мощного удара в поддых. И сам Алек, неподалеку, не способный подняться с колен, как будто окаменевший, отсутствующий, никем не замечаемый, как гипсовое изваяние, сбитое с пьедестала вандалами перестройки в городском парке бывшей культуры и отдыха. Лена поежилась.

"И все это время я простояла в стороне. Пока его били. Я вдруг почувствовала, что вы все заодно".

"Кто?"

"Все: немец-профессор, французская полиция. И Сергей. И ты. И вы все вместе выясняете отношения. Это были *свои дела*. Ваша история. Как будто и толпа, и дерущиеся, и полиция — все это за стеклом. Есть такие моменты, когда ты сам по себе, а все другие сами по себе".

"Это когда ощущаешь себя монстром, — сказал Алек. — Толпа и монстр".

"Два монстра, — уточнила Лена. — Монстром выглядишь лишь в чужих глазах".

"Вот именно: когда вокруг не осталось родных глаз вообще", — ответил Алек. Звучало это как прощание, и она поняла, что может потерять Алека сейчас и навсегда, как в свое время, после визита в Москву с гибелью

Людмилы, навсегда потеряла ту свою домашнюю, примысленную Россию вечного дружеского застолья — из родительских разговоров. Алек и был ее двойной лояльностью — по отношению к несуществующему российскому прошлому и неполноценному лондонскому настоящему, он был ее двойным духовным гражданством, вечной спорной территорией к Западу от Иордана. И эту территорию она не собиралась уступать ни России, ни Евангелию, ни Сергею. Они сидели как будто в темной театральной ложе, окутанные черным небом, с прожектором парохода вдаль, высвечивающего сцену внизу. Подобное сравнение должно было прийти в голову Сергею, а не ей. Значит, она снова думала и действовала с оглядкой на кого-то еще. Хватит. Хватит идеологии. Пора вернуться к биологии.

В этот момент он почувствовал ее руку у себя на колене. Она не дотрагивалась до него с той еще эпохи, когда только начались ее разговоры о Москве — с эпохи такой же далекой, как его собственная эмиграция из Москвы. Кровь зашумела у Алека в висках вместе с гулом голосов внизу. Он по привычке вслушивался, пытаясь различить в этом гуле немецкую скороговорку. Он перегнулся через перила, наблюдая карусель ночной курортной жизни. Пахло морскими водорослями. После знойного дня с моря подымался штормовой ветерок. Он как будто кружил предметами в ночной полутьме: парочки на парапете, немыслимые шляпы дам в кафе, химические расцветки коктейлей в длинных стаканах, похожих на неоновую рекламу. Оркестры и радиолы, джук-боксы и магнитофоны разбрызгивали навязшую в зубах перуанскую мелодию. Однако наверху, на открытой небу террасе второго этажа, где они сидели, все было окутано бархатной тьмой. Под этой простыней тьмы она трогала его. Она его ласкала. Она его просто-напросто щупала. Она его возбуждала. Она гладила его между ног, как будто убеждая, что на этой территории им все дозволено, что у каждого, у нее во всяком случае, есть такая территория полной бесконтрольности и отделенности: от остального мира,

закона и судьбы и всех тому подобных больших слов. Эту наглую беспардонность иначе как наивностью или даже — своего рода невинностью ума трудно было объяснить. Подобное ощущение безнаказанности бывает лишь в подростковом возрасте. Ощущение вседозволенности одновременно пугало и восхищало: обнажиться на глазах у всей публики, оставаясь видимым лишь ей одной.

Ибо никто из толпы внизу не подозревал, что может происходить этажом выше. Он сидел на террасе, с оголенным членом, с эрекцией всем на радость, в порнографическом акте, а под ними кружилась толпа под визгливую музыку, как кружилась толпа лиц, высвеченных розовым неоновым вывесок и реклам порн-шопов в Сохо, где они с Леной однажды ночью, встретившись, долго блуждали. Даже соседние крыши с террасами отделяла тьма, плотная и поблескивающая, как муаровый занавес. Этот муаровый занавес сейчас перепачкает его сперма.

"Я сейчас кончу", — шепотом, как будто про себя, пробормотал Алек, сжимая колени. Он оголялся с тем же бесстыдством, с каким разоблачались днем у него на глазах немки-туристки на площадке у чинары (или все-таки шелковицы?). Он снова услышал этот потайной, как школьное шушуканье, смешок Лены. Он чувствовал, как от усиливающегося ветра начинает жечь губы: они-таки обгорели за день. Или он просто сжимал их от напряжения так, что лопалась кожа. Вот-вот брызнет сперма на глазах у всех тех, кто ничего не видит, и полетит вниз, как падучая звезда, на головы отдыхающих. На голову немецкого профессора и его русоволосой стервы, на головы немецких скалолазов с рюкзаками и уличных шарлатанов с перуанскими свирелями, на головы курортников, их дам с собачками, и наконец, на головы никому не видимых десантников, впрочем, почему непременно на головы? На все остальное тоже. На весь Колюр. Как птичьи фекалии. Почему у чаек белые фекалии? Может быть, у ворон — черные? Зависит ли цвет спермы от расы? Он начинал бормотать белиберду, пытаясь сдержать возбуждение, отвести ее руку, скрыть стыд и заме-

шательство. Монструозность всякого бесстыдного разоблачения: когда считаешь себя совершенно иной породы — не будешь же ты стыдиться своей голизны перед обезьянами? или нет, обезьян можно ввести в смущение, а как вот насчет крыс, с ними явно нечего считаться? Крысы. Евреи. Тонущий корабль. Пароход, издав надрывный стон, явно снявшись с якоря, стал медленно разворачиваться в гавани.

В этот момент дверь распахнулась, и на террасу, куда выходили обе комнаты, и Алека, и Лены, шагнул, весь в бинтах, как ожившая египетская мумия, Сергей. Бродячий труп. Лена вскочила, Алек продолжал сидеть, скорчившись, панически прикрыв колени руками, с ужасом уставившись на Сергея. Тот стоял, покачиваясь, с рукой, как у слепого, простертой вперед. Не ясно было, видит ли он действительно что-либо впереди себя или нет. Через мгновение он стал крениться набок. Они бросились к нему, подхватили его под руки и перетащили обратно в комнату. Он что-то бормотал полусонный, одурманенный лекарствами, в полубреду. Лена выпроводила Алека обратно на террасу, затворив плотно дверь у него перед носом. На террасе гулял ветер, и все вокруг стало похоже на неприбранную квартиру после гулянки. Поеживаясь от сквозняка и потоптавшись на террасе, Алек вернулся в свою комнату. Он прислушался к звукам за стеной. Ему трудно было сказать, откуда исходят эти звуки. Потому что вокруг, на улице, на набережной и в море начинали происходить бесконтрольные перемещения крупных и мелких, живых и мертвых предметов: ураган налетел с моря столь же неожиданно, как и военно-морской десант, высадившийся днем на пляж.

Он не выдержал одиночного заключения в четырех воющих стенах и снова вышел на террасу. Дверь при этом пришлось удерживать обеими руками — она рвалась из рук на ветру, как советский еврей в эмиграцию. Дре-

безжали стекла. Колюр французских постимпрессионистов как будто смыло с холста скипидаром. Раскачивающиеся фонари размалевывали ландшафт, в духе, скорее, немецких экспрессионистов. Под ураганными порывами ветра все представало в отстраненном сдвиге. Казалось, не облака бегут наперерез выскочившей непонятно откуда луне, а это сама луна перепрыгивает, несясь сломя голову, как лошадь на скачках, через барьеры облаков. Можно было подумать, не деревья сгибались в три погибели к навесам и столикам кафе, а сами кафе со столиками взмывали под углом вверх, наперерез деревьям. Столики опустели: лишь несколько пьяных парочек, визгливо хохоча, заигрывали с ветром, отбивая у него собственные соломенные шляпы и коктейли. Летящие тарелки перестали быть научной фантастикой: в греческом ресторане внизу ветер, единственный и почетный гость, швырял ими об стену. В этом ураганном загуле волны бились о парапет, окатывая набережную пенистым шампанским. Выл тревогой маяк на скале и ему вторил стоном пароход вдаль, семафоря ночными огнями. Вокруг не прекращался звон разбитого стекла, звяканье банок кока-колы, гремящих по булыжнику улиц, взвизги и мяуканье, то ли кошек, то ли пугливых туристок. Весь Колюр спешил забаррикадироваться от урагана за семью замками своих пансионатов.

Штормовые гудки парохода звучали все надрывнее и глуше: пароход уходил в открытое море? География уже не имела никакого значения: на этом пароходе для него уже не было ни каюты, ни палубного места. Вместе с этим светящимся пароходом уплывали в неизвестное настоящее все споры сегодняшнего дня. Он стоял, ссутулившись, вперяясь в мрак, в круговерть ландшафта, где панически мелькали, как путанные мысли, фонарные отсветы. В любой момент его могло сдуть ветром, как соринку, и он вцепился руками в перила балкона так, что от напряжения побелели костяшки пальцев; пук волос на его лысеющей голове вздымался от ураганных порывов, как будто утягивая его вверх, прочь от этой черной во-

ронки внизу. В этом урагане, в мгновение разметавшем в пух и прах всю хитроумную паутину идеологических споров этого курортного дня, исчезала как будто и сама трагичность его дилеммы.

Эмигрируют, возможно, и ради свободы. Но обретая свободу, теряют любовь. И вместе с отсутствием любви уходит и желание. В частности, желание обладать свободой. Тогда и становишься монстром. Монстром становишься тогда, когда забываешь, от кого ты хотел отличаться: точнее, те, от кого ты хотел отличаться, давно стали другими или исчезли вообще из истории, а ты, став одним из них, все еще воображаешь себя искателем иного идеала. Сначала его выписали из российского настоящего, потом вычеркнули его прошлое как не соответствующее генеральной линии православного будущего. С полки идеологии переместили в отдел зоологии. Крыса с тонущего корабля идеологии с толстым еврейским носом. Он — монстр с точки зрения толпы, но почему нужно смотреть на себя глазами толпы? Когда отняли все, что составляло твое отличие от крысы в глазах других, остается лишь то, чего другие отнять не способны, потому что не ими дадено. "That prejudice in favour of milk with which we blindly begin" [Предвзято предпочтительное отношение к тому самому молоку, с которого мы слепо начинаем жизнь], вспомнил он своего любимого Даниэля Деронду. Он попытался вспомнить хоть какую-нибудь светлую картинку детства, из тех, что, по Достоевскому, освещают всю последующую жизнь, но ничего, кроме бесконечных склок его родителей с родственниками в огромной коммунальной квартире, вспомнить не мог. В голову же лезло лишь одно бабушкино слово "упартый". Имелось в виду: упорный — когда он, скажем, отказывался надевать шапку в мороз. Бабушка была из еврейского местечка, и ему сейчас пришло в голову, что ее русский, в общем-то, не слишком отличался от того, на котором порой изъяснялась Лена.

За спиной у Алека раздался сокрушительный удар и скрежет. Он обернулся: на него надвигался подгоняемый,

как парус, ураганным ветром, накренившийся мольберт. Алек подхватил его и стал затаскивать в комнату, сражаясь с ним на ветру, как с марсианским треножником. Едва он успел внести мольберт вовнутрь, как двери террасы снова распахнулись, ветер сорвал с мольберта недоконченный пейзаж и швырнул его на пол. Алек подсунул свой старый металлический футляр от очков между рамой и полом, чтобы дверь не распахивалась. Поднял с пола картину: краски смазались, что, впрочем, может быть, даже улучшило этот полуабстрактный подмалевок пейзажа. Он достал из этюдника тюбик черной краски и ссохшейся кистью стал прочерчивать контуры неясной пока конструкции прямо по не законченному Леной абстрактному пейзажу Колюра на холсте. Постепенно стали вырисовываться бараки, сторожевая вышка, забор с колючей проволокой, потом трубы.

Он работал быстро и четко, как бы заранее уверенный в успехе. Но лишь когда дело дошло до надписи на лагерных воротах: "Труд освобождает" — псевдо-готическими буквами, он стал подозревать, что он зря старается. Ведь это изображение Аушвица, он же Освенцим, предназначалось для того, чтобы шокировать этих тупорылых теток с рюкзаками и профессоров в шортах, но они — немцы, и поэтому надпись на воротах должна быть по-немецки, а откуда ему знать, как этот лозунг изобразить в оригинале? Он впервые пожалел, что бездельничал на школьных уроках немецкого. Arbeit? Die... Das... как там будет "свобода"? И в конце концов нужно поставить "гехабен" или "нихт гехабен". Получалось, что некий твердый знак ненависти существовал у него в уме только по-русски, в переводе, и не поддавался обратному переводу на язык оригинала. Он не знал истинного имени своему чувству, в том же смысле, в каком "английская сосиска" по-русски соответствовала тому, что по-английски называется "франкфуртер" и, следовательно, не соответствовала тому, что подразумевалось под "английской сосиской" на английском языке.

Он отшвырнул холст и стал стаскивать простыни с

постели. Со стороны можно было подумать, что он окончательно рехнулся. Но в его безумии был метод. Расстелив простынь на полу, он выдавил на палитру тюбик с ультрамарином и, встав на колени, стал выводить голубые полосы через всю простыню. Эта работа отнимала время и силы: кисточка была слишком мала для полотна таких масштабов, краска могла вот-вот кончиться и приходилось все больше и больше пользоваться разбавителем. К утру вся простыня стала похожа на покрывало полосатого матраса.

С рассветом он стал собираться на демонстрацию протеста. Он специально не побрился. В последний момент он вспомнил про очки в футляре, подпиравшем дверь на террасу. Футляр оказался сплюснутым между дверными рамами ураганным напором. Очки, в целом, уцелели, но одно стекло треснуло. Когда он, надевая очки, распрямил дужки, стекло вообще выпало. Приходилось постоянно щурить левый глаз. Он примерил полосатую простыню, накинув ее на плечи. Она волочилась сзади. Он перекинул один конец, как шарф или гамлетовский плед, вокруг горла и шагнул на улицу. Полупроснувшийся городок медленно оправлялся от вчерашней катастрофы. Нигде — ни на пустынных улицах, ни на променаде, ни на пляже, ни в самой бухте не осталось ни малейшего следа военно-морских пехотинцев. Тренировочные маневры десантников закончились столь же внезапно, как и начались. Как будто ураган был запланированной частью этих маневров. Как будто невидимое присутствие десантников в эти сутки проявилось лишь устрашающими последствиями урагана. Как будто они и были его единственной причиной, и кончился этот ураган с их отбытием — в никуда. Вставало солнце.

Лена, проснувшись в полдень, обнаружила, что дверь в комнату Алека приоткрыта: там летал, как после погрома, пух от подушки и на полу валялись выпачканные в

краске обрывки простыней. Она бросилась на улицу и в конце концов разыскала Алека у причала, где наблюдалась необычная для этого места суতোлка. Ночной ураган заставил тех, кто обычно досиживает до конца сезона, подумать о переезде к более спокойным берегам. Среди погрома, учиненного ураганом, среди сорванных вывесок, разбитых фонарей и опрокинутых столиков, сам Алек, обернутый в полосатую простыню, выглядел как нелепый предмет семейного быта, случайно вышвырнутый ураганным ветром с балкона. По контрасту с Алеком вся остальная толпа, сгрудившаяся на причале в ожидании местного пароходика, выглядела более, чем заурядно. Местные лавочники, отправляющиеся за оптовыми закупками в соседний приморский поселок, парочка хиппи, случайный бизнесмен, с утра уже не трезвый, еще одна супружеская пара художников-любителей с этюдниками, пенсионеры в групповой поездке круизом в соседстве с группой дефективных детей под руководством сверхполноценного гида из благотворительной организации. И, конечно же, те самые, под бобрник подстриженные коренастые и мордатые немки в бутсах и шортах, с тяжеленными рюкзаками. При каждом малейшем движении рюкзак грозил сбить с ног соседа по очереди. Они уже пели что-то хоровое и оптимистическое. Стал причаливать прогулочный катер, и немки, подтянув лямки рюкзаков, гуськом стали передвигаться по мосткам причала к трапу. Там их ожидала странная фигура: Алек стоял на каменном, природой созданном подиуме, вроде кафедры проповедника — небольшом скалистом пригорке, нависающем над досками причала. Он был завернут в свою полосатую простыню, с краями, накинутыми, как капюшон, на голову, по-библейски. Он прижимал к груди картину. На картине был изображен завод с трубами. Из труб шел дым.

"Что ты здесь делаешь? Кого ты изображаешь?" Лена, пробравшись сквозь толпу любопытных, попыталась стащить его с пригорка, с пророческих высот — обратно на землю.

"Как будто сама не понимаешь? Я изображаю того, кем

изображают меня. Вы хотели записать меня в еврей? пожалуйста! Вот вам мой талес, — и он взмахнул полосатым подолом простыни. — Вот вам газовые печи".

"Ты хочешь сказать, что ты — газированный еврей?" — сказала Лена и тут же смутилась. — Я имею в виду: жертва газовых печей. Это не газовые печи". Она ткнула пальцем в картину: "Это сталеплавильный завод в Магнитогорске. Или война в Персидском заливе".

"This is an Arab, darling [Это араб, деточка], — пояснила своему шестилетнему ребенку мамаша-англичанка, — he is protesting against the Israeli occupation. Harry up, my love" [он протестует против израильской оккупации. Прибавь шагу, мой светик], и, подхватив мальчишку, она потащила его к причалившему пароходу. Немки-землепроходцы с рюкзаками гуськом подымались по трапу, в недоумении поглядывая на Алека и молча пожимая плечами. "Газированный еврей" Алек стал раскачиваться, как талмудист в синагоге, и, запрокинув голову, завыл протяжно и громко. Ему ответил гудок возвращающегося в гавань большого лайнера. Над Колюрской горой в небе появился первый с утра парашютист, похожий на гигантскую осу.

7

Обратная дорога в Лондон началась с многочасового ожидания в небольшом аэропорту Перпиньяна. Они долго выгружались из такси: надо было извлечь забинтованного Сергея из машины и перенести в инвалидное кресло на колесиках. Когда они, наконец, зарегистрировали билеты и багаж, в репродуктор объявили, что их полет откладывается на час. Потом еще на полчаса, потом сразу на два, и конца этому не было видно. Как в цепочке домино, один задержанный рейс рушил все последующее расписание. В зале начиналась давка от непрерывного притока все новых и новых пассажиров, число которых росло с каждым отложенным рейсом. Никто не сдвигался с места, и, задрвав голову, сверял свою судьбу с рас-

писанием. Люди уже сидели на ступеньках лестниц, располагались прямо в проходах, расстелив газеты. Даже стоячие места и те трудно было отыскать: место, где можно было хотя бы облокотиться, скажем, на перила лестниц, казалось роскошью. Никто при этом особо не возмущался. Не слышалось ни жалоб, ни проклятий в адрес авиакомпаний или администрации аэропорта. Как будто все твердо знали, что иного отношения к себе не заслуживают. Кто-то уже раскладывал, как на пикнике, заранее заготовленные бутерброды, подстелив газету. Запахло крутыми яйцами, как в советских поездах дальнего следования.

Слышно было шуршание бумаги, чавканье, полупшепот. Но все достойно, без эксцессов. В буфете скопилась страшная очередь: она извивалась, пронизывая толпу, невидимая в толкучке и тем не менее существующая, как ускользающая мысль в гуле голосов. Очевидно, каждый знал, кто за кем стоит, поддерживая незримое существование этой очереди как особой расы. Никто при этом не роптал. Вот именно: с терпеливостью евреев. С обреченностью евреев, отдающих себе отчет в том, что этот день расплаты неминуем. Райское безделье, эти беспечные деньки в солнечном Колюре — совершенно ясно, что за все это счастье придется в один прекрасный день расплачиваться. И эта толкучка, эта очередь, эта пытка ожидания — не самая страшная расплата: в конце концов подойдет и наша очередь, все мы, в конце концов, попадем домой. Что такое несколько часов вокзального дискомфорта в сравнении с неделями средиземноморского рая? Что такое, собственно, смерть каких-то там евреев в сравнении с всечеловеческой трагедией истории? Точно так же они стояли, молча, дыша в затылки друг другу, покачиваясь под стук колес, катящихся в Освенцим.

Алек глядел на происходящее вокруг как сквозь мутное пуленепробиваемое стекло, стекло смутной памяти о чужой трагедии, когда ясно, что уже ничего не исправишь, что все на свете происходит без твоего участия, вмешательства и сочувствия. Но и на него смотрели как сквозь

мутное стекло. Помутневшее сознание. Правая нога онемела. Он перестал чувствовать правую ногу. Если он сейчас упадет, никто ничего не заметит, потому что в этой тесноте он останется в том же положении, что и до обморока. Забинтованному Сергею повезло: он сидел в инвалидном кресле на колесиках. Хорошо устроился. На лице у него Алек заметил каплю пота, которую можно было принять за слезу. Ничего не поделаешь. (Горестный вздох.) Ничего не поделаешь. Стоял человек, ходил на своих двоих, а теперь сидит. Упражнение на растяжение и сжатие. Жизнь должна идти своим путем, Был человек и нет. Еврея больше нет, Меня нет. Тебя нет. Его нет. Но если никому до этого нету дела и ничто при этом не меняется — значит: и Бога нет. В том смысле, что даже если он и есть, нет никакой разницы, есть он или нет. А это значит: ни ада, ни рая, когда все — как сквозь мутное стекло. Но, может быть, это и есть ад: наблюдать за жизнью как сквозь мутное стекло и чувствовать полную исключенность из разговора. *Нихт гехабен.*

Лондон 1993

Владимир ДУШСКИЙ

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Вчера я видел его снова. В третий раз. И больше уж, наверное, не увижу...

Я провожал приятельницу, вечером, было уже довольно темно — фонари горели. Сначала я мог разглядеть только фургончик "скорой помощи" — потому что шли мы по дощатой галерейке, огораживавшей какое-то большое строительство. Обычная такая галерейка: слева — сплошной забор, внизу — настил, сверху — навесик, защищающий пешеходов от нечаянного кирпича, строительного мусора и прочих искусственных космических тел. Стройка была большая, и сооружение это вылезло на мостовую, так что забор поначалу заслонял весь тротуар — даже ту его часть дальше по улице, где уже никакого ограждения не было, — и лишь постепенно, по мере нашего продвижения отступая влево, открывал скупую освещенную (тротуар в этом месте был очень широк) мизансцену: группа, человек в восемь-десять, слева, темные, машина "скорой помощи" на мостовой, между людьми и

машиной — газетный щит, потом фонарь, и на этом фоне два санитары — нет, вероятно, санитар и фельдшер: у них ведь, кажется, экипаж — врач, фельдшер, санитар и шофер — вели под руки странно откинувшегося назад, как если бы он упирался, сопротивляясь ведущим его, мужчину в темном плаще и в шляпе, похожей на гриб-зонтик. Он не сопротивлялся, конечно: туловище его и ноги оставались прямыми, не обнаруживая ни малейших усилий, — да и куда б ему было сопротивляться: шаги его, редкие, неверные, давались ему с видимым трудом, и санитары, стараясь обеспечить ему максимальный покой, внимательно ловили его едва заметные движения и почти что переставляли безучастное тело на как бы случайно выдвигавшуюся вперед ногу. Они еле тащились, и мы, очевидно, поравнялись бы с ними раньше, чем старика успели бы погрузить в машину, но я уже узнал его — хотя увечное шестиногое ползло по тротуару, наполовину отвернувшись от нас, и фонарь помещался за ними, и до них оставалось не меньше двадцати метров. Я узнал его, как только разглядел веревку, неровно перехватывающую его плащ, — тот же плащ, что и тогда, зимою... Эта веревка тотчас соединила и остальные детали, до сих пор присутствовавшие в картине изолированно, без связи, и потому почти незаметно — а теперь мигом сцепившиеся, и уже не было сомнения, что это он, Павел Иванович. Я узнавал понурую шляпу, под солнцем и дождем утратившую всякий цвет, — она висела на гвозде у него в комнате... помню, я еще тогда удивился, что у него оказалась шляпа... На валявшейся на земле гряде какого-то хлама, явно принадлежавшего старику, — так отстранялись зрители от лежавшего у самых их ног вороха, — отчетливо проявилась штриховка нитяной сетки, в каких по магазинам развозят капусту: в этой самой, небось, мы и таскали с ним бутылки. Я узнавал и некогда белое кашне, высоко намотанное на его шею, а главное — эту необычную осанку, с неестественно наклоненным назад туловищем — как будто человек, открыв дверь, увидел внезапно что-то ужасное, отшатнулся невольно — и его

тело зафиксировало на всю жизнь эту неустойчивую, мгновенную позу. Позу пизанской башни...

Веревочка все увязала.

Мы с Ниной совсем уж подходили — к действующим и бездействующим — лицам, занятым в этой грустной сцене. Право, мне было неудобно перед спутницей: она ведь доверилась моему руководству в нашей прогулке — и вот такое сомнительное развлечение! Но свернуть было некуда, и мы шли вперед, продолжая болтать об одном нашем общем знакомом, который... и делая вид, будто вовсе не замечаем происходящего перед нами, или — что, по крайней мере, нас это совершенно не касается. Ее, впрочем, кажется, это и впрямь не касалось.

Мы поравнялись, и еще через пару шагов я как бы ненароком, мельком, оглянулся. Его лицо. Оно вновь поразило меня: белая, меловая маска Пьеро, в плотных сырых сумерках, при зеленоватом свете ртутной лампы казавшаяся еще более бледной, чем тогда, с неподвижным взглядом маленьких зрачков, с застывшим выражением горького и жалостного изумления — но уже слабого, растворявшегося в окружающем влажном сумраке... "Лунный Пьеро".

Я не глядел на него и секунды — миг один, — мы и ходу не сбавляли, продолжая свой путь и беседу, и уже острая подловатая радость, что людское несчастье — в котором мы, правда, не виновны и помочь которому не в наших силах (но ведь ты и не пытался! и пальцем не шевельнул для этого!) — больше не бьет в глаза, эта радость стихла так же быстро, как и явилась; сейчас неприятное видение заслонится какими-то новыми событиями и впечатленьями и, оттесняемое ими все дальше и дальше, постепенно канет, к вящему комфорту бессмертной души нашей, в страну забвения... Он ведь говорил мне, что его не раз привозили домой на "скорой". А в больницу не берут... Но всего через несколько шагов неслышное движение у нас за спиной вновь заставило меня обернуться. Старик висел на руках, державших его, и голова его на прямой, туго запеленатой в кашне шее

была запрокинута назад. Лицо позеленело: мертвенный свет лампы бил теперь с высоты прямо в него. Мне показалось, что я расслышал глухой хрип. От машины быстро отделилась фигура в белом, с маленькой блестящей в руке. Шприц...

* * *

В темноте я увидел его и впервые. Только тогда темень была совершенная: вечерело — и начало декабря. Ночью выпал снег, погода же стояла довольно теплая, и за день все раскисло, под ногами хлюпало и чавкало, ботинки, кажется, уже промокли, но здесь, на нечищенной да еще и почти не освещенной дорожке, протянувшейся вглубь двора мимо будок и киосков (двор был проходной), в которых торговали овощами и фруктами, отдельно от них — картошкой, еще дальше — пончиками и тут же, только в другом киоске, — более разнообразными кондитерскими изделиями (сейчас, правда, все эти ларьки, кроме пончиковой, были уже закрыты), можно было и вовсе растянуться, — и я шел, внимательно глядя под ноги, стараясь ставить ступню на выступавшие из снежного месива более твердые на вид островки, ощупывая их сначала ногой, как камни в горах. К тому же тяжелая сумка порядком мешала балансировать на скользких кочках. Ничего, сейчас мы ее облегчим!

А дело было так. Дома накопилось много пустых бутылок из-под вина и семнадцатого номера "Ессентуков", прописанного матери; она пила их нерегулярно, но как раз в последнее время с нею случился "запой", и десятка два пустых пол-литровок с зелеными этикетками выстроилась на полу в чулане. Винную же батарею существенно пополнил мой недавний день рождения. Ну и пошло — "бабка за дедку, дедка за репку": соседки приставали к матери, что в чулане теперь совсем не повернуться (и были, в общем-то, правы), а мамаша методически пилила меня, что пора, наконец... Сегодня же я собрался

потому, что к ее приставаниям присоединился пошлый материальный фактор: до стипендии оставалось три дня.

Должен заметить, что сдать пустые бутылки — дело совсем не такое простое, как может показаться при умозрительном рассмотрении этой проблемы. Никакие другие учреждения не бывают, по-моему, закрыты так часто, как бутылочные приемные пункты. Причины самые различные: "из-за отсутствия тары (очень популярное объяснение)", "из-за болезни приемщика", "не горит электричество" и прочая, и прочая... Наконец, *просто так*. Кроме того, большинство приемных пунктов закрывается почему-то в пять часов — не прерывать же из-за этого эксперимент! Но в последний раз мне повезло: я сдавал бутылки в пункте при Елисейском в воскресенье вечером, и народу там почти не было, — и я подумал, что в этом заведении воскресными вечерами всегда, наверное, так: закрывают они только в девять, а к тому времени в выходной все нормальные люди находят себе более веселые занятия, чем сдавать бутылки. Надо было, конечно, пойти попозже, но из-за гнусной погоды хотелось разделаться с окаянной стеклотарой засветло. Ну и "разделался": на улице около пункта, когда я туда притащился, стояла изрядная очередь, а принимают посуду в подвале, ведут туда два или три марша лестницы, да еще как опустишься, тоже есть, где постоять. Что остается в такой ситуации? Занимаешь очередь и стараешься приискать какое-нибудь занятие, чтобы скоротать время. Всего бы лучше пойти по другим делам, но, во-первых, никаких поблизости дел у меня не было, а, во-вторых, если б и были, то не очень сподручно заниматься чем-либо, когда в каждой руке по набитой стеклом сумке. А избавиться от этой обузы — так и задача полностью решена, и не нужно ни в очередь возвращаться, ни делами этими полунадуманными заниматься. Но ведь можно устроить фракционную перегонку! А именно: сначала освободимся от "эссенуков" — ведь тут рядом магазин "Минводы". Предупредив стоящую за мною старушку, что отойду, и, невольно позавидовав ее снаряжению — валенки с ка-

лошками, голова закутана в теплый платок так, что из него высовывается только острый носик и глазки, тоже остренькие, подпираемые подушечками красненьких щечек, да и помещались эти миниатюрные детали на ее личике так тесно, что, казалось, греются друг о дружку, — я туда и отправился, и, действительно, одна рука у меня освободилась. Но, конечно, там принимали только бутылки из-под минеральной воды.

Был у меня еще в запасе магазин "Российские вина", немного пониже, на углу проезда Художественного театра. У них, правда, бутылки принимают в зале, где идет торговля, и народу там вечно огромное количество, и надо протискиваться сквозь одержимую жаждой толпу, дожидаться, пока какая-нибудь продавщица тебя заметит, томиться в длиннющей очереди в кассу... И все время чувствовать себя "лишним человеком": все здесь по важному делу, все спешат, а ты со своими крохотными проблемками... В общем, я не любил сдавать там бутылки. Но, как известно, если берешься за дело без любви, твое начинание редко венчается успехом. Оказалось — после того, конечно, как протиснулся и милостивого внимания дождался, — что теперь у них посуду принимают только в обмен, а это меня — три дня до стипендии! — совершенно не устраивало. А потому я отправился обратно, к Елисейеву.

Увы, очередь моя — то бишь аккуратно упакованная старушка — едва продвинулась. До входа в подвал было еще далеко. А ведь моя отлучка продолжалась около получаса. С такими темпами дай бог часа через полтора управиться! Для очистки совести постоял минут десять. Ноги стали успокоительно коченеть. В движении очереди — никакого прогресса. Все ясно: номер не прошел, пора домой. И, порадовав старушку сообщением, что ухожу, я отправился на автобус.

И вот, чертыхаясь, боясь оступиться и утопить башмаки в месиве из воды и снега, со всех сторон окружавшем ледяной пунктир дорожки, я пробираюсь на помойку, потому что вспомнил о нескольких импортных бутылках у

меня в сумке. Квартирная молва утверждала, что где-то их принимают, но сколько я ни носился с этими иностранцами, тщательно растворяя их в толпе стопроцентно советских собратьев, всякий раз волков отделяли от козлиц. Так что — хоть от этого балласта избавиться!

Наконец, добрался. Здесь было немного суще — помойка наша господствует над двором: железные баки, почти кубические, их четыре (у дальнего в темноте угадывается какая-то фигура, наверное, ведро опорожняет), — крепостными башнями возвышаются на вершине пологого холмика, этот холмик, собственно, и есть наш двор. Темно. С улицы только случайные фотоны залетают. Теперь надо на весу — не ставить же на мусорный бак! — открыть сумку, отыскать в ней этот проклятый импорт (я ведь его весь с одной стороны ставил — так, угадал!) — и первая бутылка нырнула в узкое горло железного куба. Бак оказался совершенно пустым, и моя посуда с разлета бухнула в набат его днища.

— Ах, что вы делаете! Остановитесь! — полоснул меня пронзительный вскрик. — Отдайте их мне! Отдайте, если они вам не нужны. Ведь если они не нужны вам, то кому-то же очень нужны, может... — захлебывался хриплый старческий тенорок, дрожащий от напряжения и неуместного — темень, грязь, помойка — пафоса и на ходу набухавший слезами.

Тут же — проклятие! — я ощутил на штанине изрядный плевков из воды со снегом, да и с немалою долей грязи, конечно: бросившийся ко мне старик влетел по дороге в лужу — и уже рука его заслоняла жерло бака.

— Ведь они не нужны вам?! А мне полдня, может, копать здесь надо, чтоб отыскать их. Вы-то не знаете, что значит рыться в помойной яме! Вам-то, верно, не приходилось! Так почему же не поставить их рядом?! И какой-нибудь несчастный подберет их легко и за легкость эту благодарить вас будет...

А рука его уж тянулась ко мне, и я, отстраняясь, отступал — по счастью, не в лужу.

— Да, конечно, возьмите их. Только я не знаю вот, примут ли где, у меня импортные...

— Ах, это не важно! Я знаю... У меня есть приемщик знакомый... он болен сейчас — но он поправится, он скоро поправится... Ведь это какая удача! — приговаривал он в то время, как я доставал спасенный от погребения в баке импорт.

— Я встал поздно, я так плохо сплю теперь, да и погода сегодня... А вышел поздно — так, почитай, впустую... Здесь старушка одна есть — так она все передо мной норовит, а иной день — так и по второму разу обходит. Ну хоть бы один только раз! — воскликнул он страстно и бессильно, и в голосе его вновь зазвучала слеза. — А то ведь роешься-роешься, а добыча вся — две или три штуки, да еще надо, чтоб горлышко целое, а то не берут. И не ходить же с такою малостью сдавать. Хоть и приемщик знакомый, без очереди возьмет... Вот и несешь к себе, собираешь — а соседи кричат, из квартиры грозят выселить! Ты, говорят, инфекцию заносишь! Так ведь я их в дальний угол, и дверь всегда закрываю. Уж и не знаю, как вас благодарить, за удачу-то. Ведь я неверующий, — почему-то вдруг добавил он.

Неужели это убогое существо заслуживало только шести совершенно уж не нужных мне бутылок?! Неужели этот жалкий лепет не тронул бы и вас, да еще когда сами вы промокли и продрогли — а каково было несчастному старику?!

— Вот, вы возьмите еще, у меня тут еще есть, — торопился теперь уже я, доставая из сумки подряд все, что было. Три-то дня проживем как-нибудь, не впервой!

— Ах, я сейчас, сейчас... Вы тут поставьте их, я сейчас сеточку свою... — он заспешил к тому баку, у которого возился до моего прихода, и тут я впервые обратил внимание — глаза уже привыкли к темноте — на его чудную походку: корпус откинут назад, шажки маленькие, и — хоть грязища ужасная — под ноги не смотрит, а в глазах... Нет, это странное сочетание робости и прострации в его глазах я разглядел уже после.

— Вот она, сеточка, — он по дороге что-то вытаскивал из нее — тряпочки, что ли, какие-то — и только две темные бутылки холодно поблескивали в ней.

— Ах, какая удача! — Он лихорадочно сунул туда еще две или три бутылки и остановился:

— Да как же мне снести это? Вот ведь беда...

Только что на лице у него была радость — целых шесть бутылок! Тут же за ней — какая-то лилипутская алчность при виде внезапно свалившегося на него богатства, и вот — уже осколки этих чувств ломало, коржило отчаянье:

— Как же мне? А может, спрятать? Спрятать до завтра, а завтра я заберу. Где ж спрятать, где же... — бормотал он, озираясь. Пронзительной жалости было зрелище, и я почувствовал, что волна сострадания несет меня дальше. Не слишком чистой была эта волна, не без гадливости, но я должен был еще что-то сделать для него. И для себя.

— Вы далеко отсюда живете? — на всякий случай, предугадывая ответ (конечно, недалеко: откуда ж ему сил взять таскаться с его хламом издалека каждый день!), спросил я.

— Да тут рядом, на Ордынке. А что вам до этого? — сразу насторожился он. Господи, уж не думает ли он, что я отниму его добычу, только что мной же... Или боится, что я в милицию сообщу? О чем? Про инфекцию, разве?!

— Давайте я помогу вам донести.

— Что вы... Да верить ли мне ушам моим?! За что мне это вдруг! Ведь как во сне!.. Позвольте мне вашу руку пожать — нет, не здесь, не в гадком этом месте! Ах, какая удача! — причитал он. — Ведь сколько раз я взывал — и вот же, послала мне судьба человека. Что ж вы за человек такой?!

Признаться, все нараставший пафос его речей быстро меня утомлял: свалить бы все в сетку, отнести — и скорее домой, переодеться в сухие носки и чего-нибудь горячего. Я в этом смысле и высказывался.

— Сейчас, сейчас! ах! я заставляю вас ждать... — снова

засуетился он. Мы быстро набили сетку — все влезло — и стали выбираться со двора. Старик поначалу тоже уцепился за ношу — он непременно хотел помочь мне, — но после его очередного неловкого шага вторая моя штанина оказалась мокрой, и пришлось отказаться от его услуг. Когда же мы вышли на улицу — там было все-таки чище — он тотчас вцепился в мою свободную руку. Большой радости мне это не доставляло: ведь только что его пальцы разгребали помойку, к тому же из-за нелепой осанки моего спутника мне приходилось вдобавок к увесистой и сильно резавшей пальцы сетке (и руку не сменишь!) тащить еще и его. Но я уже вошел в роль: оставалось терпеть.

— Как же вас звать? Ах, Сережа! Если б вы знали! Если б представить себе могли! Сколько раз я прежде мечтал, что вот кто-то, как вы сегодня, подойдет — и увидит меня, и протянет ко мне руку: "Павел Иванович!" Ведь у меня нет никого... Была жена, был сын... — и никого... Я работал неподалеку здесь. Мои сослуживцы, мальчишки тогда, теперь важными стали. Так хоть бы раз кто-нибудь зашел; бывали же они у меня, когда я им был нужен. Нет! Кому теперь дело до Павла Ивановича! Где ж перчатка моя? — вдруг спохватился он: рука у него, что ли, замерзла? — Не-ет... ведь я еще третьего дня потерял... еще раньше... Вот, все теряю перчатки, а они денег стоят... найдешь-то редко. А пенсия — сорок рублей. А мне каждый день кефир нужен, врачи говорят. Я ведь два раза в больнице лежал... инфаркт. А теперь не берут... Вот, говорят, будет приступ — положим, а так — нельзя... Привезут домой на машине, а в больницу не берут. Ха-ха-ха! — внезапно и ненатурально как-то, горлом, рассмеялся он и так же внезапно оборвал. — Я как-то в магазине к женщине подошел, так богато она была одета и брала всего много. Рекомендуюсь и говорю: так и так, у меня к вам просьба. Мне врачи велют каждый день кефир, а денег нет, пенсия маленькая... "Чего ж вы, говорит, от меня-то хотите?" Ах, ведь так и сказала! Будто и впрямь невдомек ей! "Чего же вы хотите?" Я и говорю:

"Возьмите мне бутылку кефира, что вам стоит." Ах, как она раскричалась! Про дом престарелых... что стыдно, что нищих у нас нет. Выходит — меня *нет!*.. Я... нет меня...

Воспоминание это вновь его ужасно огорчило, и он замолчал, и глаза его снова намокли. Но и это быстро прошло: по-видимому, его внимание не могло сколько-нибудь долго задерживаться на чем-либо одном, и он уже снова говорил.

— Ведь я всю жизнь... Ведь я агитатор был, в гражданскую. Как меня слушали! Стоишь на крыльце, а то на подводе, а перед тобою — глаза... Тысячи глаз... А ты — как запал для пороха. Я ведь мог с ними делать — что хотел. Они шли за мной.

В глазах его на мгновение что-то вспыхнуло и сразу погасло.

— А потом... Потом кооперация, потом лекции читал. Да уж какие лекции! И только дома порой, в своем кругу... Спасибо, жена была дура.

Я удивился и переспросил.

— Да-да, это хорошо, когда жена дура... — пробормотал он в ответ, но что в этом хорошего, не объяснил, потому что мысль его снова скользнула в сторону:

— Ах, Сережа, вы для меня столько сделали, столько значите... Что вам стоит? Давайте переложим их снова к вам в сумку... Как будто вы ко мне в гости, так благородно. И соседи увидят. Чтоб хоть один только раз...

Пришлось, подавляя в себе чувство брезгливости — да, собственно, оно не исчезало ни на мгновение с того момента, как я его увидел; только временами, как сейчас, его концентрация в смеси ощущений резко возрастала, — остановиться и, приперев сумку к цоколю фонарного столба, переключать бутылки обратно. Сумку потом надо вымыть.

Павел Иванович старался помогать, не переставая ахать и благодарить, но больше мешал, конечно.

— Что ж было дальше? Дальше, после лекций... — пытался я вернуть его к тому месту, на котором он

оборвал свою историю. Какое-то время он соображал: о чем это я? Видимо, он отвык следить за нитью разговора. Но на этот раз ему все же удалось поймать чудом удержавшийся в памяти обрывок:

— Да, после лекций... Потом я был в школе... Директором. Я всегда был таким разбитым существом... Разбитым сосудом...

Снова влага в глазах и в голосе.

— И тут — война. И я навлек на себя проклятие сотен матерей. Они все пошли за мной... И все погибли. А я уцелел. А потом... Потом — только в другие вагоны пересадили.

Он снова замолчал. Вся его жизнь уместилась в считанные фразы. Я не расспрашивал дальше: мне казалось, что быльем оно так и не поросло. Если так кратко.

— Меня ведь не исключали из партии! Билет отобрали, но решения не было. Когда я вернулся, меня поставили на учет. Я платил взносы. А билет все не выдавали. Потом взносы перестали принимать. Ты, говорят, не член партии... Я стал писать. Потом снова стали брать, снова перестали... Так несколько раз. Пока я до Шверника не дошел. У него мое дело, мне говорили, чуть не год лежало. Он сам его затребовал. И постановили: восстановить, как несправедливо — несправедливо! — пострадавшего.

Он помолчал.

— А потом я сам перестал...

Мы уже миновали какой-то проходной двор и очутились на Ордынке. Цель путешествия была где-то рядом. Он, вероятно, подумал о том же, потому что заговорил о своем доме:

— Ведь это конюшня, настоящая конюшня. Во дворе. На улицу особняк выходил, там жили, а где я теперь — лошадей держали. Ремонт?! Навоз вывезли, и то спасибо!.. Да еще как выборы — ходят, говорят... То капитальный ремонт обещают, то — что в новый дом переселят. А после...

Мы свернули в темный двор, оставив слева старый —

но крепкий, уверенный в себе — одноэтажный дом. Снова болото — ну да черт с ним: все, что могло промокнуть, уже промокло. Двор замыкался сзади двухэтажным — такой же, впрочем, высоты, как и особняк, — некрашеным кирпичным строением. Мы вошли в уродливо пристроенный к нему темный дощатый тамбур — кажется, из него на второй этаж поднималась лестница, — и я был вынужден остановиться, пока Павел Иванович нащупал дверь и отворил: по-видимому, у них не запирали. Оттуда ударило ярким светом и сладковатым запахом печеного. Мы попали в довольно просторный коридор. В настиле пола недоставало нескольких досок, справа у входа стоял красный мотоцикл, немного подальше, у противоположной стены — плита с протвином румяных ватрушек на ней. Разжарившаяся у духовки женщина смотрела на меня с удивлением. "Гена!" — позвала она. Из двери, у которой стоял мотоцикл, вышел парень в голубой майке и тоже уставился на меня. Я поздоровался. Оба ответили, удивленно и безразлично одновременно. Павел Иванович церемонно пропускал меня вперед, и я обернулся к нему спросить, куда же идти, — и поразился происшедшей в нем метаморфозе. Что изменилось в нем — не знаю, не успел заметить, но уже не хнычущее, всякую минуту готовое пролить слезу существо ковыляло рядом со мной — нет, это выступал боевой петух, старый, много раз битый, растерявший в сражениях почти все свои перья, но по-прежнему задиристый, готовый снова иступленно, клювом и грудью броситься на врага. Осанка его, это запрокинутое назад туловище, казалась надменной. Самая старость была предметом гордости: старый — значит, из старой гвардии. В торжественном молчании, глядя прямо перед собой, вел он меня в свои апартаменты.

Я вошел — и у меня перехватило дыхание. Мой выдубленный лабораторными запахами нос ослепило. Просторная, метров двадцати, комната была превращена стариком в форменную душегубку. Два больших окна не открывались, по-видимому, уже несколько лет: местами

на швах еще держались остатки бумажных лент, цвет которых изобличал их возраст. Обитую потрескавшимся дерматином дверь хозяин плотно притворил за собой с неожиданным в нем проворством — и, лишенные выхода, мерзкие запахи, спутники немощной старости, мигом закупорив дыхательные пути, принялись душить меня.

В обонятельном шоке я, как мог, быстро разгружал свою сумку. Потом зачем-то потребовалось освободить место в углу, занятое проржавевшим чайником без крышки, двумя его ровесницами-кастрюлями и большим ворохом старых газет, из которых при переноске тонко струилось просыпанное когда-то пшено, — и передвигать туда нашу батарею. Старик, не умолкая — и не раздеваясь, — вертелся рядом, мешал — и все просил заходить: "Вы ведь придете еще, Сережа? Ведь правда?.."

Наконец, после давно предвкушавшегося им торжественного рукопожатия я вылетел на улицу. Сырой промозглый воздух показался мне живительным. Самая слякоть приятно освежала.

* * *

Несколько дней спустя, стоя за стипендией и прикидывая, сколько же из нее надо будет выжать на новогодние подарки, я с немалым удивлением обнаружил в очереди претендентов на них и моего нового знакомого. Спокойно и уверенно, в полном сознании своего права стоял он в окружении ближней моей родни, избранных приятельниц матери и лабораторных девчонок и даже, казалось, занимал эту публику своею историей, преподносимой, похоже, на сей раз в соответствовавшем обстановке игриво-ироническом варианте. Во всяком случае, никакого опасения, что его сейчас попрут отсюда, что кто-то его возьмет и выставит за попрошайничество — как та женщина с кефиром, — ничего такого заметно в нем не было. И нет с ним вечных предпраздничных проблем, что купить, — когда бегаешь из одного магазина в другой, приискивая маленькие сюрпризы для тех, кого

неприменно хочешь или должен одарить, и, лихорадочно вспоминая, к чему они не равнодушны, тщишься, зажатый между Сциллой наличного ассортимента и Харибдою собственного бюджета, и даримым угодить, и вкус свой показать. С Павлом же Ивановичем все было ясно. Конечно, ему надо подарить перчатки. Которые он без конца теряет. Недорогие, но теплые. Я ассигновал на это трешницу. Сколько они стоят в действительности, я представления не имел: мне их всегда дарили. — Да, и сшить их, как маленьким, тесемочкой, тесемочку продернуть в рукава, и уже так просто не потеряешь!..

А ведь если бы меня в тот миг, когда я, вырвавшись из его зловонной берлоги, вздохнул, наконец, полной грудью, если бы меня тогда спросили, намерен ли я — куда там! решусь ли — хоть когда-нибудь заглянуть туда еще раз, я бы, без сомнения, ответил: да ни за что в жизни!

План дарений был разработан, но собраться за покупками было все некогда. Все откладывалось — потому что конец года, отчет, мою тему тоже включили — и, разумеется, в самый последний момент — и надо было обсчитывать и писать, и еще помогать по колюшевской работе, где они совсем зашивались. В общем, времени совершенно не было. Вырвался я в магазины числа двадцать девятого или тридцатого. Конечно, предпраздничное нашествие уже опустошило прилавки. По подарочной части в изобилии имелись только подсвечники, сверхтолстые свечи рублей по пять, по шесть штука — которые при этом, само собой, в подсвечники не лезли — да деревянные посудины — братины или как их там. Так что план пришлось на ходу корректировать. Им, планам, правда к этому не привыкать, но я, пробежав полный рабочий день, так и не сумел добыть нужное количество предметов. Не нашел я, разумеется, и перчаток. Впрочем, вру: в одном месте они мне попались — но кожаные, импортные, около червонца за пару, да еще с приличной очередью впридачу. Все это мне не подходило.

На следующий день, тридцать первого, я с утра пом-

чался первым делом за порученными мне для встречи нового года апельсинами и маслинами — бутылка была припасена заранее, — добрал оставшиеся два-три презента и, наконец, в очередной галантерее наткнулся на шерстяные носки. В конце концов, ноги тоже нуждаются в тепле: "держи голову в холоде..." К тому же его продолжительные блуждания по дворам... Нет, положительно, носки будут для Павла Ивановича хорошим подарком! И что-то около рубля экономии — что отнюдь не было лишним ввиду перерасхода по другим статьям.

И сегодня же зайти к нему: не начинать же с этого визита новый год! А отложить еще — так и вовсе мое намерение рассосется. Так что я с сумкой — как и в первый раз — прямо из магазинов к нему и отправился. Носки я положил в карман пальто, чтобы не дразнить старика видом других моих приобретений.

Погда, помню, была прекрасная. Солнце, свежий морозец, самый расцвет ясного зимнего дня. Как раз между часом и двумя было — потому что я отложил из-за перерыва последние продуктовые покупки. Пресловутая конюшня имела вид не такой отталкивающий, что-то вроде "гордой бедности": да, мне давно уж положено в ремонт, и пристройки самодельные, знаю, меня не красят, но ничего, стою и, как могу, служу, и вот — солнышко...

Войдя в тамбур, я, на всякий случай, постучал, и женский голос отозвался, что не заперто — как и в тот раз. Опять женщина у плиты — как будто другая, — опять удивление, когда я спросил про Павла Ивановича. Дома ли? Не знаю, посмотрите; вроде, не выходил еще...

Я постучал. Чувствуя затылком, что за мной наблюдают, постучал снова. Молчание. Толкнул дверь — она открылась. Шагнув в комнату, я изумился силе своего первого обонятельного впечатления: память о запахах того вечера была такой острой, что нынешнее состояние атмосферы казалось терпимым. Вполне можно было дышать.

Старик одетым лежал на кровати. Одеяла на нем не было. Не могу поручиться — глаза мои всякий раз при-

тягивало его лицо — и шея, замотанная все в то же кашне, — но сейчас мне кажется, что он был и в ботинках. Мне пришлось два раза окликнуть его, прежде чем он пробормотал что-то и пошевелился. Трудно, мучительно трудно высвободился он из-под глыбы забытья. Наконец, кое-как приподнялся и полусел, откинувшись на спинку кровати.

— Кто это? Я ж ничего... старый, больной человек... — выговаривал он нетвердым языком, и глаза его глядели безо всякого смысла. Хотя он, по видимости, оправдывался, но даже испуга на лице у него не было видно.

— Это я, Сережа. Помните, мы с вами три недели назад познакомились? Я еще вам бутылки относил. Помните?

— Сережа... бутылки...

Он по-прежнему ничего не понимал.

— Вы еще, Павел Иванович, тогда приглашали меня заходить. Вот я и пришел. Новый год завтра, поздравить вас зашел.

— Меня?.. Новый год... Поздравить — меня?

Глаза у него заблестели, с каким-то прихлипом он потянул носом — по-видимому, наконец, очнулся.

— Я хочу сделать вам, Павел Иванович, маленький подарок. Вот, носите на здоровье. — Я развернул носки и протянул ему.

— Боже мой, боже мой! Да что ж это?! Вы... как вас зовут? Я вот не припомню, совсем без ума стал...

— Сережа, Сережа я! Помните... — начал, было, я снова — и осекся: нет, он ничего не помнил. А я еще думал, куда бы его пристроить — на стадион, что ли, в раздевалку дежурным. Работы там никакой, но все-таки надо и приходиться вовремя, и посетителей запоминать хоть как-то. Куда ему, господи!

У старика моего уже текло по обеим щекам:

— О, кто же послал вас?! Это — провидение! Если б я мог уверовать! Если б уверовать мог. Ведь это так справедливо, за все мои мучения!.. Но ведь не сплю же я?! Скажите мне что-нибудь, ведь не сплю?

— Да успокойтесь, успокойтесь, Павел Иванович! Вы не спите. Мы с вами недавно познакомились, и мне просто захотелось сделать вам приятное. Посмотрите, какая сегодня прекрасная погода, — попытался я хоть как-то осушить его слезы. — Я бы, знаете, что? Я бы у вас тут проветрил по такой погоде. Вам же вредно дышать этим воздухом.

— Что вы, что вы! Здесь тотчас сквозняк будет! А я так легко простужаюсь. У меня чуть не вся пенсия на лекарства уходит. Много ли, сорок рублей всего...

Добрую половину его стола, действительно, занимали пузырьки, баночки и коробочки. И еще была развалена горка каких-то сероватых таблеток. Прямо на грязной клеенке. Не притащил ли он с помойки и их?

— И сердце большое... Но что же вы стоите! Когда-то пришел ко мне гость, а я его даже не посажу все! Вот, сейчас, — попытался он подняться, но сразу это ему не удалось.

Глянув кругом, я увидел два стула. Когда я потянулся к ближнему, то оказалось, что на нем нельзя сидеть. На другом конце висели какие-то тряпки и лежал довольно большой пакет с пончиками, один даже выкатился на сиденье и пришлось вытирать бумагой его сахарно-жирный след. На подоконнике, куда я переложил их, валялась пара засохших мандаринов.

— Я ненадолго совсем, Павел Иванович. День-то предпраздничный, и еще кой-чего купить надо и зайти поздравить...

— О, не уходите, постойте! Ведь вы пришли ко мне — знаете ли, что это для меня значит! Я уж не помню, когда здесь был кто. Я умру — и останусь здесь погребенный. Даже соседи не заходят. Они меня все выжить хотят. Это все Танька... Это не она вас впустила?.. Она бы не впустила. Хочет женить своего хулигана — и сюда, в эту комнату, а меня... Я приношу сюда, что удастся достать, но ведь это не зараза, и дверь я всегда закрываю. Вот вы пойдете от меня — нет, нет! сидите! продлите мне

этот праздник! — Вы когда пойдете, скажите им, что у меня все в порядке и пусть они меня не трогают.

— Да что вы, Павел Иванович! Мне открыли, и никакого недружелюбия к вам, право же, я не заметил. Соседи как соседи.

— Нет, вы не знаете их! Вы не знаете...

И снова пошло: все его притесняют, никто его не защитит, никто руку помощи не протянет — а ведь было время!.. Когда я сейчас думаю об этом, мне кажется, что это однообразие меня, главным образом, и доконало. И еще — безнадежность. Что мог я для него сделать? Приходить сюда время от времени, что-то ему приносить, прибираться? — Нет, прибираться здесь было бы выше моих сил! И слушать вечно одно и то же — все те же речи, те же жалобы. Утирать его слезы, возникающие по всякому пустяку. Что еще? Умывать, кормить, следить, чтобы ел молочное и овощное вместо этих дурацких пончиков, выпрошенных, верно, у сердобольной торговли... Что же, спасешь его этим? Что остается? Посвятить себя ему? Абсурдно! Помню, я еще тогда поймал себя на том, что сидел и вовсе его не слушал, придумывая вместо этого оправдание своему уходу. Разумеется, с какой стороны ни взглянуть на дело, нужно было уходить. И, расслышав начало паузы в его речах, я встал и, сказав, что мне пора — так ведь и впрямь дела оставались и никто бы их за меня не стал делать, — пожелал ему хорошего нового года, здоровья и всего самого доброго. Пожелал с той же сердечностью и так же гладко, как все мы поздравляем с праздниками начальство. И ушел. Ушел, чтобы никогда больше его не видеть.

И вот только вчера...

Но что я мог сделать?

Виктор Перельман *"Грехопадение Цезаря"*

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закуулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена — \$16. Заказы и чеки высылать по адресу.

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia. New Jersey 07605, USA



Лорен АЙЗЛИ

ТЕЧЕНИЕ РЕКИ

*Вступительная заметка и перевод
с английского Д.Н. Брецинского*

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Лорен Айзли (Eiseley, 1907-1977) — известный американский антрополог, натуралист, эссеист, поэт. Он родился и провел детство в штате Небраска, суровая природа которого запечатлена им во многих лирико-философских этюдах. Свой путь в жизни он нашел не сразу и в годы экономического кризиса (1929-1930), бросив учебу, скитался по стране с армией безработных. Однако тяга к знанию заставила молодого человека вернуться в университет. Защитив в 1937 г. докторскую диссертацию по антропологии, Айзли посвящает себя науке, преподает. Служит он и крупным университетским администратором. Между тем одно за другим начинают появляться его художественные произведения — первый сборник эссе "Необъятный путь" ("The Immense Journey") вышел в 1957 г., стяжав автору мгновенную литературную славу. К началу шестидесятых годов специально для него созданная почетная профессорская должность при Пенсильванском

университете освободила Айзли от административных обязанностей и дала ему возможность почти целиком посвятить себя литературе. Работая главным образом в жанре эссе, он показал себя не только продолжателем в XX в. гуманистических традиций Ралфа Уолдо Эмерсона и Генри Дейвида Торо, но и выдающимся стилистом. Произведения Айзли включаются в антологии американской литературы, во многих университетах США его капитальный труд о дарвинизме "Век Дарвина" ("Darwin's Century") является обязательным чтением на факультете философии естественных наук. За свои литературные заслуги Айзли в 1971 г. был выбран в члены Национального института искусства и литературы — редкая честь для представителя академического мира. Публикуемое ниже философское эссе, которое в равной мере можно было бы назвать поэтическим очерком или автобиографическим рассказом — у Айзли эти жанры переплетаются, — вошло в состав его первого сборника. Как и все лучшие вещи Айзли, оно содержит раздумья писателя о судьбах рода человеческого.

Д.Н. Брецинский
Вест-Лафайет (шт. Индиана), США

Если есть чудеса на этом свете, то заключаются они в воде. Малейшее ее колыхание — вот как теперь, в дождевой лужице на плоской крыше напротив моего кабинета — вызывает во мне живейший интерес, заставляя то и дело подбегать к окну. Как знать, может быть рябь от ветра вот сейчас претворится в жизнь. Меня не покидает чувство, что когда-нибудь я стану свидетелем знаменательнейшего чуда, происшедшего на городской крыше: увижу жизнь, в буквальном смысле слова выкипающую внезапно из кучи ржавых труб и старых телевизионных антенн. Я всегда удивляюсь внезапному появлению жучка-плавунца, проделывающего свои подводные маневры среди островков зеленых водорослей. Разряженные испарения, ржавчина, мокрый асфальт и солнце — это перегонный куб, удивительно похожий на ум. Они отбрасывают осязаемые тени, которые угрожают облечься в плоть, когда никто не смотрит.

Может быть, только раз в жизни удастся нам по-на-

стоящему сбросить с себя оковы плоти. Раз в жизни, если повезет, мы настолько сливаемся с солнцем, воздухом и проточной водой, что целые зоны* — те самые, которых ведают горы и пустыни, — могут пройти в короткие послеобеденные часы, не причиняя неудобства. Ум плавится и просачивается к своим истокам среди древних корней, теряясь в смутном журчании и движении, от которых неживая природа начинает шевелиться. Как и в сказке об очарованном круге, в который человек однажды вступил, а по выходе из него узнал, что за одну ночь прошло целое столетие, тут кроется некая неразгаданная тайна. И связана она — я в этом не сомневаюсь — с обыкновенной водой. Водная субстанция проникает всюду: она касается прошлого и подготавливает будущее; она двигается под полярными шапками и рассеянно блуждает в заоблачной выси. Она может принимать утонченно-совершенные формы снежинки — или же обглаживать живое до одинокой отшлифованной кости, выброшенной морем на берег.

Много лет назад, во время научных изысканий в далеком западном краю, мне случайно пришлось испытать как раз то самое странное поглощение водой — своего рода растяжение телесных очертаний при помощи осмоса, — на которое я намекал. Вряд ли вы когда-либо ощущали в себе извилистые истоки целого речного бассейна или же, каким-то шестым чувством, касались вытянутыми пальцами ледниковых ручейков снеговой границы, протекающей в то же время через обломки размытых гор к Заливу**. Поэт Мэкнайт Блэк писал о том, что "окрылен... водами, охватывающими полюса". Ему были знакомы подобные ощущения, которые отнюдь не уникальны, хотя и встречаются достаточно редко. И та самая повышенная восприимчивость, какую испытывают люди, когда приставля-

*Эон — продолжительная геологическая эра. — *Здесь и ниже прим. переводчика.*

**Имеется в виду Мексиканский залив.

ют к уху морскую раковину, вызывает у них лишь улыбку, когда в ней признается профессор-книжник. Положение осложняется еще тем, что вследствие психической травмы, перенесенной мною в детстве, я плавать не умею и обычно робею при виде водных просторов. Возможно, именно это обстоятельство по-своему и способствовало тому, что я тогда пережил.

Покидая Скалистые горы и устремляясь через плоскогорье к Миссури, река Платт являет собой любопытное зрелище. При весеннем разливе, бывает, она превращается в бурный разрушительный поток шириной с милю, сносящий фермы и мосты. Как правило, однако, это блуждающий, рассеянный ряд ручейков, беспорядочно пересекающих огромные конусы песчаного и гравийного выноса, которые являются, отчасти, остатками более могучих потоков ледниковой эпохи. Плывуны и кочующие острова стерегут ее воды. Солнце прерий безжалостно печет ее летом. Река Платт "шириной с милю, глубиной с дюйм" — убежище для любого странника, размороженного жарой у ее берегов. В первую очередь это относится к району плоскогорья, минуя который, река начинает свой далекий пробег мимо городов.

Причина, почему я набрел на нее тогда, продираясь сквозь заросли тальника, где вода была мне по щиколотку, к тенистой дюне, не имеет отношения к данной истории. Преследуя различные научные цели, я исходил тот край вдоль и поперек и знаю, что за кости всплывают с булькающим звуком в гравийных насосах и что за накопники стрел из блестящего халцедона вымывает подчас из размоченного песка. В тот день, однако, вид неба, тальника и извивающейся водной сети, тихо журчащей в заводях по пути к Заливу, посеял во мне, распаренном долгой ходьбой, неожиданную мысль: поплыть. Поплыть и испытать незабываемое приключение.

Вероятно, мысль пришла мне не сразу. Я разделся и с удовольствием барахтался в углублении среди камыша, когда непреодолимое желание растянуться и предаться нежно-настойчивому течению стало понемногу мной овла-

девать. Загорелому и смелому представителю нового поколения моя попытка перебороть свою робость, стоя в воде по колено, может только показаться смехотворной, но мне тогда было не до смеха. Несчастный случай в детстве, когда я чуть было не утонул, окрашивал мои эмоции. Вдобавок к тому, что плавать я не умею, эта "речушка глубиной с дюйм" была коварна, изобилуя воронками и пльвунами. Смерть блуждала рядом с ней вдоль призрачных ее русел. Как и на всех пустынных участках подобного типа, где ни вода, ни суша не преобладают, ее заросли были безлюдны и не исхожены. Случись там с человеком беда, он взывал бы о помощи напрасно.

Все это проносилось у меня в голове, пока я тихо стоял в воде, чувствуя, как песок вымывается у меня из-под ног. Тогда я лег на спину и оттолкнулся от берега. Небо закружилось над моей головой. В то мгновение, когда меня, как пробку, выносило в главное русло, у меня было такое ощущение, словно я скольжу вниз по огромной наклонной поверхности материка. Именно тогда я и почувствовал в пальцах леденистые уколы высокогорных родников и тепло Залива, влекущего меня на юг. Вместе со мной, оставляя солоноватый привкус во рту и исходя подомной танцующими брызгами песка, двигался весь необъятный массив материка — песчинка за песчинкой, гора за горой — к морю. Я струился по древним морским ломам, взброшенным вверх — туда, где некогда резвились гигантские пресмыкающиеся. Я снашивал лицо времени, увлекая за собой в небытие увенчанные облаками горные цепи. Я касался своих пределов с чуткостью рачьих щупалец и чувствовал, как огромные рыбы скользят мимо меня, плывя по своим делам.

Меня несло мимо севших на мель деревьев, поваленных бобрами в горных тайниках; я скользил над заводами, в которых были захоронены поломанные оси фургонов и кости мамонтов, завязших в трясине. Живой, я струился сквозь горячий, животворящий фермент солнца или же сочился еле заметно через тенистый кустарник. Я стал

водой, превратясь в сказочные алхимии, которые созревают и принимают в воде форму, — в те комочки болотной слизи, которые под огромным увеличительным стеклом солнца начинают вдруг извиваться и всплывают к поверхности громадными усатыми рыбьими ртами или же незаметно погружаются обратно в тину, из которой вышли. И черепаха, и рыба, и бисерный стрекот отдельных лягушек — все это водные проекции, сгустки, каким является и сам человек, того неопишуемого водянистого варева, состоящего из соли, солнца и времени, смешанных в разных пропорциях. Оно облекается в разные формы, но в основе его лежит вода. И так как течение тихо прибило меня наконец к песчаной отмели и оставило там, как обыкновенное бревно, я встал, пошатываясь. Вновь познал я бунт тела против выхода в суровый, лишаящий его опоры воздух, его нежелание покидать родную стихию, которая по сей день, столько лет спустя, дает приют и жизнь девяти десятым всего живого.

Что же касается людей, этих несметных полчищ обособившихся малых прудков, кишащих своей собственной корпускулярной жизнью, то не являются ли они лишь попыткой воды выйти за пределы речных русел? Сам я не что иное, как микрокосм струящихся ручейков и плавника, терзаемый призраками собственного воображения. Я на три четверти состою из воды, которая поднимается и спадает в такт глухому стуку в моих жилах — микроскопическому пульсу, похожему на тот бесконечный пульс, который поднимает Гималаи, а в следующую систолу их сносит.

Вглядываясь в изумрудных щук, плавающих в Уолденском пруду*, Торо со свойственной ему пронизательностью назвал их "одушевленной водой". Располагая он геологическими знаниями, накопленными с тех пор кропотливейшим трудом, то, вероятно, пошел бы еще дальше

* Аллюзия на книгу "Уолден, или Жизнь в лесу" известного американского писателя-эссеиста XIX века Генри Дейвида Торо.

и не без улыбки приметил в обыденном рокотании и трезвоне некоторого рода лягушек, очень тешивших его своим столь неистовым поведением, отзвуки тех темных подспудных сил, которые воздымают морское дно, превращая его в горные вершины. У него мог бы развиться тонкий внутренний слух, позволивший бы ему улавливать шум прибоя на взморьях Мелового периода, где ныне колышется канзасская пшеница. Во всяком случае, следя за раскручиванием долгой нити жизни ее следопытами, он бы увидел, что его одушевленная вода меняла свои очертания зон за эоном, покорствуя биению темного тысячелетнего сердца Земли. В болотах низколежащих материков процветали, достигнув своего зенита, земноводные; а когда материки снова стали медленно подниматься — изостатическая реакция земной коры, — последовало повсеместное похолодание, и эпоха травянистых растений и млекопитающих вступила в свои права.

Несколько лет назад, хорошо защищенный от зимних холодов теплой одеждой, я прошелся несколько миль вдоль одного из притоков той самой реки Платт, по которой однажды спускался вплавь. Окрестность была пустынная и скованная льдом. Ручейки замерзли, а в низинах заросли тальника создавали такую перспективу уходящих вдаль вертикальных линий на фоне снега, что у пробирающегося сквозь них путника рябило в глазах и кружилась голова. На краю замерзшей заводи я остановился и протер глаза. У моих ног, где пронизывающий ветер прерий очистил лед от снега, виднелось нечто странное, отдающее зеленью. Ошибиться было невозможно.

Огромная знакомая морда с беспомощно разбросанными усиками, замороженная намертво в подернутом рябью льде, глядела на меня пучеглазо. Это был один из тех сомов — любящих зарываться в желтоватую муть обитателей извилистых русел, — которые плавали вокруг меня и подо мной в день моего достопамятного путешествия. Кто его знает, что за пронизанный лучами сол-

нца сон заставил его продолжать махать плавниками, пока температура стремительно падала и его чеширская улыбка* медленно застывала. А может быть, он случайно оказался в перегороженном рукаве и просто продолжал плавать, пока лед его не сковал. Как бы то ни было, он застрял там надолго — до весенней оттепели.

Я уже собрался было идти дальше, но что-то в его грустной усатой морде кольнуло меня, а может быть, это река взывала к своим детям. Я предпочел однако назвать это наукой — удобным, разумным словечком, которое приберегаю для подобных случаев, — и решил вырезать рыбину из льда, чтобы отвезти домой. Зажарить я ее не собирался. Просто мне в голову вдруг пришла мысль испытать живучесть рыб плоскогорья, особенно рыб такого типа, которые замуровывают себя в бескислородных прудах или пересыхающих старицах, заматанных снегом. Я вырезал ее в куске льда как можно осторожнее и бросил в ведро для добычи, которое держу у себя в машине. Затем мы отправились домой.

К сожалению, начальную стадию удивительного воскресения я упустил. Продрогший и уставший с дороги, я отнес ведро с талой водой и льдом в подвал, предполагая плавающий там труп назавтра либо выбросить, либо анатомировать. Бегло брошенный мною взгляд не обнаружил никаких признаков жизни.

Однако, спустившись немного погодя в подвал, я, к своему удивлению, услышал какое-то похлупывание в сосуде и заглянул в него. Лед растаял. Огромные надутые губы, окаймленные чуткими усиками, предстали передо мной; жабры существа медленно работали. Тонкая струйка серебристых пузырьков поднялась к поверхности и лопнула. Рыбий глаз глядел на меня сурово.

"Аквариум", — подсказал он. Я явно имел дело не с уолденской щукой. Это был изжелта-зеленый, зарыва-

*Речь идет о неисчезающей улыбке Чеширского кота — одного из персонажей сказочной повести Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

ющийся в болотный ил, недружелюбный житель наводнений, засух и циклонов. Он являлся отборным продуктом плоскогорья и струящихся по нему вод. Ему ни о чем были вьюги прерий, от которых гибнет скот, замерзая на ногах в сугробах.

"Сейчас принесу аквариум", — сказал я не без уважения.

Он прожил со мной всю зиму, и его отбытие было совершенно под стать его упрямому, независимому нраву. Весной что-то на него нашло — то ли инстинкт миграции, то ли просто непреодолимая скука. Может быть, в каком-то потаенном уголке своего мозга он ощутил, как далеко-далеко высокогорные воды струятся по песчаным плесам реки Платт. Во всяком случае, он услышал чей-то зов и откликнулся на него. Однажды ночью, когда никого не было в комнате, он просто выпрыгнул из аквариума. На следующее утро я нашел его на полу мертвым. Он попытал счастья как мужчина — вернее, как рыба. Будь он в нужном месте, эта попытка была бы отнюдь не безумной. Рыбы, оказавшиеся в измельчавших рукавах эфемерных ручейков прерий и почувствовавшие себя в западне, могут, если у них есть инстинкт прыгать пока не поздно, выбраться к главному руслу и выжить. "Миллион лет наследственности был сосредоточен в этом прыжке, — подумал я, глядя на него, — миллион лет восхождения сквозь подсолнухи прерий, меж столбовидных ног мамонтов, пришедших на водопой".

"А некоторые из твоих родичей пытались дышать воздухом, — заметил я мимоходом, поднимая его. — Давай-ка встретимся опять среди тополей, лет так через миллион".

Я уже стал по нему немного скучать. Он представлял для меня то утраченное древнее величие, чей источник — водяное братство. Мы оба были проекциями этого вековечного брожения, и в то же время нас связывало некое большее единство, находящееся неизмеримо выше нас. Не в одном плавнике и не в одной лапе пресмыкающегося узнавал я самого себя, проскальзывающим мимо — то

есть какую-то неведомую часть себя, не получившую развития в той временной оболочке, в которой обитаю. Когда я касаюсь этого вопроса в печати, то неизменно получаю резкие письма от читателей, упрекающих меня в отсутствии веры в человека. Кажется, они не доверяют ничему тому, что не соответствует их образу и подобию. Они бы и Бога свели к представлению лавочника, заключив Его в этот тесный круг, чтобы Он, чего доброго, не выкинул какой-нибудь совершенно невероятный фортель — не создал бы, например, по зрелом размышлении существа более совершенного, чем человек. Что до меня, то я считаю природу вполне способной на это, и, поскольку был однажды частью течения, не чувствую ни капли зависти — как не испытывает зависть лягушка к пресмыкающемуся или обезьяний наш предок к человеку.

Каждой весной я слышу, как в залитых водой лугах и канавах раздается негромкий, но настойчивый хор, совершенно неотличимый от бесконечно повторяемого "мы тут, мы тут, мы тут". И, как лягушки, они, конечно, тут. Ни в чем они, милашки, не сомневаются. Думается мне, что для слуха более тонкого, чем наш, оптимистические заявления человека о своей роли и предназначении звучат примерно как тот негромкий звон, который недалеко проникает в ночную тьму. Он раздражает только на близком расстоянии. На горной вершине или в болоте под вечер, однако, он совсем недурно сливается со всеми прочими сонными голосами, которые кваканьем или чириканьем говорят все об одном и том же.

Через некоторое время опытный слушатель начинает различать шум человека и ритмическое самоутверждение кузнечика, учитывать заячью синкопу, улавливать монотонное верещание сверчков осенью, находя во всех них глубокое удовольствие, но не признавая ничьего превосходства. А когда все эти голоса умолкают и вода становится неподвижной, когда вдоль замерзшей реки никто не пищит, не кричит и не воет, — тогда невероятная бессмысленность Вселенной комом ложится на душу. Где-то там, в пустыне ледяных глыб и отраженных звезд,

черные воды, может быть, и текут, но текут они без видимых признаков жизни, к цели, где весь космос, может быть, будет скован неким серебристым льдом рассеянных излучений.

Вот тогда, когда ветер дует навстречу через пустынные болота и снег накатами обволакивает путника со всех сторон, я ярче всего — каким-то скачком воображения — представляю себе свое летнее путешествие вниз по реке. Я вспоминаю свои зеленые щупальцы: свое сомье зарывание в болотную муть и рыбье извивание в стремнине, свои студенистые материализации из первородного ила. И когда я продолжаю свой путь сквозь сильный снегопад, волшебство воды подает мне свой последний знак.

Люди много рассуждают о материи и энергии, о борьбе за существование, которая лепит жизнь в нужные ей формы. Все это — непреложная истина. Но несравненно более тонок, неуловим и быстр, чем плавники в воде, тот таинственный принцип, который именуется "организацией" и по сравнению с которым все прочие тайны жизни кажутся избитыми и незначительными. Что жизни нет без организующего начала — это ясно. Но само это организующее начало не есть продукт, строго говоря, ни жизни, ни естественного отбора. Как некая блуждающая внутри материи тень, оно выпячивает маленькие оконца глаз или мерно размещает песню полевого жаворонка внутри яйца в крапинку. Этот принцип, мне все больше начинает казаться, предшествовал жизни в водных глубинах.

Стало теплее. Маленькие колючие иглы уступили место огромным хлопьям, проплывающим словно белые листья, сносимые с какого-то громадного дерева в открытом пространстве. Я зажигаю свет в машине и изучаю, пока она не растаяла, замысловатую снежинку на рукаве. Никакая утилитарная философия не может объяснить снежинку, никакая доктрина о пользе или бесполезности. Просто вода преобразилась из пара и тонкого "ничто" в ночном небе, чтобы облечься в форму. Для существования снежинки нет логической причины, как нет ее и для эволюции. Она призрак того таинственного, теневого

мира, скрывающегося за лицом природы, того конечного мира, который содержит в себе — если оно вообще где-либо содержится — объяснение и людей, и сомов, и зеленых листьев.

С английского перевел Д.Н. Брецинский

Принято решение ввести в состав редколлегии журнала "Время и мы" писателей Льва Аннинского и Леонида Жуховицкого, а также декана факультета журналистики МГУ, профессора Ясена Засурского

Утвердить заведующим Московским отделением журнала "Время и мы" писателя Льва Аннинского



Женя КИПЕРМАН

ПОЭМА

I.Z.

Мне снился сон, нелепый и прекрасный,
что мы сейчас с тобою в Комарово.
Да, ты права, из этих обстоятельств
одно с другим в нелепости поспорят,
но тем прекрасней сон, ты не находишь?
Конечно, лето. Мы на чьей-то даче,
на константиновской, а может быть, на вашей?
Я знаю, в Комарово вы не жили,
но это — сон, и дача в Комарово
не более нелепа и прекрасна,
чем то, с чего я начал свой рассказ.
За столиком в саду едим мы дыню,
батон за двадцать две и обсуждаем
твой замысел: устроиться работать
на комбинат на улице Цветочной,
где лет назад, наверно, целых десять
я под началом дяди Коли токарил,

честней сказать, запарывал детали,
ломал резцы и цокал языком,
томился в ожиданьи перекура,
выслушивал рабочих пожеланья
лицо попроще сделать иль идти
туда, куда идти я был согласен,
чтобы свою не целить поцеватость
в кромешно гармоничный гегемон.
Но я не знал пути и шел другим:
шел в туалет, где в зеркало смотрел,
считал до десяти, мыл руки с мылом,
ещё раз — в зеркало, ещё раз — с мылом,
детально руки вытирал платком
и им же — зеркало, считал до десяти
и медленно в токарку возвращался,
где смазывал станину, дул в патрон
и тут же неизменно получал
совет: подуть туда, где тоже дырка.
Короче, та же поцеватость (извини),
которую пытались искупить
социализмом, вегетарианством,
дареньем фраков собственным крестьянам,
убийством ростовщицы и монарха.
(Ты думаешь, кощунство? Но неужто
священно перечисленное мною?
А сардоническое иногда уместно:
оно сильнее лупит по мозгам.)
Дождавшись перекура, я к нему
приспособлялся тоже по-еврейски:
курил со всеми "Беломорканал",
но незаметно внутрь папироски
засунув ватку — как презерватив,
оберегающий от трудового класса мою
интеллигентскую невинность.
Босс, дядя Коля, обучал меня
токарному искусству лишь в дымину,
лишь в стельку пьяным, и я всё боялся,
что засосёт его станок в себя.

Боялся зря: не шпиндель и не "Шипр",
 не даже водка, а простой портвейн,
 дешевый, бурый, стал его убийцей.
 Сперва он потерял велосипед:
 пришел в обед нетвердым пешим шагом.
 А вскоре Коля не пришел совсем,
 забыв себя, быть может, в том же самом
 лесочке, где забыл велосипед.
 Короче, поступил, как фараон,
 забрав в могилу движущее средство.

Но дядю Колю вспомнил я теперь.
 Во сне не вспоминал я дядю Колю,
 ведь умер он давно, а мы *сейчас*,
сегодня в Комарово, и к тому же
 ты не в токарке хочешь подработать,
 а машинисткой или секретаршей,
 учётчицею, на худой конец,
 короче, чтоб по-женски и не пыльно.
 Во сне на комбинате бабам платят
 почасово (но русскими рублями,
 естественно), пять пятьдесят за час.
 Ты, несмотря на скромность этой mzды,
 пылаешь трудовым энтузиазмом,
 но что-то комбинат с ответом тянет,
 должно, из-за делов отдела кадров,
 который опасается оформить
 учётчицей гражданку ФРГ,
 тем более, её же — секретаршей.
 И я уже ходил туда в контору,
 используя давнишние знакомства,
 просил вписать тебя американкой,
 мол, у тебя гражданство-то двойное.
 Но мне с залысинами этот Боков
 развёл руками, мол, гражданку Штатов
 они могли бы год назад, а нынче —
 увы: видать, опять похолоданье.
 И я как раз вернулся с тем на дачу

(смотри начало сна) и говорю
 тебе о нашей с Боковым беседе.

Ты слушаешь меня, оставив дыню,
 покусывая губы, поправляя
 ладонью кудри — точно тем движеньем,
 каким, на самом деле, не во сне,
 ты поправляешь их, когда подолгу
 не видит педагог твоей руки,
 воздетой с просьбой самовыраженья;
 и чтоб не чувствовать (не выглядеть) просящей
 (что, в сущности, одно и то же), ты,
 как будто для того и устремленной
 ввысь тонкою рукою без колец
 приглаживаешь волосы, которых
 описывать не буду, потому,
 что вряд ли выйдет, и к тому ж, зачем
 мне этот сексуальный мазохизм?
 Уж коль живописуешь красоту,
 с которой, как сказал поэт, не ляжешь,
 то это пусть окажется богиня
 иль умершая много лет тому
 Мария Стюарт — тут не так обидно
 блистать аллитерацией, рифмовкой,
 метафорой, мол, Вы прошелестели,
 как ветка, полная цветов и листьев,
 короче, всем, чем не блеснёшь ни в жизни,
 когда живой гормон кадрили играет!

Ты поправляешь волосы, волнуясь,
 и я, в порыве очень объяснимом —
 чтоб поддержать тебя, пока — морально,
 а там — как бог даст, я тебя погладил,
 по-дружески погладил по плечу.
 Ей-богу, дружески! Но — по плечу; и эта —
 географическая — сторона поддержки
 была тобою встречена в штыки,
 притупленные, впрочем, чувством такта,

так абсолютно свойственным тебе:
 твои глаза и губы, ноздри, скулы
 проделали (иль сами испытали?)
 движение (а, может, дуновенье,
 дыхание?) ...но ты сама должна
 все это помнить... то есть... ты же знаешь,
 что бы с твоим лицом происходило,
 когда б все это было наяву?
 Ну вот, а я, во сне твою увидев
 реакцию, подумал: "Что за черт!" —
 как человек, но, как слуга глагола
 (верней, глаголов: "гладить" и т.д.),
 подумал я иначе: "Боже правый!
 Как мимолетность сей метаморфозы
 мне донести в горсти, не расплескав,
 и как слова найти или придумать,
 чтобы в стихе — вживую — вздрог ноздрей,
 вспых глаз, дёрг брови, шелест губ?!..." И сразу —
 как будто, чтоб ответить — твой папа,
 в спортивном фиолетовом костюме
 на молнии и с рыжими усами,
 направился из дома к нам, свистя
 и шишки отфутболивая кедом.
 Прошу прощения и за костюм,
 и за усы (за цвет усов — отдельно),
 но я клянусь, что он таким во сне
 передо мной предстал, хотя я знаю,
 вернее, чувствую, что в жизни он иной.
 Но сон есть сон; прости не мне, а сну.
 А почему таков? — спроси у Фрейда,
 и всё он объяснит тебе всё тем же,
 всё тем же, отчего не стал я кудри
 твои живописать и отчего
 вообще я видел этот лёгкий, летний,
 пристойный до пуританизма сон.
 И будет прав: ведь если человека
 к едино-объясняющему месту
 привязывать, то именно к тому,

к какому Фрейд, а не к тому, к какому
 всё привязали Маркс или Платон,
 и даже не к тому, к чему Христос
 всё привязал; добавить только стоит,
 что фрейдовское место столь священо,
 сколь и порочно, а соотношенье
 духовности и дьявола в той точке
 у каждого своё, и в этом — сходство
 учений Фрейда и Христа, ведь вера
 духовна только до того предела,
 куда бескорыстна, но признаем,
 что бескорыстна вера не всегда.

Так вот, твой папа, подойдя к столу,
 кусочек дыни нанизал на вилку,
 попробовал, причмокнул и сказал,
 что сложности с устройством на работу
 не могут быть причиной огорченья,
 не стоят и какого-то яйца
 (какого именно — я не расслышал).
 "Вы отдыхайте, дети, — он закончил, —
 а я пойду, пожалуй, за грибами."
 После чего немедленно раздался
 звонок, как будто шуточным сигналом
 ему — на построенье по грибы.
 Нет, не будильник. И не телефон.
 Звонили в дверь — пришел Луи, мой "super"
 (по-русски: что-то вроде управдома),
 а вместе с ним пришел "exterminator"
 (по-русски: дядя против тараканов).
 И оба дяди быстро, деловито
 на кухню мимо голого меня
 протопали, и там попрыскал на пол
 раствором яда негр-экстерминатор,
 а супер им, видать, руководил.
 И так же деловито, быстро, просто
 проделав процедуру в туалете,
 убийцы сна покинули квартиру.

Закрывшись в комнате от запаха, одевшись,
я сел служить глаголу, но с идеей
тебе служенье посвятить, поставив
направо от названия, чуть ниже,
изящные твои инициалы.

Но, чем писал я дальше, мне всё больше
казалось, что такое посвященье
опять в твоём лице произведёт
описанные здесь метаморфозы,
когда тебя, порыву повинуюсь,
погладил я по левому плечу.

(Заметь: во сне, но только по плечу.)

Я посвящение поэтому снимаю.

Вернее, так: поэму прочитав,
скажи, мне сохранить инициалы
или не отнимать насущный хлеб
у будущих литературоведов?

Как ты ответишь — так и поступлю,
и мой читатель, добрый мой приятель,
помимо самого стиха узнает
твою реакцию на этот милый стих.

Апрель 1991, Нью-Йорк



Денис НОВИКОВ

ПРОТОЧНАЯ ВОДА

ЯНВАРСКИЕ СТИХИ

I

Видишь, наша Родина в снегу,
Напрочь одичалые дворы,
и автобус желтый на кругу —
наши новогодние дары.

Поднеси грошовую свечу,
купленную в Риге в том году, —
как сумею сердце раскручу,
в белый свет, прицелясь, попаду.

В белый свет, как в мелкую деньгу,
медный неразменный талисман.
И в автобус желтый на кругу
попаду и выверну карман.

Родина моя галантерей,
в реках отразившихся лесов,
часовые гирьки снегирей
подтяни да отопри засов,

Едут, едут, фары, бубенцы.
Что за диво — не пошла по шву.
Льдом свела, как берега, концы,
снегом занесла разрыв-траву.

1989

II

И в минус тридцать от конфорок
не отводя ладоней, мы —
"спасибо, что не минус сорок" —
отбреем панику зимы.

Мы видим черные береты,
мы слышим шутки дембелей,
и наши белые билеты
становятся еще белей.

Ты не рассчитывал на вечность,
души приبلудной инженер,
в соблазн вводящую конечность
по-человечески жалел.

Ты головой стучался в бубен.
Но из игольного ушка
корабль пустыни "все там будем", —
шепнул тебе исподтишка.

Восславим жизнь, иной предтечу!
И, с вербной веточкой в зубах,
военной технике навстречу
отважился на двух горбах.

Восславим розыгрыш,
обманку, странноприимный этот дом.
И честертонову шарманку
во все регистры заведем.

1990

ИРЛАНДИЯ

I. БЕЛФАСТ

Скоро, скоро будет теплынь,
долгоглядые май-июнь.
Дотяни до них, довольнынь.
Постучи по дереву, сплюнь.

Зренью зябкому Бог подаст
на развод золотой пятак,
густо-синим зальет Белфаст.
Это странно, но это так.

II.

*Бенджамину
Маркизу—Гилмору*

Неподалеку от казармы
живешь в тиши.
Ты спишь, и сны позорны
и хороши.

Ты нанят как бы гувернером,
и, час спустя,
ужо возьмет тебя измором
как бы дитя.

А ну вставай, ученый немец,
мосье француз.

Чуть свет в окне — готов младенец
мотать на ус.

И это лучше, чем прогулка
ненастным днем.
Поправим плед, прочистим горло,
читать начнем.

Сама достоинства наука
у Маршака
про деда глупого и внука,
про ишака —

как перевод восточной байки.
Ах, Бенджамин,
то Пушкин молвил без утайки:
живи один,

Но что поделать, если в доме
один Маршак,
И твой учитель, между нами,
да-да, дружок...

Такое слово есть "фиаско".
Скажи, смешно?
И хоть Белфаст, хоть штат Небраска,
а толку что?

Как будто вещь осталась с лета
лежать в саду,
и в небесах все меньше света,
и дней в году.

III. БАЛЛИМАКОДА

За счастливый побег! — ничего себе тост.
Так подмигивай, скалься, глотай, одурев не

ПРОТОЧНАЯ ВОДА

от виски с прицепом и джина внахлест,
четверть века встречая в ирландской деревне.

За бильярдную удаль крестьянских пиров!
И контуженный шар выползает на пузе
в электрическом треске соседних шаров,
и улов разноцветный качается в лузе.

А в крови "Джонни Уокер" качает права.
Полыхает огнем то, что зыбилось жижей.
И клонится к соседней твоя голова
промежуточной масти — не черной, не рыжей.

Дочь трактирщика — это же черт побери.
И блестящий бретер, каждой бочке затычка.
Это как из любимейших книг попури.
Дочь трактирщика, мало сказать — католичка.

За бумажное сердце на том гарпуне
над камином в каре полированных лавок!
Но сползает, скользит в пустоту по спине,
повисает рука, потерявшая навык.

Вольный фермер бубнит про навоз и отел.
И, с поклоном к нему и другим выпивохам,
поднимается в общем-то где-то бретер
и к ночлегу неблизкому тащится пехом.

1992

* * *

С полной жизнью налью стакан,
приберу со стола к рукам,
как живой подойду к окну
и такую вот речь толкну:

Десять лет проливных ночей,
понадкусанных калачей,

недоеденных блан-манже:
извиняюсь, но я уже.
Я запомнил призывный жест,
но не помню, какой проезд,
переулок, тупик, проспект,
шторы тонкие на просвет,
утро раннее, птичий грай.
Ну не рай. Но почти что рай.

Вот я выразил, что хотел.
Десять лет свои просвистел.
Набралось на один куплет.
А подумаешь — десять лет.
Замыкая порочный круг,
я часами смотрю на крюк.
И ему говорю, крюку,
"ты чего? я еще в соку".
Небоскребам, мостам поклон.
Вы сначала, а я потом.

Я обломок страны, совок.
Я в послании. Как плевок.
Я был послан через плечо
граду, миру, кому еще?
Понимает моя твоя.
Но поймет ли твоя моя?
Как в лицо с тополей мело,
как спалось мне малым-мало.
Как назад десять лет тому
граду, миру, еще кому?
Про себя сочинил стишок —
и чужую тахту прожег.

* * *

В какой бы пух и прах он нынче не рядился.
Под мрамор, под орех...

Я город разлюбил, в котором я родился,
Наверно, это грех.

На зеркало пенять — не отрицаю — неча.
И неча толковать.
Не жалобясь, не злясь, не плача, не переча
вещички паковать.

Ты "зеркало" сказал, ты перепутал что-то.
Проточная вода.
Проточная вода с казенного учета
бежит, как ото льда.

Ей тошно поддавать всем этим гидрам, домнам —
и рвется из клешней.
А отражать в себе страдальца с ликом томным
ей во сто крат тошней.

Другого подавай, а этот, этот спекся.
Ей хочется балов.
Шампанского, интриг, кокоса, а не кокса.
И музыки без слов.

Ну что же, добрый путь, живи в ином пейзаже
легко и кочево.
И я на последях на зимней распродаже
заначил кой-чего.

Нам больше не носить обносков живописных,
вельвет и габардин.
Предание огню предписано на тризнах.
И мы ль не предадим?

В огне чадит тряпье и лопаются тара.
Товарищ костровой,
поярче разведи, чтоб нам оно предстало
с прощальной остротой.

Все прошлое и вся в окурках и отходах,
лилейных лепестках,
на водах рожениц и на запретных водах,
кисельных берегах,

закрученная жизнь. Как бритва на резинке.
И что нам наколоть
на память, на помин... Кончатся поминки.
Довольно чушь молоть.

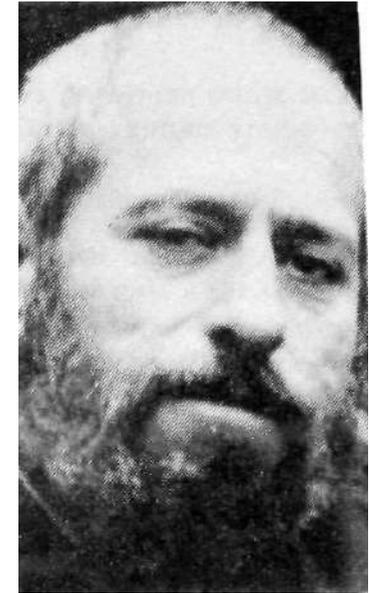
1993

"М Е Л К И Й Ж Е М Ч У Г"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературы, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 7 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Hockville, MD, 20852
USA



А. ЛЕИН

НА ГУБАХ У НОЧНОГО ДОЖДЯ

Есть в красоте осенних вечеров
Неброские печали благородства,
Когда сентябрь по праву первородства
Наследник лета в роскоши плодов.

И листопада золотая кровь
С ветвей струится благоустройства
Зеленой роскоши и беспокойства,
Дождей перебирая серебро.

И на щеках обуглившихся зорь
Румянец блекнет, их коснулась хворь,
Разбредшихся простудами туманов.

Великое природы торжество,

Когда душа не смеет естество
Отягощать одеждой обманов.

* * *

Ах, август — кусочек столетья,
Умчался ты в мир небытья,
Листвы золотые билеты
С деревьев бросает сентябрь.

Пока он глупец и дитя,
И он ни за что не в ответе:
"Ловите, ловите билеты —
Они к вам на счастье летят!"

Твой опыт, как будто не впрок,
У спешности вырвешь минуту,
Вглядишься — сентябрь запутан
Сетями дождливых ветров.

Сентябрь — невеселый старик,
Состарилась песня на крик.

* * *

Тает дня листопадный восторг,
А деревья как будто распяты,
Тлеют черные угли ворон
На запястьях осенних закатов.

Приближается небо к земле,
В тине туч задыхается месяц,
И не видно ночных журавлей —
Белых звезд из далеких бессмертий.

Лишь капли слова шелестят
Как заученность старой молитвы
На губах у ночного дождя,
Рассыпаясь на каменных плитах.

* * *

Не сейчас, не сегодня, но после,
До какого-то судного дня,
А надежда — выносливый ослик
Все вывозит куда-то меня.

И судьба равнодушно заносит,
Благосклонно или прокляня,
А выносливый маленький ослик
Все стоит, дожидаясь меня.

Терпелив, будто век над погостом,
Неприметный и часто без сна,
Мой приятель, мой маленький ослик,
Не забудь и сегодня меня.

* * *

Снег осенние сгладил погрешности,
Обеляя морщины земли,
На березе как будто повешенный,
Листопадом оставленный лист.

На веревке-стебле он качается,
Повторяя дыханье ветров.
Покоренность, смиренность, отчаянье,
Одинокость с разохшимся ртом.

Онемелость застывшего крика,
Невниманьем одаренный гость,
Будто мумия старого мига
И тепло обронившая горсть.

И деревья стоят онемевшие,
Что от леса опеки ушли,
И глядят, как листочек повешенный,
Будто в цирке воздушный артист.

* * *

Город спит, поджав живот,
Как ребенок, оттревожась,
Тишину шагами шьет
Заблудившийся прохожий.

Месяц звездами ухожен,
В гавань вечности плывет,
Сколько месяцев похожих
Там в забвении живет!?

В снах пугливых облака.
На подушках горизонта
Вдруг пронзительный и тонкий
Света луч издалека.

Будто с щедростями горсть,
Неожиданна, как гость.

* * *

Бегут за счастьем гончие невзгод,
Печаль подкарауливает радость,
Снега ручьями у подножий гор
Дороги в спящем ищут камнепаде.

Любовь старела и который год
Себя томит нарядами, помадой,
Она батрак, и никому не надо,
Глядя на пепел, вспоминать огонь.

Снег наполняет резвостью ручьи,
Любовь-старуха-жизнь воспоминаньем,
Охотясь неустанно за вниманьем.

И льется резвость тихая рассказа

О том, что было, не было ни разу.
И, как обычно, истина молчит.

* * *

Стираются остатки темноты,
Уже не ночь — остывшие намеки,
Заря вспорхнула крыльями упрека,
Пороком запоздавшей доброты.

Увяли неба звездные цветы,
Разлился месяц вылинявшим соком,
Бессонницы мучительные склоки
Рассыпались по улицам пустым.

День протирает солнцами глаза,
Земля смакует молоко туманов,
Так люди пьют желаемость обманов,
Событий отвергая образа.

Листву деревьев ветер отвязал
И ею Леты золотит вокзал.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

ИСПЫТАНИЕ

Сколько говорили российские реформаторы о новом парламенте, но жизнь явно сыграла с ними злую шутку: Государственная дума по своему составу оказалась еще более реакционной, чем разогнанный Ельциным "красно-коричневый Верховный Совет". Это, естественно, не могло не вызвать глубокого потрясения у лучшей, демократической части российского общества, и еще больше, пожалуй, на Западе, который успел свыкнуться с появлением Новой России, уверенно идущей по пути реформ и перечеркнувшей свое имперское прошлое. И вот, после того как более восьми лет в стране шли процессы демократизации и обновления, вдруг возникла опасность поворота назад.

Вряд ли есть необходимость снова возвращаться к итогам декабрьских выборов, которые, как известно, прежде всего принесли победу крайне националистической партии Владимира Жириновского, открыто называемой в стране фашистской. Она получила на выборах около

четверти голосов всех избирателей и займет во вновь избранном парламенте 78 мест. Тогда как за руководимую Егором Гайдаром партию реформ ("Выбор России") голосовало всего 14,5% избирателей, чуть больше, чем за коммунистов, получивших 14%.

Эта статья пишется в первые дни после выборов, когда еще полностью не закончился подсчет голосов, и из-за политической чересполосицы, характеризующей состав Государственной думы, рано еще говорить о будущих коалициях и политических блоках. Правда, в первые же после выборов дни лидер националистов Владимир Жириновский заявил, что во имя спасения России он готов начать сотрудничать с Ельциным и близким к нему правительством Черномырдина-Гайдара. Всякий, кто знаком с программой националистов (называющих себя либеральными демократами), хорошо понимает, какой смысл вкладывает Жириновский в понятие "спасение России". Прежде всего это возврат к Российской империи, восстановление СССР и Советского блока, сильная центральная власть с установлением диктатуры, ликвидация в стране иностранного влияния, усиление армии с возможным применением атомного оружия. Во внутренней политике — это ликвидация рыночного хозяйства и возврат к бюрократическим методам руководства. Известно, что Жириновский уже несколько лет выступает как глашатай воинствующего русского национализма, тесно смыкающегося с фашизмом. На пресс-конференции, устроенной им после выборов, он, естественно, старался завуалировать свои шовинистические взгляды, решительно отвергал обвинения в антисемитизме и даже сказал, что завидует евреям, самой богатой нации в мире. Впрочем тут же последовали комментарии, показавшие, чего на самом деле стоят эти декларации. На той же пресс-конференции он заявил, что "избиратели просили его что-то сделать для того, чтобы сократить число нерусских дикторов на телевидении и заменить их людьми с открытыми славянскими лицами, способными говорить на хорошем русском языке". Когда его спросили, имеются ли в виду

евреи, он ответил: "Если люди с определенного рода акцентом каждый день и час разговаривают с русским народом, то именно это и создает антисемитизм". На вопрос, кто он по национальности сам, Жириновский без колебаний ответил, что он по матери и по отцу русский, но если бы в нем была хоть капля еврейской крови или немецкой крови, или какой-нибудь еще, он этим только бы гордился.

Кто же на самом деле лидер националистов?

Поскольку в биографии Владимира Вольфовича Жириновского (называемого некоторыми Владимиром Адольфовичем) национальность — это наиболее туманное место, позволим себе остановиться на ней подробнее. И сошлемся на такой авторитетный источник, как московский корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Сергей Шмеман. Так вот, как пишет Шмеман, многие москвичи и сегодня еще помнят Жириновского, который в конце восьмидесятых годов служил юрисконсульту московского издательства "Мир" и вскоре присоединился к еврейской культурной организации "Шалом", в которой некоторое время был членом правления. В те годы, представляя себя, он говорил, что отец его еврей, а мать русская. Впрочем, отца, погибшего в автомобильной аварии, когда Владимиру исполнился год, Жириновский, вообще, не помнил (в памяти сохранилось лишь его имя "Вольф"), зато, по его собственным словам, он долгое время жил в русской семье своей матери. Как вспоминает москвичка Юлия Пелихова, являвшаяся также членом Правления "Шалом", Жириновский стремился к тому, чтобы еврейская организация сохраняла независимость, и даже помог избавиться от сотрудников, которые поддерживали связь с печально знаменитым антиссионистским Комитетом.

По словам другого москвича, основателя независимого еврейского движения "Ваад", Александра Шмуклера, живущего ныне в США, Жириновский в те годы не отрицал

своего еврейства, хотя в еврейском движении ощущал себя чужаком. Однако несмотря на это, даже после того, как "Шалом" прекратил существование, Жириновский продолжал помогать "Вааду", давая различного рода юридические советы. Все это закончилось в 1990 году, когда он был избран Председателем либерально-демократической партии, явившейся первой партией, созданной независимо от КПСС, но близкой в те годы КГБ. " Я знал его очень хорошо, — говорит Шмуклер, — встречался с ним десятки раз, по моему мнению, он блестящий политик и оратор, умеющий своими речами зажигать аудиторию, и в то же время популист, который готов утверждать что угодно ради достижения цели, а его цель — это власть!"

Возможно, преследуя именно эту цель, Владимир Жириновский, выступая на пресс-конференциях, предпочитает особенно не распространяться о сегодняшнем дне, а все больше обращается ко дню завтрашнему. О своем будущем президентстве он говорит как о деле решенном: "Даже если Ельцин, — замечает он, — пробудет на своем посту весь свой пятилетний срок, до июня 1996 года, то одержанная мной победа на выборах станет хорошим подарком ко дню моего пятидесятилетия".

Эти планы Жириновского, по-видимому, и проливают свет на его сегодняшнюю готовность к сотрудничеству и компромиссам. Не исключено даже, что войдя в правительство, он поддержит ряд программных положений Ельцина, по крайней мере те из них, которые прямо вытекают из новой конституции. Сегодня начать конфронтацию с президентом он, видимо, считает для себя опасным и преждевременным. (Не случайно в октябрьские дни он не поддержал хасбулатовский парламент и красно-коричневых бунтовщиков). Куда важнее, с его точки зрения, сохранить силы для генерального сражения за власть в 1996 году. Однако, он отнюдь не отказывается участвовать в парламентских коалициях, и, по его словам, должен стать одной из влиятельных фигур в новом коалиционном правительстве. Правда, лидер коммунистов Геннадий Зюганов успел заявить, что позиция Жиринов-

ского относительно Российской империи — для его партии неприемлема. Такой шаг, по словам Зюганова, выглядел бы несерьезным и неконструктивным. Но пока это только слова, ибо трудно представить, что эти две силы окажутся не в состоянии преодолеть разногласия и не объединят свои усилия, например, для противостояния рыночной экономике и возврата к административному руководству, для ликвидации в стране иностранного влияния, против которого и те, и другие выступают с одинаковой решимостью.

Для коммунистов главным, как всегда, является вопрос о власти. Так что не будем удивляться тому, что сразу же после выборов они взялись диктовать состав нового правительства. Зюганов, в частности, выступил против того, чтобы в будущем кабинете участвовал Егор Гайдар. И не только Гайдар. Он заявил, что предпочел бы видеть новое правительство без министра приватизации Анатолия Чубайса и министра иностранных дел Андрея Козырева. Об исключении из коалиции Жириновского им не было сказано ни слова.

В лагере демократов

А что же Ельцин и демократы, которые, приложив столько стараний для победы на выборах, оказались у разбитого корыта? Даже при самом оптимистическом взгляде на состав Думы, картина их будущего влияния выглядит малоутешительной. Чтобы убедиться в этом, обратимся к числу полученных ими голосов. По предварительным данным (на день, когда писалась эта статья) "Выбор России" имел 14,5%, реформистская группа Явлинского-Болдырева — 6,84%, реформистская партия российского единства — 6,34%. Реформаторов, по существу, ждало сокрушительное поражение, если бы не пришла на помощь система выборов, согласно которой в их списки вошли также депутаты, избранные на местах. Как некоторые считают, в результате такой комбинации партия Гайдара могла бы получить 95 голосов, на 17 голосов

больше, чем Жириновский, а в блоке с группой Явлинского, и другими демократическими силами имела бы 155 мест. Все это, по крайней мере, могло бы помочь реформаторам поддержать свой престиж, (прежде всего реноме Ельцина) и даже позволило бы говорить об одержанной ими победе.

Как и следовало ожидать, сразу после выборов в парламенте развернулась жесточайшая межпартийная борьба. Если коммунисты заявили, что они не хотят блокироваться с Гайдаром и другими помощниками Ельцина, то и Гайдар не остался в долгу. Он сказал, что готов пойти на коалицию с любыми политическими силами, даже с компартией, но только не с фашистами (после чего Жириновский подал на него в суд), а Гайдар предложил всем демократическим силам объединиться и создать в Думе антифашистскую коалицию.

Так или иначе результаты выборов поставили Ельцина в сложное положение. Прошлый, разогнанный им парламент, он мог называть коммунистическим и, следовательно, недостойным доверия. По-иному обстоит дело с Государственной думой, в адрес которой еще до выборов было сказано столько хороших слов ("Первый свободно избранный парламент в русской истории"), что скомпрометировать ее будет куда труднее.

Правда, за президентом сохраняется право распустить парламент. Но решится ли он им воспользоваться? Октябрьские события наглядно показали, какой ценой может обойтись реализация этого права на практике.

Итак, после выборов в стране возникла принципиально новая ситуация, когда в политическую игру включилось слишком много противоборствующих сил, чтобы можно было представить дальнейший ход событий. Любой прогноз будет рискованным. Но еще никогда, начиная с первых лет перестройки, не была так велика опасность, нависшая над демократией в России. Националистические силы не скрывают своих целей — повернуть вспять ход истории и восстановить империю. Или еще страшнее — установить в стране диктаторский, фашистский

режим, а это значит, под угрозой оказалось все, к чему пришла страна за последние годы — демократические свободы, ориентация на рыночную экономику, растущие связи с Западом, ликвидация угрозы атомной войны — все, что сегодня определяет лицо Новой России.

Реакция заграницы

Итак, за один-единственный день под вопросом оказался весь ход жизни страны. Одновременно закачалось все — политические институты, принципы хозяйствования, национальная политика, действующие нормы жизни. Особо следует остановиться на взаимоотношениях с Западом. Правительства свободного мира пока еще проявляют сдержанность в своих оценках российских событий. Но многие обозреватели уже называют вещи своими именами. Если нависнет угроза возврата империи, то, стало быть, на Западе встанет вопрос о пересмотре всей его восточной политики. Даже невозможно представить весь спектр интересов, которые затронет эта неожиданно возникшая опасность. Из газет известно, что в Европе уже начались первые консультации с целью пересмотреть роль НАТО, куда еще недавно предлагалось вступить странам Восточной Европы. Если в российском парламенте возобладают силы холодной войны, то со стороны Запада, естественно, последует обратная реакция, т.е. на повестку дня встанет вопрос об отказе от политики разоружения, сокращения ядерного оружия, о пересмотре экономических контактов, о прекращении западных инвестиций, о программах культурного обмена и т.д.

Правда, пока у власти Ельцин и продолжается политика реформ, угроза не носит непосредственного характера. Тем не менее представлению Запада о стабильности положения в России нанесен серьезный удар, что само по себе не может не иметь последствий.

И, как уже много раз случалось, снова возникает вопрос: насколько целесообразно для Запада продолжать поддержку России? Размышления на эту тему погружают

нас в круг трудноразрешимых противоречий. Если страна, сделав крен вправо, откажется от политики реформ, и Запад вынужден будет пересмотреть вопрос о помощи, то кризис, переживаемый Россией, станет еще острее и нищета охватит еще большее количество людей. А это в свою очередь вызовет массовую озлобленность населения, которое в условиях такой безысходности станет легкой добычей рвущихся к власти фашиствующих демагогов. Ситуация очень близкая той, которая возникла в Германии накануне прихода Гитлера к власти.

Почему это случилось?

И в самом деле, почему партия Жириновского и коммунисты смогли одержать на выборах столь внушительную победу? Мне кажется, что существует несколько уровней ответов на этот вопрос. Первый, может быть самый простой — это раздробленность и непрекращающаяся грызня в стане демократических сил. Интриги, взаимные обвинения, постоянные расколы, неспособность договориться — все эти детские болезни российской демократии не могли не дискредитировать ее в глазах населения. Не случайно, как рассказывают в России, у многих людей, когда они слышат слово "демократ", на устах возникает презрительная усмешка.

Другой ответ — это массовое недовольство экономической политикой Ельцина—Гайдара. Недовольство это началось еще в 1992 году, когда Ельциным был провозглашен переход к рыночному хозяйству на основе предложенной Гайдаром либерализации цен. Известно, к чему привела эта политика, — к полному развалу экономики, к росту инфляции, к массовому обнищанию населения, значительная часть которого оказалась за чертой бедности. Однако ошибки, которые были налицо, никем не были признаны. Временно удалив с авансцены Гайдара, Ельцин продолжал ту же безответственную, экстремистскую политику, рассчитанную на быстрое достижение це-

ли, означавшее очень болезненный приход к рыночному хозяйству. Руководство страны не смущало поголовно наступившая бедность населения, глухой ропот людей на невозможность прокормить себя, свои семьи. И это еще не все. Повсюду падало производство, но на глазах у нищенствующих людей росла спекуляция, мошенничество, коррупция, благодаря которым появилась очень небольшая группа преуспевающих миллионеров, чье обогащение верхи и печать объясняли успехами рыночного хозяйства. На глазах у того же населения, как грибы, стали расти иностранные и совместные предприятия, повсюду появлялись иностранные бизнесмены, вывозящие из страны ценные полезные ископаемые и позволяющие себе жить в роскоши, недоступной рядовым гражданам. Русские люди чувствовали себя униженными, страна выглядела в их глазах как колония, как госудаство третьего мира, вызывая у многих людей ностальгию по временам, когда они могли гордиться своей Родиной. В этих условиях население больше не хотело верить своему вчерашнему кумиру Ельцину, окружившему себя мощным и коррумпированным чиновничьим аппаратом. Разгон им старого парламента и октябрьское кровопролитие также не прибавили ему авторитета, а только углубили разочарование и всеобщую депрессию. Таковы объективные условия, в которых развернули активную деятельность компартия и фашиствующие националисты. В своей агитации они искусно использовали недовольство людей, их нищету и униженное состояние, в которое их загнал, как им объясняли, "капитализм" и его "российские прислужники".

Впрочем, я не думаю, что программные речи Жириновского и коммунистов сами по себе определили позицию избирателей. Вряд ли они так уж истосковались по советской империи. Большинству людей все эти имперские амбиции, скорее всего, были безразличны, но гнал их на избирательные участки гнев и обида за свою нищую и

униженную жизнь, до которых их довели демократические правители. За это избиратели и наказали их, лишив на выборах поддержки и отдав голоса их политическим противникам. Так что голосовали они не столько за Жириновского и коммунистов, сколько против Ельцина и его сторонников.

Россия и демократия

Но на вопрос о том, почему реформаторы проиграли, существует и еще один ответ. Речь идет о слабости демократических традиций в России. Это ведь широко известно, что русский народ всегда тянулся к сильной власти. Без понимания этой российской ментальности, невозможно объяснить веками непоколебимую прочность Дома Романовых. Вне ее не понять "всенародной любви" к товарищу Сталину, да и к некоторым из его преемников, например, к тому же Андропову. Так же, как вне этой ментальности (но уже по принципу от обратного) не объяснить всенародной неприязни к Горбачеву, провозгласившему в России реформы и демократию, но образ которого никак не отвечал народным идеалам.

Однако дело не только в слабости демократических традиций в России. Важно иметь в виду устои, в рамках которых привыкло жить население СССР на протяжении 70 лет. Это устои сильной тоталитарной власти, которая, с одной стороны, давила своих граждан, лишала их элементарных свобод и прав, но одновременно брала на себя часть забот о их существовании. Новые демократические порядки в России дали людям не только политические свободы, но и возложили на них всю тяжесть ответственности за собственную жизнь. Ушли в безвозвратное прошлое времена, когда человек мог писать в ЦК, в правительство, товарищу Андропову или товарищу Брежневу, требовать, чтобы ему предоставили работу, дали жилье, позаботились о его семье. В новых условиях он должен все решать сам, за все сам отвечать,

обо всем сам думать и заботиться. Есть работа — хорошо, нет работы — искать самому. Он много слышит о преимуществах капитализма и рыночного хозяйства. Но на примере собственной жизни (по крайней мере до сегодняшнего дня) ощущает совсем другие последствия приватизации, чувствует, как вместе с семьей все больше погружается в нищету, и положительно не представляет себе, что предпринять. Таким образом, речь идет не только о благе свободы, но и "бремени свободы", хорошо знакомом гражданам демократических стран. Эта новая ситуация, весьма неуютная и жестокая в глазах населения вчерашнего СССР, рождает у него, с одной стороны, недовольство новыми властями, демократическими переменами, а с другой — ностальгические воспоминания о прошлых временах, рождает тоску о сильной личности, высказывающей готовность взять на себя груз забот о гражданах страны. Так, в сознании части населения возрождается идеал "вождя", способного наладить нормальную жизнь страны, и вместе с тем вернуть России ее былой престиж великой державы. Не думаю, что этому идеалу отвечает Жириновский, с его "подозрительной биографией", и готовивший себя к амплу российского фюрера, но одно его стремление покончить с анархией и установить в стране сильную власть, встречает такое понимание, что он позволяет себе открыто говорить о своих планах (и, как помните, свою будущую победу на выборах считает подарком к своему 50-летнему юбилею).

То, что русские люди не могут жить без любимого вождя и кумира — с социальной точки зрения факт безусловно опасный, заключающий в себе возможность прихода диктатора, а при определенных условиях фашистского диктатора. Это, конечно, не значит, что для граждан России не достижимы демократия и западные формы хозяйствования. Но это значит, что их путь к этим целям не может быть прямым и традиционным, каким его видят Ельцин и Гайдар. Да и Запад давайте сюда тоже

присоединим, ибо никак он не обогатил своим опытом народ России на этом тяжелом пути. Путь этот идет от тупика к тупику — через поиски, через страдания, через неудачный опыт. Вот и сегодня страна снова перед тяжелым испытанием, и, видно, долгим еще будет этот путь к счастливой жизни, но для народа, изведавшего дыхание свободы, вряд ли возможен поворот назад.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

«УЗНИК РОССИИ»

По следам неизвестного Пушкина

Легальные и тайные попытки Александра Сергеевича Пушкина выбраться за границу сразу после окончания Лицея в качестве дипломата и путешественника, а затем из Кишиневской и Одесской ссылки (1817-1824). Решение бежать в Константинополь, а оттуда в Италию с помощью контрабандистов. Новый взгляд на известные факты психологической биографии поэта.

Antiquary Publishers, 1992, 254 с, \$ 25

594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

«ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15

P.O.Box 410 Tenafly, NJ 07670



Эраст ГЛИНЕР

СТИХИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ?

Евреи и Завтра России

Логика, факты, мысли тут бессильны

В России часто слышно: "Вы, миллион жидов, убирайтесь в свой Израиль!" Приверженцы этого призыва как бы не замечают иронии истории, которая передразнивает устами народов, окруживших Россию: "30 миллионов русских, убирайтесь в свою Россию!"

Да, есть тысячелетняя Россия и есть шеститысячелетний Израиль. Но наряду с идеей изоляции каждого народа за своей "чертой оседлости" есть и мысль, что изоляционизм — добровольный или принудительный — в нашу эпоху уже недопустим: наряду со стремлением к собиранию, должно существовать и противоположное, к рассеянию. Без смешения народов не может быть объединения усилий человечества, а без него невозможно будет противостоять смертельным опасностям XXI века:

гибели среды проживания, перенаселения планеты, коварства законов вероятности, в силу которых возможность ядерной войны тем больше, чем дольше существует ядерное оружие.

Эта статья не обсуждает вечной еврейской дилеммы возвращения в Палестину или жизни в странах рассеяния. В той мере, в какой то и другое перестает быть принудительным, предоставляя индивидууму выбор, это становится его личным делом. Мы попробуем здесь стать на точку зрения тех, кто не хочет, не считает себя обязанным "убираться" из России в Израиль. Мы попробуем подчеркнуть его право на Россию, обусловленное не только слепой случайностью рождения, но и вкладом русских евреев в общенациональную культуру — человеческое лицо России, открывшееся, когда свалилась маска с идеологическим оскалом коммунизма.

Непосредственным поводом для статьи было появление в американских книжных лавках сборника публицистики И. Шафаревича, выпущенного в 1991 г. издательством "Советский Писатель" (!) под претенциозным названием "Есть ли у России будущее?" В сборнике читатель находит и памфлет "Русофобия", своего рода классику "антисемитизма без антисемитизма" — род антисемитской публицистики, где призыв к погромам предоставляется доведенному до истерии читателю. В отношении такого рода литературы нельзя отделяться бездумным замечанием, что читать ее будут только те, к чьему антисемитизму она уже ничего не добавит. Поэтому новое появление на ковре господина Шафаревича это действительно повод еще раз защитить права евреев "на долю России", и как на часть их жизни, и как на часть еврейской истории.

Название сборника перекликается с описанием России в "Русофобии": "...среда превращается в мертвую пустыню, а с нею гибнет и человек. ...исчезает интерес человека к труду и к судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в иррациональных вспышках насилия, мужчины пре-

вращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает..." И затем обвинение: "Таков конец, к которому толкает "Малый Народ", неустанно трудящийся над разрушением всего того, что поддерживает существование "Большого Народа".

Читатель, вероятно, помнит: "Малый народ" — это евреи, а "Большой народ" — русские. Как это малые бьют больших, Шафаревич и сам в недоумении. Одни логика, факты, мысли, — говорит он, — тут бессильны. Лишь исторический опыт народа может помочь отличить правду от лжи. "Но уж если у кого такой опыт есть — то именно у нашего народа!... Надо... его осознать... такова сейчас основная задача русской мысли."

Написано это в трагическое время, в 1980, когда мальчиков начали обучать Афганистану, а Афганистан — социализму. Прошло 11 лет. Смута, принесенная советскими танками в Афганистан, давно вернулась в Россию и бушует там с удесятеренной силой. Рост антисемитизма заставил тысячи и тысячи евреев бежать из России. Но тяжелый взгляд Шафаревича на основную задачу русской мысли не изменился. Это показывает новое появление "Русофобии".

Как и большинство антисемитских публикаций, "Русофобия" напирает, в основном, на "арифметическую греховность", воюя "числом, а не умением": еврей там, еврей здесь, еврей всюду. Шафаревича заботит "...особенно большая концентрация еврейских имен". Он одобрительно замечает, что в 30-е годы "в самом верховном руководстве число еврейских имен уменьшается". (Поскольку речь о массовых репрессиях, не явный ли это намек, что расстрелы — хороший способ избавления от Малого народа?) Само звучание еврейских имен Шафаревич, видимо, принимает за звуки библейского шафара, созывающего евреев, чтобы возвести Иерусалимский Храм в самом сердце Третьего Рима — России!

Поговорим об арифметической греховности.

Появление евреев на сцене в критический момент истории России было predetermined не еврейской хитростью, а излишним хитроумием русских властей, удерживавших целый народ не только в состоянии "без определенных занятий", но и с полностью неопределенным будущим.

Черта оседлости в сочетании с запретом на крестьянскую деятельность создала печально знаменитое положение, при котором евреям разрешался только труд, не позволявший выбраться из удручающей местечковой нищеты и часто вызывавший неприязнь нееврейской части населения. Единственной надеждой вырваться за черту оседлости, с ее жизнью париев и вечной угрозой погромов, было образование. Но тернистый путь к нему преграждали процентная норма в местные гимназии и училища, черта оседлости, плата за обучение и, конечно, обуза для семьи годами кормить "лишний рот".

Я недостаточно знаком с литературой о быте "за чертой", поэтому расскажу услышанное от матери. Она росла в очень бедной семье без постоянного дохода. Ее отец не имел даже низшего образования, но сам научился грамоте и нескольким "полупрофессиям", таким как работа сторожем, доставка депеш и ведение счетоводных книг. По вечерам в семье читались вслух русские книги. Это окно в жизнь дало моей матери достаточные преимущества, чтобы сдать экзамены в числе первых и поступить в Винницкую гимназию. Начиная со второго класса, она давала уроки отстающим, зарабатывая, чтобы платить за обучение. Окончив гимназию, поехала в Одессу. Она вспоминает, что хотя это были глухие годы после бунтов 1905 года, однако Одесса буквально кишела кружками, в которых по вечерам бесконечно спорили о политике. Но она хотела учиться, и через пару лет уехала в Киев, где поступила в университет. Киев был за чертой оседлости, жить там евреям запрещалось, но слепота полиции поку-

палась за пятерку в месяц. После смерти от холеры близких друзей моя мать перешла в Харьковский медицинский институт. Жила уроками и ухаживая за больными.

Эти штрихи еврейского быта дают некоторое представление об утечке еврейской молодежи за черту оседлости.

Стоит сказать несколько слов о дальнейшей судьбе моей матери. Она окончила Харьковский институт вскоре после начала Первой мировой войны и работала в полевых госпиталях на Северном Кавказе. Снова она попала на Кавказ в 1934 году, в связи со вспышками там чумы. В 1937 году она была в Ленинграде. Тут я уже могу сослаться и на свои воспоминания. Один за другим, знакомые и родственники из разных мест в стране "исчезали". Исчезли и самоотверженные Эрлих и Покровская, возглавлявшие борьбу с чумой в СССР. Мы жили тогда с матерью в доме с коридорной системой — вдоль узкой щели коридора два с чем-то десятка комнат, в каждой по семье. По семье и в двух бывших ваннах. Ночами не спали: ждали, "когда придут". Трижды стучали в двери соседей. Но тогда стук нас миновал — женщин брали реже. В Отечественную войну мать снова служила в армии как военврач. В первый год блокады в самом Ленинграде, затем "на пяточке" (отрезанном от "Большой земли") под Петергофом. Закончила службу, как и надо в патриотической повести: в Берлине. После этого работала врачом еще 30 лет.

Итак, мы видели, как и зачем парии просачивались сквозь черту оседлости, сразу попадая в революцию. Немногим удавалось продолжать образование, почти никому — войти в русское общество. Начав с восхищения русской культурой, они в конце концов упирались в брюхо непроторенной русской бюрократии и со всем достоинством приобретенных знаний и пылом молодости поворачивали в социал-демократию. Так запрет на оседлые профессии для евреев работал против царя и отечества.

Февральская революция могла многое изменить в положении евреев, но была прервана большевистской контрреволюцией. Последняя была своего рода историческим

нонсенсом. Выдуманная из головы больше, чем какая-либо другая, она вспыхнула без какой бы то ни было исторической необходимости или неизбежности. О социалистическом будущем было известно только то, что каждому там будет доставаться по труду — туманно перефразированная вечная мечта о справедливости. Никому не приходило на ум: если сотни предшествующих поколений не добились справедливости, то путь к ней не начинается "экспроприацией экспропрированного". Это ведь всегда умели, и пока не было банков и заводов, экспроприировали скот и женщин. Но на весах истории легли не легкие мечты о счастливом будущем, а безоглядная уверенность фанатика — на одной чаше, перевесившая болтливую нерешительность только что родившейся демократии — на другой.

Большевистский переворот вовлек в орбиту власти две группы еврейского населения. Из грязи да в князи возвысились те, кто участвовал в перевороте или занимал высокую ступеньку социал-демократической лестницы. Победители были опьянены необъятной властью без понимания, что с ней делать. Марксизм молчал. Отсюда их нескончаемые бесплодные споры в попытках руководствоваться им в политике и экономике. Но единственным реалистическим законом, удерживающим власть на плаву, была лишь "революционная целесообразность", расстреливавшая всех сверху донизу, от офицеров и поэтов до несознательных рабочих Петербурга, кронштадтских матросов и тамбовских крестьян... В этих обстоятельствах преобладающее влияние в конце концов получал тот, кто вместо бесплодных поисков истины в марксизме вертел им так и сяк, верша за правильными словами революционную целесообразность для самого себя. "Верующий большевизм" был обречен. Не появившись этот Сталин, появился бы тот!

С верующим большевизмом, к которому они принадлежали, в 30-е годы были расстреляны и еврейские князь-большевики.

Угнетенный народ, лишенный устойчивого среднего

класса, всегда неоднороден, крайности растут. Пришельцев из-за черты оседлости тоже не надо идеализировать. Подонки из их среды, готовые осуществлять "революционную целесообразность" своими руками, были неопенимым подарком для новой власти. На этих людей можно было полагаться: они не имели ни корней в прошлом, ни связей в настоящем. Неудивительно, что в ЧК и ее перевоплощениях их оказалось много. Равно безжалостные и к православным, и к евреям, они не были ставленниками верующих большевиков из высшего эшелона (как иногда наивно думают), а их могильщиками. Но ко времени, когда безымянные могилы верующих большевиков были засыпаны, страна уже была иной. Еврейское население стало играть заметную роль в жизни общества. В большинстве, оно было неблагоприятно к Сталину. Тем самым евреи, прыгнувшие когда-то из париев да в опричники ЧК, "приобрели корни", с которыми Сталин и выкорчевал их. С 30-х годов еврейские чекисты уже не были представлены на высших уровнях опричнины.

То, что большевистский переворот привел много евреев в ряды власти, вовсе не значит много в отношении ко всей массе еврейства. Большая ее часть не была ни верующими большевиками, ни верноподданными опричниками. Биография врача, приведенная выше, типична для отношения этих людей к жизни. Они недолюбливали и князей, и опричников, причем тех, кто был из их же среды, пожалуй, даже больше. Неудивительно, что во всех "чистках" Малому народу доставалось.

Все это не укладывается ни в картину еврейского заговора, ни в картину насилия Малого народа над Большим — не укладывается в арифметику греховности Шафаревича. Во что же это укладывается? В то, что Малый народ разделил судьбу Большого народа! И даже антисемитизм имеет своего двойника в русофобии.

Русская, но общенациональная.

Этическая сторона проблемы Малого народа лежит, однако, в совсем ином измерении, чем арифметика греховности (которая, кстати, может считать и обиды, нанесенные Большим народом Малому). Она связана со становлением в России общенациональной культуры.

Российская Империя создавалась в эпоху, когда завоеватель был вправе установить на завоеванной территории свои законы, но не нес обязанности предоставить завоеванному народу те же права и возможности, какие имел народ-завоеватель. Завоеванных присоединяли к России, заботясь о распространении на них крепостного права, податей и рекрутских наборов, но ими пренебрегали как инородцами. Развитие культуры завоеванных народов, по-существу, замирало. Культура же Империи продолжала развиваться на этнически русской основе, хотя Империя становилась многонациональной.

В рамках логики Шафаревича (применяемой им даже к евреям библейской эпохи), русский народ или, по крайней мере, его высшие классы можно было бы обвинить в действиях, которые современное международное право рассматривает как преступные. Это было бы, однако, не только против истории, но и справедливости — нельзя руководствоваться нравственностью, которой еще нет. Принимая нравственность их эпох как данную, деятелей прошлого мы фактически оцениваем с двух точек зрения. Во-первых, для нас важны качества, высокая оценка которых мало зависит от эпохи: цельность, ум, честность, человечность, самоотверженность и т.д. Во-вторых, мы судим о них по тому, как совершенное ими влияет на последующие эпохи, прежде всего нашу. Это суждение может зависеть от точки зрения, оно всегда более политизировано и часто является лишь иносказанием для воззрений автора суждения.

Мы избежим таких суждений. Создание Российской Империи, несомненно, было героическим эпосом, включавшим много выдающихся событий, требующих мужес-

тва и самоотверженности причастных к ним. Его влияние на последующую историю было достаточно сложным и зависело от массы привходящих событий, чтобы относиться к нему как-либо иначе, чем как к историческому знанию, никакая из частей которого не может быть однозначно оценена, принята или отвергнута.

В отношении этнической чистоты культуры, многонациональный характер Империи представлял однако бомбу замедленного действия. Коль скоро общество поднимается до признания равенства всех жителей страны, становится неизбежным появление общенациональной культуры. Появляются общие для всех — социальная этика, обычаи и язык. За ними следуют — спорт, литература и искусство. Получает признание равный доступ к образованию и предпринимательству. Культурное развитие и лепта в него отдельных лиц перестают иметь этнически определенную отправную точку. Плодом этого развития является социально-политическая общность, распространившаяся на всю страну. Эту общность на Западе обычно называют нацией, а ее культуру национальной. Национальной, например, является американская культура. Этот тип культуры был назван выше "общенациональным" во избежание двусмысленности в русском тексте. Под сенью общенациональной культуры могут сохраняться и этнические культуры, но их положение в социальной жизни перестает быть господствующим.

17-й год чрезвычайно ускорил становление общенациональной культуры в России. Большевистский переворот искажил, но еще более ускорил его ход, став трагедией этнически русской культуры. Почти все образованное русское население России оказалось за бортом: одни были "бывшими" и беспомощно ждали, пока их вырвут с корнем, а другие не могли представить себя в услужении у красных. Живые связи с прошлым были порваны, хотя новой власти, не имевшей никакой идеи управления, ничего не оставалось кроме подражания: правительство, деньги, банки, суд, цензура, воинская повинность... Не-

навиственные институты буржуазии превращались для победителей в "осознанную необходимость". Но они не были преемственны по отношению к старым, существовавшим до переворота, а новое чиновничество не было носителем вековой русской культуры.

Уничтожив русскую интеллигенцию в ее лучшей и значительной части, октябрьский переворот как бы обрубил русскую культуру. Рост интеллигенции происходит медленно. Напоминая спорт, тренировка интеллекта должна, как правило, быть достаточно интенсивной с детства, и это, обычно, нелегко для ребенка. Поэтому велика роль семьи: живой пример, помощь, поощрение, принуждение. Для роста интеллигенции нужно, следовательно, не одно поколение, нужны семьи, изначально предрасположенные к восприятию культуры. Таких русских семей в среде победителей было мало. Эти факты, разумеется, были вне поля зрения руководителей переворота. И то, что культурная преемственность, казалось бы, разрушенная переворотом, тем не менее в значительной степени сохранилась, случилось непреднамеренно благодаря многонациональному характеру Империи. Это было следствием еврейского "вторжения" в сферу культуры.

Основой развитой культуры является язык, но не этнос. Более, чем где-либо еще, в этом видна поступь истории — возрастающее господство мысли над чувствами (если угодно, духа над плотью). Все этнические смешения, которые создали современные нации, включали присоединение к языку как необходимое для выживания. Однако лишь немногие великие культуры, благодаря своей широте и гибкости языка, вовлекают в свою орбиту все новые народы. Принадлежность к этому типу была важным условием постепенного превращения этнически русской культуры в общенациональную. Ее чисто русская ветвь приобрела при этом известную самостоятельность. Скажем, православная религия — часть русской, но не общенациональной культуры. Но подобно тому, как это было с английским, русский язык, став общенациональным, перестал развиваться исключительно на основе

этнических предпочтений. Преодолевая опасное разделение мира, становление общенациональных культур представляет важное и желательное развитие. Но если кому-либо такой ход событий в России не нравится, можно его рассматривать и просто как плату за распространение Российской Империи далеко за этнически русские пределы.

Великая или второразрядная?

На роль евреев в становлении общенациональной культуры в высокой степени повлияло отмеченное выше внимание еврейских семей к образованию. В среде интеллигенции евреи появились еще в конце прошлого века, а к 1917 году можно назвать и великие имена, такие как Пастернак, Мандельштам-поэт или Мандельштам-физик. В эту-то пору из гетто, выгороженного до этого чертой оседлости, в города массами начали приходить евреи, в большинстве молодежь. Они были готовы учиться и посвятить себя интеллектуальному труду. И их вклад в него оказался блестящим, какую бы область культуры не взять. Все области техники. Медицина и биология. Литература и литературоведение, искусство, театр, кино... Создание двух школ теоретической физики и нескольких новых направлений в математике. Сошлемся на оценку тов. Сталина, который был вынужден считаться со вкладом евреев в культуру страны, хотя и ненавидел их. Его оценка выражена обилием еврейских фамилий при присуждении сталинских премий, как "открытых", так и пользовавшихся его особым вниманием — "закрытых".

Не будь еврейского вклада, после большевистского переворота на месте Российской Империи осталась бы, вероятно, только второразрядная держава, скорее всего, потерпевшая бы быстрое поражение в войне с Гитлером и принудительно расчлененная гораздо раньше, чем она сама распалась сейчас. То высокое положение, которое, несмотря на безумную неспособность ее реформаторов, Россия еще занимает в международной иерархии, в не-

малой степени является еврейским вкладом. Не только, разумеется, еврейским, но последний, по всей вероятности, был решающей добавкой. К сожалению, преступления сталинского режима делают двусмысленными любые заслуги в эпоху советской власти.

Как и автор этих строк, читатель, вероятно, чувствует в сказанном выше некоторую фальшь. Да, она есть. Навязанная г. Шафаревичем и антисемитизмом, она в том, что подчеркиваемая слишком часто принадлежность к еврейской среде как бы противопоставляется преобладающему в Империи русскому населению. На самом деле, важнейшим было стремление евреев к образованию, под-разумевавшее присоединение к русской культуре. Поэтому "еврейское вторжение" было скорее фактом русской культуры, чем чисто еврейской. И оно, конечно, тесно слилось с деятельностью той части русской интеллигенции, которой посчастливилось избежать большевистского остракизма.

Нас, однако, в первую очередь интересует не национальная, а персональная идентификация деятелей вторжения. Мы говорим о людях, которые блистательно сыграли свою роль, отведенную им русской историей, за что их перестали пускать в университеты, а наступит эра демократии — станут малевать свастики на дверях их квартир, крича, что из-за них "мужчины превращаются в алкоголиков", а "женщины перестают рожать".

Антисемитизм поражает неуважением к собственному народу. Как иначе понять известное антисемитское при-словье, что скоро в русских университетах еврейские профессора будут учить еврейских студентов? Русские — идиоты, что ли? Преимущества, которые в силу хода вещей в начале советского пути имели еврейские дети, кончились из-за упадка еврейских семей и роста этнически русской интеллигенции. Из-за растущего антисемитизма все больше областей деятельности для евреев закрывалось. Поэтому в немногих областях, еще оставшихся открытыми, "концентрация еврейских имен" могла даже и увеличиться, но лишь как этап в "окончательном

решении еврейского вопроса", задуманном советской властью и Шафаревичем, якобы ее недоброжелателем.

Посмотрим пристальнее, что волнует Шафаревича. Вот в начале "Русофобии" он приписывает литераторам из Малого народа (Померанц, Амальрик, Шрагин, Янов, Пайпс и др.) следующие взгляды, с которыми он дальше и воюет:

"Историю России, начиная с раннего средневековья, определяют некоторые "архетипические" русские черты: рабская психология, отсутствие чувства собственного достоинства, нетерпимость к чужому мнению, холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чужой властью."

"Жестокости... сталинского периода объясняются особенностями русского национального характера. Сталин был очень национальным, очень русским явлением... "Сталинизм" прослеживается в русской истории, по крайней мере, на четыре века назад."

Шафаревич без труда показывает, что названные выше "архетипические русские черты", по существу, архетипичны для истории любого народа. "Концепция, — говорит он, — полностью рассыпается при любой попытке сопоставить ее с фактами." Согласимся, не пытаюсь уточнять, принадлежит ли она названным выше, "...если эта концепция впитается в национальное самосознание, — продолжает Шафаревич, — то это будет равносильно духовной смерти: народ, ТАК оценивающий свою историю, существовать не может."

Если! Этот громадный скачок от кучки малоизвестных литераторов к духовной смерти целого народа лишен логики в большей степени, чем решение Ноздрева оставить лошадей Чичикова без овса. (А Шафаревич, между прочим, имеет дело не с мертвыми, а живыми душами.) Но это тот же ноздревский вздорный пошиб. За семь советских десятилетий в национальное самосознание не впитались и куда более вкрадчивые "концепции". Потому, как быстро развалился советский строй, видно, что со всеми своими пропагандистскими пряниками он не стал

присущим самосознанию. 18% населения, состоявших в компартии, были выражением не народных чувств, а народного реализма — жить-то надо! И даже та горстка, что осталась от компартии сейчас, выражает не столько ее преданность социализму, сколько чисто житейское (быстро распространяющееся!) наблюдение: жить-то под советскими кнутами, оказывается, было легче. Каждодневные заботы не удесятерились каждодневным страхом за завтрашний день, да и на улице можно было без опаски выйти в новых кедах...

Итак, почему же концепция, которую занесенный над головами топор сталинской власти считает "очень национальным, очень русским явлением", может впитаться в национальное самосознание? И как ей в него попасть, если литература, упоминаемая Шафаревичем, едва ли доступна даже десяти тысячной доле населения России?

Покаяние

Предположим, однако, все же случилось, что народ так оценил свою историю. Действительно ли он тогда "существовать не может"?

История проделала свой жестокий опыт над Германией. Гитлеризм был такой эпохой немецкой истории, когда слова: рабская психология, нетерпимость, холуйская смесь злобы и зависти, преклонение перед чужой властью и т.д. — были бы слишком мягки. При этом гитлеризм был "очень национальным, очень немецким явлением" — нигде больше фашизм не мог бы быть — и не был — столь дисциплинированно, столь преданно (и потому столь бесчеловечно) проводимой идеологией, как в Германии. Гитлер насильно вложил лучшие немецкие черты.

Хотя этот опыт и не длился четыре века, но решающая роль в памяти народной всегда принадлежит последним поколениям. Поэтому опыт доказателен. Когда пришло осознание сути гитлеризма и его преступлений, оно потрясло немцев. Денацификация Германии лишь в малой степени была проводимой извне карательной акцией.

(Скажем, военные не были лишены льгот и пенсий*). Она прежде всего была глубоким внутренним процессом, отвержением немецкой истории. Но это привело не к духовной смерти, а к духовному возрождению. Оно стало основой и новой немецкой государственности, и немецкого "экономического чуда", а также и более глубокого понимания нами истории — не как мифа, а как самопознания.

В противоположность Германии, Россия избежала д е б о л ь ш е в и з а ц и и . Нельзя исключить, что это главная причина сегодняшнего состояния распада и разброда. Новые власти так и остались в старых штанах исторического материализма и ждут, что декретированная рыночная экономика сама по себе произведет чудо обновления. Но общество все же имеет духовную основу. Капитализм рос там, где он был в гармонии с духовной жизнью страны. Поэтому благосостояние России не так зависит от декретов, как от ее духовного обновления. Не так от попытки воссоздания духа баснословных лет, как от отвержения глыб недавнего собственного прошлого. Говоря, как обустроить Россию, Солженицын назвал ключевое слово на пути к духовному обновлению: п о к а я н и е .

Как бы ни истолковывать это забытое слово, но оно не слышно сегодня, хотя советские преступления и поставили коммунизм в один ряд с гитлеризмом. Вызвав ужас, разоблачения советского режима привели и к своего рода отторжению: "это сталинские дела", "от нас разве зависело?", "не все же было так мрачно, было и хорошее!" Все так. Но речь не о том, кто виноват. Речь о п а д е н и и . К репрессиям режима мы добавляли,

*Это странно звучит для ревнителя Октября, оставшегося бесчувственным к ниществу героев царской (русской!) армии. СССР был единственным в своем роде и среди победителей Второй мировой войны, лишая пенсий инвалидов Великой Отечественной войны, покинувших пределы страны. Демократическая Россия хранит эту традицию.

быть может, горшее: молчание, труд в почтовых ящиках и балет Большого театра для взоров из заграницы.

Шли годы. Сталин умер, побыл в мавзолее и отправился вековать к заранее убитой им жене. Но мировое дело большевиков жило. Рос запас бомб, увеличивая соблазн первого удара. Власти глубже вгрызались в московскую землю, чтобы пережить и сохранить гены жизни на п о с л е . Под ад отдавалась поверхность.

Забуть о нравственной, скрытой в душе, ответственности за все, что было, это позволить истории повториться, но став уже не только несчастьем, но и в и н о й народной. Не потому ли покаяние? Не наложенное наказание, а непреодолимая потребность больше не жить во лжи. Покаяние не русского народа. И русского народа.

Малый народ

Шафаревич чужд этому строю мыслей. Он следует иному глубокому чувству: "...сказать правду, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова [о евреях!]. Я не мог бы умереть, не попытавшись этого сделать."

С момента, когда Шафаревич ужаснулся русофобии, но не ужаснулся антисемитизму, прошла уже добрая дюжина лет. Она внесла в антисемитизм мало нового, но и в русофобию тоже. Зато простое различие между большим и малым нависло угрозой уничтожения над Малым народом. Сотни тысяч людей бежали от нее, оставив родину и культуру, к которой принадлежали. Нависла угроза и над Большим народом. Границы, проведенные некогда с великодержавной беспечностью, одним махом рассекли общенациональную культуру по независимым государствам. Обкорнанная Россия и сама разделилась на много мелких частей, которые до этого были лишь неразличимыми частями целого, а теперь стали "субъектами федерации".

Вглядываясь чуть пристальнее в происходящее, понимаешь, как прав был Шафаревич в убеждении, что за

несуразицами России стоит малый народ. Но он ошибся в выборе малого народа.

Вспомним хотя бы то, что было совсем недавно. За одну ночь "единый" Союз превратился в сколько-то независимых государств — сколько и не сообразить, так как это число никогда не имело значения. За этой новостью посыпались другие, коренным образом менявшие жизнь каждого, но, по существу, без его воли, ведома и понимания. По отношению к каждой из этих новостей, голос избирателя — за того или другого — был голосом за кота в мешке. Нетрудно узнать этот почерк демократии, так хорошо знакомый в течение десятков лет. Да, за всеми новостями и во всех руководящих креслах все тот же малый народ большевиков.

Что ж, о покаянии не приходится мечтать. О революции — тоже, разве лишь малый народ снова сам себя свергнет, чтобы опять захватить свою власть. Да и другого малого народа, который мог бы руководить, не зная как, в стране, видимо, нет. Большому народу остается верно-подданно верить, что (перефразируя посул Хрущева) "ныне живущее поколение будет жить при капитализме".

Могут ли при существующих мрачных обстоятельствах русские евреи — сделавшие для России не менее, чем любые из ее героев — оставаться на своей родине, в России? Ответить, конечно, не может никто. Но можно назвать необходимое условие безопасности: реальная демократия. Итак, возможна ли демократия под малым народом большевиков?

А, собственно, о какой демократии речь? За годы падения в России всего и вся, читатель, вероятно, убедился, что это долгая дорога — от провозглашения демократических свобод до той демократии, которая приходит в каждый дом как сознание причастности к происходящему, уверенности в себе и своей способности влиять на будущее — долгая дорога!

Посмотрим, откуда же такая демократия пришла, ска-

жем, в Америку. Взглянем на американский экономический пейзаж:

1. Стихия мелкого предпринимательства. В стране преобладают не гиганты, а небольшие предприятия. Скажем, мастерская — несколько прецизионных станков, на которых один-два искусных мастеровых изготавливают замысловатые детали для авиалайнеров. То, что неискушенному глазу кажется огромным предприятием, часто оказывается россыпью мелких, связанных только общими правилами игры. Так, у каждой "забегаловки" Макдоналдс — свой хозяин. Жилищное строительство — основа американской экономики — это множество мелких компаний, работающих на договорной основе. При таких условиях сама жизнь учит среднего американца самому распоряжаться своей судьбой, а в Конгресс посылать тех, кто следует его интересам и ничего не предпринимает без оглядки на избирателей.

2. Местное самоуправление. Нагляднее будет пример: на недавних выборах (бывают дважды в год, голосуют на избирательных участках или по почте) калифорнийский город с населением около 800 000 чел. голосовал по 29 законодательным предположениям, таким как деньги на ремонт музеев; меры по безопасности движения; налог на продажу; пенсии полицейским и вдовам городских служащих; покупка оборудования для городских учреждений; создание комиссии по служебной этике; назначение заместителя начальника пожарной службы; приказ городским служащим дважды в неделю ездить на работу городским транспортом (смысл понятен?); разрешение полицейскому возить куклу, создающую впечатление, что в полицейской машине двое и т.д. Толстый предвыборный памфлет включал историю и доводы общественных групп за и против каждого предположения, оценку его влияния на бюджет города и, наконец, полные тексты предполагаемого законодательства, исключавшие нужду в дополнительных инструкциях, которые создали бы возможность самоуправления властей.

Итак, в Америке демократия заложена в прозе жизни

маленьких ячеек общества как возможность самоуправления и осуществления собственных замыслов (а не выбора среди чужих). Если Россия идет к этому, то и малый народ большевиков будет неизбежно втянут в демократические правила игры.

Стихия малых прибыльных предприятий, сочетающаяся с местным самоуправлением, — это надежда на то, что стране удастся избежать крайностей междуусобной борьбы за власть, в которой Большой народ всегда будет страдающей стороной.

Что можно сказать сейчас, когда пишутся эти строки, за две недели до декабрьских выборов? Станным образом, большевистская традиция спешного насаждения сверху всего и вся даже усилилась. Для избирателя новая Конституция появляется почти как пожалованная грамота. Ее еще не приняли, а выбирают уже в предусмотренные ею органы. То ли она за демократию, то ли за сильную власть, едва ли кто-либо знает. Правда, избиратель тоже не знает, не то лучше сильная власть, не то демократия. Зато он знает, за к о г о голосует — за малый народ большевиков.

Итак, снова выбор между чужими намерениями, как булыжники похожими на те, которыми уже вымощена дорога позади.

Что же делать русским евреям?

Нет пророков в своем Отечестве, но нет и вне его. Может, однако, стоит вспомнить, что слово — оружие истории. Даже сам октябрьский переворот произошел потому, что его режиссер первым сказал: "Ээ...", пока все только блеяли. Если оставаться на родине, нельзя молчать.

Не скрывать свое происхождение. Не забывать свое прошлое. Предложить будущее, которое могло бы увлечь мыслящую трудовую Россию. Настало время умно бороться за гражданские права, свои... и чужие.

Быть может, четверостишие Губермана дает почувст-

вовать сегодняшний день России лучше, чем многие страницы прозы:

**Российской бурной жизни непонятность
нельзя считать ни крахом, ни концом,
я вижу в ней возможность, вероятность,
стихию с человеческим лицом.**

Но вспомним и строки Мандельштама:

**Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.**

Лишь кажется, что четверостишия противоречат друг другу: они об одном. Проблемы выбора нет. И если нельзя совместить их, то приходится попеременно жить то в одном, то в другом.

КТО ТАКОЙ АКАДЕМИК АБРИКОСОВ

Некоторое время назад имеющий мировую известность академик Абрикосов дал интервью газете "Известия", вызвавшее острую полемику в научном мире. Как известно, Алексей Абрикосов работает в области теоретической физики. Членом-корреспондентом АН СССР он был избран в 1964 году в возрасте, когда многие из его коллег могли лишь мечтать о защите кандидатской диссертации. В 1989 году академик Абрикосов стал одним из первых демократически избранных директоров, возглавив широко известный Институт высоких давлений, расположенный в подмосковном городе Троицке. В начале 1991 года он покинул страну и возглавил теоретическую группу в одной из национальных лабораторий США. С тех пор Алексей Абрикосов у себя на родине ни разу не был.

Тема его интервью — следует ли помогать русским ученым? Каково должно быть отношение к ним западной науки и их российских коллег, работающих в Америке и странах Европы?

В этом номере печатается полный текст интервью академика Абрикосова, которое он дал корреспонденту "Известий" Сергею Лескову и которое в сокращенном виде появилось в Нью-Йорк Таймсе. После интервью публикуются отклики работающего в Харварде старейшего российского радиофизика Якова Альперта и профессора Александра Мигдала из Университета в Принстоне.

Алексей АБРИКОСОВ

Я НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ В РОССИЮ

Интервью газете "Известия"

— Общеизвестно, что "утечка мозгов" из России является сейчас одной из самых болезненных проблем нашей науки. Но мы видим проблему со своей, российской стороны. Как воспринимается "утечка мозгов" на другой стороне этого потока, да и вообще, часто ли вы встречаете в западных лабораториях соотечественников?

— Найти постоянную работу ученому на Западе всегда было сложно. Сегодня проблема усугубляется прекращением "холодной войны", резким сокращением военных заказов. Большинство российских ученых, перебравшихся на Запад, имеет временную работу. Они, как цыгане, кочуют по научным лабораториям в разных странах с одним, однако, неизменным условием — обогнуть "особую" точку, которой является Россия, другие государства бывшего СССР. Домой предпочитают не заезжать из-за

боязни преступности, которая начинается сразу же в Шереметьеве.

К примеру, в моей теоретической группе семеро сотрудников имеют постоянную работу. Столько же — временную, причем пятеро из них приехали из России. Сейчас я, как руководитель, изыскиваю возможность найти вакансию для академика Российской АН Анатолия Паркина.

— В чем основные отличия в работе ученого в США и в бывшем СССР?

— Прежде всего в компьютерном оснащении. У каждого ученого в Америке обязательно имеется компьютер, причем все они связаны в единую, часто общенациональную сеть. Обыкновенно и дома у исследователя тоже есть компьютер. Компьютеры самые разные — от примитивных до мощных рабочих станций. Не встретишь устаревших систем. Например, "Крей", который в СССР невозможно было достать, здесь считается вчерашним днем.

Второе, столь же существенное отличие — мощная экспериментальная база. В период моего директорства я чуть лоб не расшиб в бесплодных попытках достать электронный микроскоп высокого разрешения, даже наши военные заказчики не помогли. В США мне ни разу не приходилось сталкиваться с подобными проблемами.

В деловом общении западные специалисты отличаются четкостью в соблюдении обещаний, к чему нам привыкнуть куда сложнее, чем освоить компьютер.

— Не влияет ли изначальное отличие в научной экипировке на квалификацию ученых, которые ищут счастья на Западе?

— Не может не влиять. Не случайно тому, кто в России был связан с экспериментальной базой, найти себя на Западе значительно сложнее. Относительно моих коллег-теоретиков могу сказать определенно, что они ни в чем не уступают западным специалистам. И неудивительно, что из России сегодня выехала почти вся элита в области теоретической физики.

Взять хотя бы лучшие российские центры — Институт

теоретической физики имени Ландау и Ленинградский физтех имени Иоффе. Иногда в американских или немецких лабораториях мне кажется, что я попал на ученый совет в какой-то из этих институтов.

— Ученый секретарь РАН академик И. Макаров недавно сказал, что если собрать две лучшие национальные сборные в области фундаментальных наук, то они будут выступать под российским и американским флагами. На последнем годовом собрании академии также отмечались успехи фундаментальных наук. В названных вами институтах диссертации регулярно защищаются, солидные отчеты издаются. Не сгущаете ли вы краски?

— Мы привыкли мыслить количественными категориями. С 30-х годов научные институты у нас создавались по принципу муравейника — чем больше народу наберешь, тем, считалось, выше эффективность. Но я в муравейники не верю. Достаточно, чтобы коллектив покинуло несколько лучших умов — и выдающиеся результаты станут недостижимой мечтой. Что касается оценки, которую сами себе дают руководители нашей академии, то у меня о нравах в этой цитадели науки остались самые неприятные воспоминания.

— Каково отношение к российским ученым у западных коллег? Не встречаются ли они в штыки наших соотечественников, которые претендуют на немногие вакансии?

— Нет, предубеждения я не встречал ни разу. США — страна эмигрантов. Здесь редко встретишь человека, у которого дед обосновался в Америке, чаще — отец. В Америке считается, что свежая кровь оздоравливает нацию. Кстати, в научной среде больше всего эмигрантов из Китая.

— Мечтают ли наши специалисты вернуться домой? Не раз приходилось слышать мнение, что в "утечке мозгов" нет ничего страшного. Поработают, мол, в тяжелые времена на Западе наши ученые, сохранят квалификацию, а потом все равно домой потянутся.

— Подобными планами со мной никто не делился. Напротив, ко мне постоянно обращаются с просьбами

помочь подыскать работу. И постоянно слышу вздохи от застрявших дома коллег; "Какой же я, дескать, лапоть, что несколько лет назад, когда предлагали контракт, не решился дать согласие". О какой ностальгии можно все-речь говорить, когда сегодня в России наука никому не нужна! Фундаментальная наука не приносит быстрого дохода, она требует бюджетного финансирования, а денег в казне нет.

Что касается лично меня, то я в России просто изголодался по науке. Работаю в американской научной лаборатории с полной самоотдачей и испытываю давно забытое чувство творческого удовлетворения. Необходимо успеть сделать то, что мог, но не имел возможности сделать дома. Мне уже за шестьдесят, времени для полноценной работы осталось немного, и, учитывая это обстоятельство, не думаю еще когда-нибудь посетить Россию. В этой стране еще нескоро станет возможным заниматься наукой.

В подобных чувствах я не одинок. В бытность в Москве, помнится, мы чаще всего встречались с Роальдом Сагдеевым и Яшей Синаем, замечательными учеными, в очередях продуктового магазина. Оба они, кстати, сейчас тоже работают в США и о возвращении не помышляют. Недавно разговорился с нашим членом-корреспондентом Юрием Орловым, который в отличие от меня всегда всерьез интересовался политикой. Но даже он признался, что всерьез подумывает о том, чтобы принять американское гражданство. Будем честными, качественная еда очень способствует здоровью, работе и хорошему настроению. Терять бытовые удобства по-человечески не хочется. Поверьте, даже я, академик и сын академика, только в Америке понял, что у ученого голова может быть занята только наукой.

— Сегодня высказывается много планов о сохранении российской науки, в том числе с участием различных западных фондов, с организацией в России международных научных центров. Какой из проектов кажется вам предпочтительным?

— Уверен, что помогать науке там, в России, бессмысленно. Зарплату ученым можно поднять, но приборы и оборудование не привезешь. Сегодня для сохранения российской науки может быть только один рецепт: помочь всем талантливым ученым поскорее уехать из России, а на остальных махнуть рукой. Я, считаете, излишне резок? Со мной многие спорят. Но жизнь показывает, что я прав. Не выгорел еще ни один из совместных международных проектов. Напротив, любой российский ученый, как только у него появляется возможность, уезжает из страны.

Так и для России лучше. Китайские ученые, ставшие в США нобелевскими лауреатами, сейчас, в условиях экономического подъема на родине, делают очень многое для расцвета китайской науки. Конечно, обратно в Китай они не переезжают.

— Неужели, прожив почти всю жизнь в России, вы окончательно оторвались от проблем, в которые погружена страна? Неужели возможность полноценного научного творчества не оставляет желания оглянуться на Россию? И неужели уже не трогают наши бесконечные беды и катаклизмы?

— Забыть свою страну невозможно. Каждый день получаю подборку новостей о событиях в России на 14 страницах. Я начал сомневаться в искренности российских политиков. Мне кажется, они хотят лишь для себя от власти побольше урвать. Демократы же, по-моему, дезориентированы и теряют единство. Думаю, Россию не минует термидор. Что касается западной помощи, то пока в России отсутствуют законы, гарантирующие частные капиталы, никто из серьезных бизнесменов вкладывать деньги в Россию не станет. Общее впечатление события в России оставляют совершенно безнадежное.

— Ваши суждения многим в России определенно не понравятся. Наверное, вы будете возражать против их публикации.

— Отчего же? Когда у меня взяли интервью в "Вашинг-

тон пост", мне это помогло получить первый заем в банке. Паблсити — великое дело! А относительно науки в России я честен: там до моей смерти ничего не изменится. И я туда больше не вернусь.

РОССИЯ ЕЩЕ УДИВИТ МИР

В редакцию журнала "Время и мы"

Уважаемый Виктор Перельман!

Откровенно говоря, письмо, которое я предлагаю Вашему вниманию, было послано перед этим в газету "Известия", опубликовавшую интервью академика Абрикосова, мимо которого не может пройти ни один честный и достойный ученый. У меня нет ответа на вопрос, почему редакция "Известий", претендующая на роль широкой демократической газеты, отражающей разные точки зрения на проблемы современного мира, оставила мое письмо без внимания. Поэтому прошу Вас опубликовать мое письмо, в несколько сокращенном виде, в вашем журнале.

Мне — 82 года. Я — радиофизик. Более 60-ти лет своей жизни отдал исследованиям — науке. С 1934 по 1987 год, с перерывом в один год, работал в двух ведущих институтах Академии Наук СССР и ранее с 1931 года в НИИ Министерства Связи.

Прежде всего хочу отметить, что по поводу интервью Абрикосова я долго беседовал по телефону с Юрием Орловым, который просидел за свою правозащитную деятельность в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа около десяти лет и который упоминается в интервью, я бы сказал, неприличным и кощунственным образом. Я также обсуждал это интервью с физиками из России, в частности, живущими сейчас в США. Среди них бывшие коллеги Абрикосова, академики, а также ученые более молодого поколения. Некоторые из этих людей знают академика Абрикосова несколько десятков лет.

Интервью есть интервью. Основную ответственность за него несет только автор, если его высказывания воспроизводятся без искажений. И очень хорошо, что это

интервью Абрикосова было опубликовано. Россия должна знать своих "героев"! Однако и американский читатель должен получать правильное представление о судьбе этой великой страны и о людях, которых постигло это трагическое переходное время, говоря физическим языком, фазовый переход из одного качества в другое.

Ответы Абрикосова и его вольные размышления по поводу вопросов корреспондента "Известий" циничны, безнравственны и даже лживы. У неосведомленного, неискушенного читателя создается впечатление, что перед ним образ "вундеркинда" в комнатных туфлях. На самом деле, А. Абрикосов представитель тех "перекати-поле", корни которых неглубоки в любой почве. Он хвастается тем, что больше не вернется в Россию. Что ж, выбор места жительства — в конце концов, личное дело человека. Но кто дал ему право навязывать свои взгляды другим, искажая при этом истинное положение вещей?

Самым большим достижением и преимуществом Абрикосова является то, что он был одним из многих учеников исключительно выдающегося, великого физика России Ландау.

Нельзя не отметить, что ответы Абрикосова оскорбляют людей, которые посвятили себя науке, особенно, науке России. Его высказывания настораживают американскую публику, дезориентируют наших коллег, которые хотели бы и стараются помочь россиянам.

Что касается его отношения к России, то мне хотелось бы сослаться на слова Иосифа Бродского, которые во многом резонируют с мыслями о судьбе российской науки.

"Россия — страна с огромными ресурсами, невероятными человеческими возможностями. И какой бы отток культуры, интеллигенции из нее не происходил, она рано или поздно из своих недр что-нибудь эдакое выдаст и всех удивит. Это, если угодно, количественный (и качественный — Я.А.) эффект. Это просто огромная страна, огромная культура."

Можно не сомневаться в том, что Россия воспрянет.

Так уже случилось после Октябрьской революции. В те годы было погублено множество выдающихся умов. Некоторые из них оказались в США, как, например, физик Владимир Зворыкин, изобретатель кинескопа, т.е. современного, даже цветного телевидения. Или, например, Степан Тимошенко, автор первостепенных работ по теоретической и прикладной механике. Этот процесс также происходил в годы сталинского террора, когда были уничтожены многие выдающиеся умы, как, например, выдающийся биолог Николай Вавилов, в те годы погиб и ряд прекрасных, талантливых физиков.

Лично я уверен, что, выйдя из кризиса и на этот раз, Россия продолжит свой путь в будущее и, выражаясь словами Бродского, еще многое "выдаст" из своих недр, продолжая удивлять мир.

*Профессор Яков Альперт,
Смитсоновский центр
астрофизики, Кембридж*

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ

Письмо в газету "Нью-Йорк Таймс"

Уважаемый редактор!

Как и многие мои коллеги, я возмущен безответственными и высокомерными заявлениями доктора Алексея Абрикосова, которые приводятся в статье Сергея Лескова "Советские ученые в Америке", напечатанной в газете "Нью-Йорк Таймс".

Моя судьба во многом схожа с судьбой доктора Абрикосова. Мне, как и ему, удалось выжить после крушения советской науки. В 1989 году, в то же время, когда он стал директором Института высоких давлений в Троицке, я получил тейньюру в Принстонском университете. Так же, как он, я сын академика, хоть и ненавидел свои привилегии и уехал из СССР для того, чтобы обрести свободу и независимость, а совсем не ради "хорошего питания", которое мой коллега так высоко ценит.

Я работал вместе с доктором Абрикосовым в Институте теоретической физики Ландау около двадцати лет. Я хорошо знаю те очереди за продуктами, о которых он говорит. Но ведь и ему, и мне известно, что к услугам советской элиты были закрытые распределители, один из которых находился, в частности, на Ленинском проспекте, в нескольких кварталах от дома Абрикосова. Там он и смог бы встретиться с доктором Роальдом Сагдеевым, хотя такая встреча, если она действительно имела место, выглядит скорее случайной. Лица, занимающие столь высокие посты, обычно посылали за продуктами своих персональных водителей или секретарш, предпочитая не тратить собственное время на подобные походы.

Приведенная в "Нью-Йорк Таймс" фраза доктора Абрикосова, что, делая науку, он оставался голодным, — это плохой перевод с русского (я читал его интервью в русской газете). Он хотел сказать, что он испытывал голод по научной работе, в том смысле, что ему хотелось сделать для науки больше, чем он сделал в России. Последнее я хорошо понимаю. Дело в том, что после первых успехов доктора Абрикосова в 50-х годах, когда он сделал действительно замечательные открытия, он не совершил в науке ничего подобно важного — ни в России, ни в этой стране.

Подобные вещи нередко случаются с талантливыми учеными, особенно с теми, кто начинал в ранней юности. Нечто подобное произошло и со мной. Да, в последние годы моей жизни в СССР я оказался перед лицом тех же проблем, что и он. Но мы не должны упрекать за это систему или наших бывших коллег?

Когда я приехал в США, моя продуктивность выросла, но большинство идей, которые я здесь развил, зародились в той, прошлой жизни, в том числе, и "в очередях за продуктами", о которых говорит Абрикосов.

Все, что нам, теоретикам, нужно, — это карандаш и немного белой бумаги, да плюс возможность вести дискуссии с коллегами. Все это мы имели в институте Лан-

дау. Я никогда не видел лучшего места работы, чем тогда, в начале 70-х годов.

Да, Россия сегодня действительно больна, но она жива. Она выжила в пору еще более тяжелого кризиса после революции, когда лучшие умы покинули ее, а оставшиеся были уничтожены Сталиным. Есть в самом воздухе этой страны нечто такое, что способствует рождению свежих талантов, сколь это ни странно на первый взгляд. Ведь вся научная элита, о которой говорит доктор Абрикосов, включая его самого, — есть продукт русской культуры. Человеческий род должен защищать свою культуру так же, как он стремится защитить леса от губительных дождей.

А чего стоит предложение Абрикосова "помогать подлинным талантам бежать из России, а остальных просто игнорировать"? Оно ведь явно отдает духом сталинизма. Это же Сталин манипулировал судьбами целых народов, переселяя их на окраины империи. Мы слышим призывы уехать, бежать. Но как быть с теми, кто любит Россию и скорее готов разделить с ней невзгоды, нежели покинуть ее? Как быть с теми, кто чувствует себя ответственным за свои лаборатории и институты, наконец, с теми, кто еще слишком молод, чтобы успеть наработать себе имя за рубежом? Доктор Абрикосов все это знает. Тогда в чем же причина его циничных заявлений? У меня есть ответ на этот вопрос. Мне и раньше приходилось слышать подобные вещи из уст эмигрантов, притом в большинстве своем — от людей малообразованных. Говорят это обычно тогда, когда просто нечиста совесть.

Нас действительно тревожит, что у нас здесь слишком сладкая жизнь и хорошая пища, а за нашей за спиной, в России, наши коллеги страдают. И есть только две возможности успокоить свою совесть: помочь этим людям или убедить себя в том, что они не нуждаются в твоей помощи.

*Александр Мигдал, профессор физики,
Принстонский университет, Нью-Джерси*

ОТ РЕДАКЦИИ

Не может быть двух мнений относительно нравственной позиции академика Абрикосова. Кажется, он и сам не очень верит в свою правоту, не скрывая в конце интервью, что ему нужна сенсация и во имя нее он готов эпатировать читателей и публику. Но у затронутой проблемы существует еще один аспект, который в пылу полемики, кажется, вообще не заметили оппоненты Абрикосова. Да, последний глубоко неправ, когда пытается похоронить российскую науку и русских ученых. Его призывы к талантам бежать из страны и забыть о тех, кто остается, аморальны. Но сколько бы мы не говорили о западной помощи, сколько бы не пели дифирамбы способности России генерировать таланты, — мы не уйдем от вопроса об ответственности самого российского общества и его правительства за бедственное положение науки. Вкупе с культурой. Вкупе с талантами, которые, конечно же, не перевелись на этой земле.

Сегодняшние российские лидеры без конца рассуждают о рынке и реформах, о демократии и переустройстве общества. Но о каком рыночном хозяйстве может идти речь, если в своем развитии оно не будет базироваться на достижениях науки и технологии? Уже не говоря о фундаментальных науках, которые стали первой и главной жертвой узко-прагматического подхода властей в их текущей экономической политике.

Нынче все больше российских граждан понимают, что нельзя без конца уповать на помощь Запада. Страна должна сама найти выход из тупика. Но велика ли цена правителям, которое в поисках этого пути игнорируют роль и значение науки, не вкладывают или почти не вкладывают в нее капиталы? Преуспее ли в своем развитии общество, в котором люди, работающие в науке, находят на грани нищеты? Конечно, трудно избавиться от неприятного ощущения, когда слышишь дифирамбы "качественной пище" от человека, претендующего на звание крупного ученого. Но столь же неприятно читать в газетах или слышать в телепрограммах о том, что зарплата милиционера обгоняет зарплату старшего научного сотрудника или профессора кафедры. Проза жизни? Да, проза. Но ведь согласимся: именно с этой "прозой" связана проблема утечки мозгов из современной России, может быть, одна из самых опасных проблем будущего страны. Где жить и работать вчерашнему советскому ученому — в своей стране или за границей? Для подлинных российских ученых, преданных науке и стране, которая их вскормила, не существовало двух ответов на этот вопрос. И если

люди советской науки продолжают покидать страну, то не является ли это само по себе горьким и тревожным симптомом глубочайшего кризиса? Пути выхода из него не найдутся сами по себе. Они не спустятся с неба и не возникнут по мановению волшебной палочки из воздуха. Их следует искать сообща всем — и тем, кто живет здесь и ощущает ответственность перед российской наукой, и тем, кто остался там, для того, чтобы у себя на Родине нести свою нелегкую ношу.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592 - 6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

**КРУШЕНИЕ ШЕРМАНА МАККОЯ,
ХОЗЯИНА ВСЕЛЕННОЙ**

*О романе Тома Вольфа "Огонь амбиций"**

Вряд ли блестящие отзывы американской периодики об этом романе могут объяснить, отчего я обращаюсь к нему сегодня, спустя более шести лет после его издания. Появившись на книжном рынке, "Огонь амбиций" мгновенно стал бестселлером, пережил несколько изданий, был переведен на иностранные языки. "Со времен Эдит Вартон, — отмечал "Нэшэнэл ревью", — никому еще не удалось показать нью-йоркскую жизнь с такой точностью и такой пронзительной силой". "Роман рисует безумный, сумасшедший мир, который представлял собой Нью-Йорк восьмидесятых годов" — это журнал "Пипл". "Один из наиболее впечатляющих романов нашего десятилетия" —

* Tom Wolf "The Bonfire of the Vanities", 1987

"Либрари Джорнэл". "Человеческая комедия, которая то возносит нас в небеса, то бросает в кабины нью-йоркских кэбов" — "Ньюсуик". "Автор переносит нас из ресторанных салонов Золотого берега в тюремные камеры Бронкса, из роскошных офисов Уолл-стрита на вечно наэлектризованные улицы Гарлема" — "Вашингтон Пост Бук уолд". Можно и дальше продолжить эти восторженные отзывы, но при всем их эмоциональном накале ни один из них не дает даже приблизительного представления о том, что именно выделяет "Огонь амбиций" из мощного потока современной американской литературы. Приходит в голову мысль, что, если бы роман был напечатан не в конце, а, скажем, в начале восьмидесятых годов, в эпоху так называемого застоя в СССР, то советские пропагандисты не постояли бы ни перед чем, чтобы перевести его на русский язык — показать народу истинно "звериный лик" нью-йоркских джунглей. Хотите узнать о гримах американской юстиции — узнаете из романа "Огонь амбиций", о распаде семьи — оттуда же, о расовой напряженности — да об этом весь роман! Все там: политизация жизни, коррупция, тайные заговоры, человеческая жестокость, нравы Уолл-стрита, — нет ничего такого, что могло бы внести мир в смятенную душу читателя, например, российского читателя, для которого, если и существует рай на земле, то им была и остается вожделенная Америка.

Начинается роман с того, с чего традиционно он и должен начинаться, — с описания жизни типичного героя американского общества, кстати, давно знакомого нам по литературе. Можно было бы сказать, что перед нами разновидность драйзеровского "гения", кружившего нам головы со школьных лет и перенесенного автором во вторую половину XX столетия. Сегодня он уже не "гений" — одиночка, он делает свои миллионы на Уолл-стрите и живет, естественно, на Парк-Авеню, в престижнейшем районе Нью-Йорка. Тридцативосьмилетний "восп" Шерман Маккой, выпускник Йельского университета, с аристократическим лицом и крупным, выда-

ющим породу подбородком, — таким мы видим героя уже на первых страницах романа, когда он выводит на ночную прогулку любимого пса Маршалла, провожаемый счастливой женой Джуди (талантливым и преуспевающим декоратором) и не менее счастливой двенадцатилетней дочерью Кэмбэлл, обожающей миллионера-отца. Здесь же мы узнаем, что он занимается многомиллионными операциями по продаже и покупке бонд в международной компании "Пирс энд Пирс", на 50-ом этаже Уолл-стрита, имеет Мерседес за 48 тысяч долларов, живет в квартире ценой в два миллиона шестьсот тысяч долларов. На нем — великолепно сшитый английский костюм за 1800 долларов, туфли стоимостью в 600 долларов, мебель и одежда ему обходятся в 65 тысяч долларов в год, прислуга в 62 тысячи долларов, обучение Кэмбэлл в лучшей частной школе Талиаферро — 35 тысяч, гараж на две машины — 800 долларов в месяц. При таком воистину могуществе не станем удивляться тому, что автор романа с первых страниц называет его Хозяином Вселенной ("Мастер оф де Юниверс"), хотя нам еще придется увидеть, как смысл этого понятия силой авторской иронии превратится в свою противоположность. Кстати, когда он выгуливает по Парк-Авеню Маршалла, уже случается казус, который невольно настораживает читателя — как, в сущности, мало надо, чтобы привести в смятение душу Хозяина Вселенной. Пока мы еще остаемся в неведении, с какой целью автор в проливной дождь отправляет своего героя на эту ночную прогулку. Но вот Шерман привязывает пса возле телефона-автомата и набирает номер своей любовницы, о которой нам лишь известно, что ее имя Мария и что для своих тайных свиданий она снимает на Пятой Авеню небольшую квартирку. Но, видимо, так устроен мир, что сюрпризы поджидают человека за каждым углом, будь он трижды Господин Вселенной.

Маккой звонит Марии, чтобы предупредить о своем желании навестить ее, но — надо же такому случиться! — машинально набирает свой собственный номер и в ответ слышит растерянный голос жены. Какую Марию? Шер-

ман? Кому ты звонишь? Вот, собственно, и все происшествие, из-за которого он является к любовнице вконец расстроенный, ибо уверен, что в его ничем не омраченной семейной идиллии теперь появятся проблемы. Встретившая его у дверей ослепительно прекрасная и самоуверенная Мария просто не может понять его волнений. Внешне она напоминает гречанку или итальянку, если бы не ее танцующая походка и ни на минуту не закрывающийся рот девочки из южных штатов. Узнав о случившемся, Мария искренне поражена — какие еще проблемы? Пусть Шерман берет пример с нее! Она-то никогда не лжет мужу (семидесятидвухлетнему миллиардеру Арнольду Раскину), а просто избегает ему рассказывать о малозначительных вещах в своей жизни.

Каунти-билдинг

Так завязывается сюжет романа, точнее, главная его линия. Она-то позже и выльется в интригующую драму, которая, по выражению "Нью-Йорк Таймс Бук Ревью", будет "крепко держать читателя за лацканы пиджака". Но параллельно возникает другая линия, если угодно, другой сюжет, берущий начало на противоположном полюсе объятых страстями и вечно бурлящего Нью-Йорка. Появляются другие герои, действующие в Южном Бронксе, под крышей местного муниципального билдинга, или, как его называют здесь, Каунти-билдинга, откуда недремлющее око закона ведет непрестанное наблюдение за происходящим вокруг. Тут размещается Верховный суд Бронкса, Бюро расследований, Бюро убийств, Высший уголовный суд, Суд апелляций... Тут осуществляет свою деятельность всемогущий прокурор округа, дистрикт-атторней Аба Вайс, изменивший свое имя на Ричарда Вайса, поскольку 75 процентов его избирателей — это негры и пуэрториканцы.

По утрам к железной двери Каунти-билдинга припарковываются тюремные вэны с решетками на окнах. Ежегодно со всех концов Южного Бронкса сюда свозят 40

тысяч уличных грабителей, воров, насильников, наркоманов, алкоголиков, психопатов, из которых как минимум семь тысяч становятся объектами судебного разбирательства. Каждую неделю в офисах Каунти-билдинга заводится 150 новых уголовных дел. Именно сюда в Каунти-билдинг Южного Бронкса на трэйне "Д" городского сабвея приезжает другой герой романа, еврей Лари Крамер, один из многочисленных помощников прокурора округа Абы Вайса. Серые, унылые будни Крамера даже отдаленно не напоминают блестящую жизнь Шермана Маккоя. Зарботок Крамера 51 тысяча долларов в год (41 тысяча — после налогов). Вместе со своей рыжей женой Родой (которую он тихо ненавидит), недавно появившимся на свет бэби и нянькой-англичанкой Глендой он проживает на 77-й улице, проходящей по Западной стороне Централ-ларка.

Квартира Крамера, состоящая из трех с половиной комнат с окнами, выходящими на стену соседнего дома, обходится ему всего в 888 долларов. Он платил бы за нее 1500 долларов, если бы их дом не находился под рент-контролем. На работе Крамер появляется в старом непромокаемом плаще, одетом поверх такого же поношенного серого костюма. На нем дешевые сникерсы фирмы "Найк" с белыми нашлепками по бокам. Туфли на кожаной подошве, которые он переодевает в своем офисе, он носит в пластиковом мешке с маркой супермаркета "A&P".

Жизнь Южного Бронкса не может не наложить отпечатка на нравы работающих в Каунти-билдинге, которых связывают весьма непростые отношения — итальянцы не любят ирландцев, ирландцы — итальянцев, и те, и другие завидуют евреям и не перебаривают пуэрториканцев и негров, — единственное, что объединяет всех, — это сладость власти. Над теми, кто угодил в жернова местного правосудия. Ненависть порождает ненависть. И вместе с ней страх. Страх лишиться власти и теплого местеч-

ка. И комплекс неполноценности. Именно он и сдает Крамера, хоть и окончившего Йельский университет, но так и не сделавшего настоящей карьеры. В отличие от успешного Маккоя, Крамера не оставляют мучительные мысли о его еврействе и неудачно сложившейся жизни, в которой его уже ничто и никто не радует, разве лишь присяжная заседательница красотка Шелли Томас, с коричневой помадой на губах, видя которую Лари всякий раз теряет голову.

Крамер завидует всему миру — прокурору округа Вайсу и шефу бюро убийств Берни Фицгиборну и судье Ковецкому, самому умному в Каунти-билдинге, и даже двум своим полуграмотным детективам Мартину и Гольдбергу, которых он посылает на самые грязные дела. Он давно пришел к выводу, что Нью-Йорк — это ад, а работающие с ним рука об руку итальянцы — это свиньи, а ирландцы — мулы или козлы, а вся жизнь — это драма, которая заключается в том, что евреи воюют с гоями, а гои — это животные. В течение пяти лет Бюро убийств, считающее себя элитой Каунти-билдинга, было анклавом ирландцев, анклавом животных, и Лари Крамер был одним из первых евреев, проникших в этот анклав, и он гордится тем, что он единственный еврей, который работает среди животных.

Читателю пока не понятно, какая связь между блистательной жизнью Маккоя и его окружения на Парк-Авеню с серыми буднями богом проклятого Каунти-билдинга, олицетворением которого является Лари Крамер. Весь дальнейший сюжет — это постепенное сближение этих двух полярных потоков жизни, пока на перекрестке не произойдет короткое замыкание и взрыв, и Хозяин Вселенной не окажется во власти еврейского неудачника Крамера, для которого тогда и наступит "звездный час", час мести за всю свою серую, несложившуюся жизнь. Впрочем, я, кажется, упрощаю: роман слишком многослоен, чтобы через конфликт двух главных героев постиг-

нуть глубину предлагаемого материала. Поднять все его пласты, кажется, вообще невозможно, но попробуем все же через них пройти. Не спеша, от события к событию, извинившись перед читателем за нескончаемые подробности.

Опасный поворот

Как уже сказано выше, словам "Хозяин Вселенной", относящимся к Шерману Маккою, автор явно хочет придать противоположный смысл. Слаб человек. Он слаб от природы в силу греховности природы. И еще более слаб перед лицом обстоятельств жизни, перед лицом случая, который поджидает его за каждым углом. Нелепый звонок Маккоя был только предостережением о возможной опасности, некий дорожный знак, напоминающий притаившуюся змею, — помните этот знак "опасный поворот". Но этот первый звонок, после которого Джуди поняла, что у Шермана есть любовница, кажется, сходит ему с рук, хотя она никогда не простит ему этого открытия. Второе происшествие произошло безо всякого предупреждения и, как ни странно, именно в результате несчастного поворота, в самом центре Нью-Йорка. Когда Маккой в этот вечер свернул с шоссе, он, конечно, не подозревал о последствиях, как и не предполагал, что совершенно случайно окажется в Южном Бронксе, где никогда в жизни не бывал. Но все последующее можно лишь с оговорками отнести на счет случая. Даже в том, что он снова оказался наедине с царственно обворожительной и наглой Марией, похоже, присутствовал рок — или роковой окажется сама ее натура, что откроется ему слишком поздно?

Итак, встретив Марию в аэропорту Кеннеди, после ее путешествия по Италии Шерман в отличном расположении духа следует с ней в своем черном Мерседесе на Пятую авеню. Все обдумано заранее. Джуди он сказал, что в этот вечер он домой не вернется. Еще 30-40 минут, и, укрывшись в квартире Марии от взглядов всего мира, они смогут предаться прелестям любви. Все бы так и

произошло, если бы, миновав Трайборо-бридж и пытаясь объехать трафик, Шерман не свернул с шоссе, затем сделал еще поворот и еще, и неожиданно машина оказалась в Южном Бронксе. Тщетно они мечутся между перекрестками, пытаясь вернуться назад, — вокруг быстро темнеет. На безлюдных улицах какие-то брошенные с черными глазницами окон дома. Жизнь вымерла. Не в силах выбраться и застряв на темном и неизвестном перекрестке, они вдруг с ужасом видят, как прямо на них идут двое негров: один — щуплый и молоденький с простодушным детским лицом, другой, напротив, великан с физиономией матерого уголовника.

Перед колесами Мерседеса возникает странный, жутковатый предмет, в котором они с трудом различают автомобильную покрывку, и затем голос уголовника: "Эй, мужчина, тебе нужна помощь?"

Я специально, вслед за автором, описываю их ночное происшествие со всеми подробностями — позже каждая из них станет жизненно важной для Шермана. Выскочив на миг из машины, Маккой поднимает с земли покрывку и бросает ее в сторону негров. Мария пересаживается за руль и включает скорость. О том, что один из злоумышленников ими сбит, они догадываются тотчас — слишком пронзительным был звук удара по человеческому телу. Охваченный смятением, Маккой говорит, что о случившемся надо срочно рапортовать в полицию. Мария, напротив, сохраняет присутствие духа и пытается его успокоить. Кажется, сама логика на ее стороне: о чем рапортовать? Как в полиции объяснить, почему они в этот час оказались вместе? Вряд ли те откажут себе в удовольствии начать копать своими грязными руками в их жизни. И что, собственно, произошло: подвергнувшись в джунглях нападению, они защищались. Он, Шерман, защищал ее и показал себя настоящим мужчиной. К тому же, чего ему волноваться? Это ведь она, а не он сидел за рулем, когда сбили негра. Шерман, хоть и не очень решительно, стоит на своем: при всех случаях лучше сообщить! По закону, если они заявят в течение 36

часов — это будет рапорт, после 40 часов — признание в содеянном. Но, с другой стороны, ведь и впрямь не он, а Мария сидела за рулем, ей и принадлежит решающее слово — как им поступить в создавшейся ситуации.

Человек с глазами добермана-пинчера

Похоже, именно с этого момента и начинается детектив. Из-за охватившей Маккоя тревоги мы не можем не почувствовать, что дело хорошим не кончится. А с другой стороны, все ведь случилось ночью, в Южном Бронксе, где и не такие дела оставались нераскрытыми. С какой стати полиция, не имея свидетелей, станет впутываться в эту сомнительную историю? Мы еще увидим, как Крамер и его коллеги будут отбиваться от ведения этого дела. Но нет, не отобьются, ибо вмешались силы, заставившие их действовать с таким энтузиазмом, которого еще недавно от них невозможно было ожидать. Детектив оставливается, и сюжет, уже взявши читателя "за лацканы пиджака", неожиданно утекает в другие материи, вызывая к жизни новых героев, не имеющих отношения ни к полиции, ни к Каунти-билдингу, ни к дремлющему оку закона.

В этом месте следует назвать один блестящий прием, используемый автором — неизменно присутствующий фон событий. Этот фон — непрекращающиеся беспорядки в Гарлеме. О них изо дня в день вещает нью-йоркское телевидение, без выводов, без сентенций — рутинные телепортажи, проходящие красной линией через весь роман. (Позже мы узнаем, что на самом деле означал этот фон.) Так или иначе нас не должно удивить появление на авансцене черного проповедника, известного негритянского пастора Реверенда Бэкона, человека с глазами добермана-пинчера.

Автор предлагает читателю антракт, чтобы тот спокойно и непредвзято взгляделся в этого живого, энергичного, озабоченного положением своих черных братьев челове-

ка. О нем мало говорится, зато без конца цитируются его речи. О том, что жителям Гарлема необходима "всеобщая солидарность труда", что нужно распахнуть перед ними "ворота в королевство Церкви", Гарлем — это гигантский котел с горячим паром, которым надо умело управлять, то есть перевести его на рельсы бизнеса, превратить его в брокера, предлагающего работу миллионам своих жителей. Черному населению нужна помощь. Нужны новые проекты, помогающие использовать энергию пара с максимальной отдачей. Разве это не странно, что в многочисленных ресторанах Манхэттена не встретишь черного официанта? И постепенно, будто даже против желания автора, перед нами вырастает хорошо знакомый по телепередачам образ народного трибуна. Сколько таких, как он, мы видим на экранах, манипулирующих социалистическими лозунгами и провозглашающих себя единственными защитниками прав черного населения!

Но на одних рассуждениях о народной солидарности и энергии горячего пара далеко не уйдешь — нужно нечто большее, способное всколыхнуть наэлектризованную толпу. Нужен неутраченный скандал, в котором бы неизменно присутствовали охваченные ненавистью к неграм белые расисты и их невинные черные жертвы. Необходимо вмешательство печати, адвокатов и телевидения, чтобы скандал, как снежный ком, начал обрастать фактами и версиями и, доведенный до апогея, вылился в массовые беспорядки, способные влиять на жизнь общества, как это недавно происходило в Лос-Анджелесе.

...Итак антракт окончен. Окончен как раз к месту, и, вырвавшись на стремнину, сюжет снова набирает скорость. Выступая с бесконечными речами, Реверенд Бэкон не упускает случая поведать присутствующим о потрясшей его истории: на днях к нему обратилась одна из лучших его сотрудниц Анна Лэмб и поведала о своей горе — ее сын Генри, ученик средней школы (из "Эдгара По проекта"), мирно идущий по Брукер-бульвару в свой любимый "Фрайд Чикен", был сбит Мерседесом, за рулем которого сидел неизвестный белый. По словам Анны, ее

сын, которому в Линкольн-госпитале даже не удосужились оказать помощи, уже несколько дней при смерти.

За рулем сидел один из нас...

Итак, Реверенд Бэкон не устает подогревать себя и других. Дело Лэмба становится делом его жизни ("Преступника надо найти! Во что бы то ни стало! Найти и наказать! Бросить на это все силы! Если откажется полиция, народ это сделает сам!"), — так вот, для начала он соединяется по телефону с членом парламентской ассамблеи Бронкса Йозефом Леонардом. Последний звонит дистрикт-атторнею Вайсу. Вайс возмущен до глубины души, тем более у него через несколько месяцев выборы. Он приглашает к себе в кабинет сотрудников Бюро убийств, в том числе нашего старого знакомого Крамера, и предлагает начать расследование. Крамер, однако, полон скепсиса (правда, из сообщения Анны Лэмб выясняется, что Генри, перед тем как потерял сознание, успел назвать матери две первые буквы на номере машины), но как проверить сотни, а то и тысячи нью-йоркских мерседесов? И, главное, нет свидетелей. Ни одного! Что можно выколотить из этой истории, кроме проблем на собственную голову! Лари еще не знает, что перед тем, как его детективы Мартин и Гольберг начнут объезжать нью-йоркские гаражи, у умирающего Генри появится сподвижник Бэкона адвокат Альберт Фогель. И начнет он с того, что пригласит на ланч корреспондента нью-йоркской газеты "Сити Лайт" англичанина Питера Фаллова

Последнему в романе уделяется много страниц: от того, как поведет себя пресса, зависит исход дела... Нью-Йоркская пресса повела себя так, как и должна была повести, будучи представленной такими, как Питер Фаллов. Большую часть времени мы видим его валяющимся после очередного запоя в своей нью-йоркской берлоге и по обыкновению прозябающим без пенни в кармане, запутавшимся в долгах и всегда готовым прокатиться на чужой счет. Поистине Альберт Фогель, выполняющий поручение

Бэкона, знал, к кому обратиться со своей щекотливой просьбой — поднять на страницах газеты дело, о котором ни он сам, ни его босс Бэкон, ни тем более автор будущих репортажей Питер Фаллов не имели ни малейшего представления.

Единственное, что Фаллов понял, — начинать надо с жертвы, с Генри Лэмба, и в одну из суббот он звонит учителю Генри мистеру Ривкинду в город Хевлет, о самом существовании которого он до сих пор не подозревал, как, впрочем, и учитель английского языка Ривкинд — о существовании газеты "Сити Лайт", корреспондентом которой представился Фаллов.

Имя Генри Лэмба его учителю Ривкинду ни о чем не говорит, и Фаллов, рассказав ему о постигшем юношу несчастье, принимается расспрашивать, не является ли Генри, с его, Ривкинда, точки зрения, выдающимся студентом.

— Я чувствую по вашему акценту, мистер Фаллов, что вы не из Нью-Йорка и, потому, не слышали о школе полковника Якоба Рупперта в Бронксе, где вообще не может быть выдающихся студентов. Но что правда — то правда, Генри — тихий, покладистый парень и никогда не делает проблем.

— А что мистер Ривкинд скажет о нем как о хорошем студенте?

— Слово "хороший" для учреждения Рупперта также не очень уместно. Главное для нас — посещает или не посещает студент школу.

— Мать Генри рассказывала Фаллову, что ее сын собирался поступать в колледж.

— Она, наверное, имела в виду Сити-колледж Нью-Йорка, где проводится политика открытого приема. Если вы кончили школу и хотите пойти в этот колледж, вас примут в любое время!

— А как у Генри Лэмба с письменными работами?

— С письменными? — откашливается Ривкинд. — Дело в том, что в школе Рупперта не было ни одной письменной работы за 15 лет, может быть, за двадцать. Главное для

наших студентов чтение и понимание прочитанного. Конечно, мистеру Фаллову, как англичанину, все это трудно представить, он думает о почетных студентах и их высоких достижениях. У Рупперта почетный студент — это тот, который ходит в школу и учится читать и считать.

— Как я понимаю, это ваш стандарт, — не отступает Фаллов, — так вот при таком стандарте является ли Генри Лэмб почетным студентом?

— При таком стандарте — да, является! — соглашается, наконец, Ривкинд.

Между тем, Маккой не находит себе места, пытаюсь отогнать тревожные мысли. Легко представить, какой его охватил шок, когда в своем офисе на Уолл-стрите, он случайно увидел валявшуюся на полу газету "Сити Лайт" с репортажем Питера Фаллова. Вначале бросился в глаза подозрительный заголовок: "Мать почетного студента обвиняет полицию в бездействии". Далее шел текст репортажа: "Мария Лэмб, мать почетного студента Генри Лэмба, сбитого в Южном Бронксе неизвестным Мерседесом и находящегося при смерти, обвиняет нью-йоркскую полицию в том, что она ничего не делает, чтобы разыскать преступника..."

С этого дня материалы Питера Фаллова не сходят со страниц "Сити Лайт". Вскоре подключается первый и седьмой канал телевидения, по которым передаются репортажи о первых демонстрациях протеста. Маккой видит эти демонстрации чуть ли не каждый день. Ни о чем не подозревающие Джуди и его дочь Кэмбэлл их тоже видят, как толпы негодующих людей скандируют: "Народ требует принятия мер в деле Генри Лэмба!", "Чего мы хотим? Справедливости! Что мы получаем? Расизм!".

В ужасе Хозяин Вселенной не знает, что предпринять. Кому он может поведать об этой позорной истории, которую какие-то силы специально нагнетают? И в довершение всего эта несчастная связь с Марией!

Как это часто происходит в жизни, начинаются и другие неприятности. На этот раз на работе, в компании "Пирс энд Пирс", которая из-за небрежности Маккой терпит

миллионные убытки. Босс пытается оставаться вежливым, но Шерман чувствует: над головой сгущаются тучи. Единственно, с кем он может поделиться, — это Мария. Он с трудом дозванивается ей. Она сохраняет хладнокровие. Пытается успокоить Шермана, но уже не повторяет сказанного ею в ту несчастную ночь в Бронксе: чего ему волноваться — за рулем-то сидела она, а вдруг говорит: "За рулем-то сидел один из нас!" А кто именно, ни одна душа в мире, кроме них двоих, не узнает...

Закон повторяемости

Читая историю Маккоя, происшедшую в восьмидесятые годы в демократической Америке, я невольно ощущаю родимые запахи прошлого. Всего я ожидал в этой стране, но только не того, что и здесь, так же, как при родном социализме, могут фабриковаться такие дела — политические, не политические, уж не знаю, куда отнести расовые проблемы Америки.

Оказывается, и в новую эпоху, при совершенно иных исторических обстоятельствах могут оживать призраки тридцать седьмого года, и демократия тут не становится противоядием. Напротив, одно может сосуществовать с другим, и, стало быть, дела эти не являются порождением лишь социального строя (сталинизма, маоизма), а проистекают, возможно, из самой природы человека*: из его врожденной неприязни к себе подобным, из его пристрастия к мифам, к расовым идолам, из тяги к объединению в обезчеловеченные толпы — коллективы, которыми мы через край насладились и в тридцать седьмом году, и до него, и после. Наслаждаемся по сей день, уже в новой, посткоммунистической России. Там-то понятно: коммунистическое наследие и прочее, а здесь, в демократичес-

*Достаточно вспомнить широко известное эссе Артура Кестлера "Человек — ошибка эволюции".

кой Америке, откуда? Малоприятная аналогия, но нам от нее никуда не уйти.

Вернемся, однако, к нашему сюжету, точнее, к его драматическому концу. Маккой, к которому на Парк-Авеню явились детективы Мартин и Гольдберг, настолько потрясен, что долго не решается к ним выйти. Он отказывается проводить их в гараж, чтобы показать свой Мерседес, опасаясь, не осталась ли на крыле автомобиля вмятина. Даже внешне он не в состоянии сохранить самообладание. Теперь у следствия почти нет сомнений, что он и есть тот, кто сидел в ту ночь за рулем. Единственно, что смущает Крамера, — отсутствие свидетелей! Кто-кто, а он-то понимает, сколь рискованно идти без свидетелей к присяжным. И к этому прожженному судье Ковецкому.

И что же? Свидетель является! Единственный, который все видел и даже слышал, что за имя произносила сидящая в машине брюнетка: "Шу-у-у-ман...!", то есть и ребенку ясно: Шерман! Свидетеля к Крамеру привезли тепленьким, прямо из тюрьмы, где за очередную сделку с наркотиками его ожидал приличный срок. Так вот, этим свидетелем оказался тот, второй, с лицом уголовника, по имени Ролланд Оберн, бросивший под колеса Мерседеса покрышку и сотрясший воздух криком: "Эй, мужчина, нужна помощь?"

К Крамеру Оберна привез его адвокат. Крамер допрашивает его лично — и за помощь следствию обещает сократить срок. Услышав из его уст "Ш-у-у-ман", он понимает, что дело следует считать законченным. Шермана Маккоя можно брать!

До выборов оставалось всего ничего, и Аба Вайс после доклада Крамера озабочен лишь одним, как эффектнее, с громом фанфар, арестовать этого Маккоя. На карту поставлена вся его жизнь, то есть быть ему окружным прокурором или не быть. Слишком отчетливо в его памяти звучат крики разъяренной толпы: "Юстиция Вайса — это юстиция белых! Справедливость Вайса — это справедливость для белых. А что остается черным? Черным остается расизм".

Теперь ему будет, что сказать избирателям, и он скажет именно то, что нужно: "Бронкс — это не просто один из районов Нью-Йорка! Бронкс — это лаборатория человеческих отношений!" Что же до ареста Маккоя, то он его возьмет с помпой, в собственной его квартире, на Парк Авеню, в присутствии семьи и соседей, с журналистами из всех нью-йоркских газет и каналов телевидения.

Ночью Маккой не в состоянии сомкнуть глаз, его мучает сердцебиение, а в висках непрерывно стучит мучительная фраза: "Ай эм гоинг ту джейл! Ай эм гоинг то джейл! Меня ждет тюрьма! Меня ждет тюрьма!"

Чтобы избежать позора, утром он одевается и уходит из дома, пытаясь перед этим хоть как-то объяснить случившееся жене и дочери. Они не в состоянии что-либо понять, они просто не верят ему.

Взяли его на улице. Все было необыкновенно просто. К тротуару подъехал двухдверный "Олдсмобиль Котлас". В человеке, сидевшем за рулем, он узнал детектива Мартина. Другим был усатый толстяк детектив Гольдберг. Он сидел рядом с Мартином. Шермана усадили сзади.

По Парк-Авеню доехали до 95-й улицы, паосле чего детектив Гольдберг повернулся к нему и неизвестно зачем стал рассказывать о своей дочери, она учится в средней школе и очень любит читать. Недавно она прочла книгу, которая бы очень пригодилась Маккою в его работе в фирме "Пирс энд Пирс". "Что за книга? Как называется?" — интересуется Шерман. "Убийца Маня, или что-то в этом духе!" — дружески улыбается Гольдберг и просит Шермана протянуть руки, чтобы надеть наручники.

У здания уголовного суда в Бронксе их уже ждала толпа: "Эй, Шерман!", "Сюда, Шерман!", "Что там твоя брюнетка!", "Нравится ли тебе теперь этот коктейль-парти?".

Согласно тюремным правилам велели вывернуть карманы, снять ремень и шнурки. Когда он раскинул при обыске руки, с живота стали съезжать брюки. В камере, набитой нью-йоркским сбродом, нечем было дышать. С трудом, в полуобмороке, поддерживая брюки, он вдруг

почувствовал боль, пронзившую указательный палец, и, к своему ужасу, увидел блеснувшую на руке мышь.

Наконец, присяжные принимают решение — до суда отпустить его под залог. Он выходит из здания, и его снова встречают криками: "Никакого залога — в тюрьму его! Убийца! Пусть получит то, что получил Генри Лэмб! Время твое кончилось!".

Крушение Маккоя и "грядущий хам"

Вот так, страница за страницей, в романе возвышает голос толпа, которая на самом деле никакой не фон, а персонаж действующий, влияющий на всю жизнь Нью-Йорка. К "народу" апеллирует мэр города. К нему без конца обращается Реверенд Бэкон. Его мести страшится даже окружной прокурор Аба Вайс. Но если бы это было только в романе! Ведь то же и в жизни — нарастающая сила толпы, перед которой — давайте же взглянем правде в глаза! — пасует и американская юстиция, и печать, и конгрессмены, и партийные лидеры, и наш уважаемый демократ-президент.

В конце романа газета "Дейли Ньюс" выдвигает другую, куда более убедительную версию гибели Генри Лэмба. Двое черных преступников пытались напасть на сидящих в Мерседесе. И судья Ковецкий пытается внести в разбирательство здравый смысл, но бушующие вокруг демонстранты ему не дают этого сделать. Обвинитель Лари Крамер не желает слышать никаких аргументов. Он выступает не только против убийцы Лэмба, но против юстиции Парк-Авеню. Народ против Маккоя — вот в чем он видит смысл процесса. И силу свою черпает не в поддержке закона, а в поддержке улицы, готовой линчевать самого судью, представляющего юстицию Парк Авеню.

Я говорю о некоей второй власти, действующей в обход конституции, власти никем не избранной, но существующей фактически, плюющей на правопорядок и диктующей обществу, как ему жить. И это не только уличные массы, подобные тем, что жгли и громили Лос-Анджелес. Это и

"народные вожди", как назван в романе Реверенд Бэкон, умеющие и говорить с "народом", и подстрекать его на беспорядки. За недостатком места не стану приводить примеры. Думающий читатель легко найдет их сам.

Мы хорошо знаем, куда привели русский народ его вожди и трибуны. Эпохи меняются, но остается психология толпы, пусть другой толпы, (тут не обходится без поправок истории), но это та же охлократия, тот же "грядущий хам", который, в каком бы лике не предстал, есть исторический парафраз большевизма. Он наступает не благодаря своей силе, но благодаря слабеющим устоям общества. Как мы общество ни назовем — капитализм, свободный мир или просто общество изобилия — от него все меньше приходится ждать, если его представляет такой Хозяин Вселенной, как Шерман Маккой.

Есть в конце романа сцена — снова с участием Шермана и Марии — после которой чувствуешь не просто его крушение — но куда больше: полный распад личности. Подозревая, что Мария предаст его и начнет сотрудничать с обвинением, адвокат предлагает Маккою записать ее слова на пленку, спрятав под пиджаком диктофон. Шерман на это идет, и чтобы вызвать ее на откровенность, разыгрывает приступ страсти, пока оказавшаяся в его объятиях Мария вдруг не обнаруживает на его спине провод. На лице ее выражение ужаса. "Шерман! — ты отпетый, — кричит она, — бессовестный мерзавец!" Он пятится к двери. Идиотизм случившегося вкупе с собственной подлостью лишают его последней надежды на спасение. Единственное его желание — сгнить, умереть на месте. "Господин Вселенной"! — с сардонической усмешкой заключает автор.

Когда-то на заре капитализма истинные Хозяева Вселенной создали эту цивилизацию. Наш герой даже не в состоянии объяснить дочери, какого рода деятельностью он занят, и что такое бонды, на торговле которыми он нажил состояние.

Нынче кризис современной Америки зондируется с разных точек зрения. Автора романа занимает внутренний

мир героя, опоясанный метастазами, куда более опасными, чем наркотики, преступность или безработица. Авторское сочувствие герою, жалость к нему, оказавшемуся в камере в наручниках и в брюках, сползающих с живота, не снимает главного вопроса: зачем Хозяин Вселенной вообще появляется в этом мире?

Из эпилога мы узнаем, что имущество Маккоя продается с молотка. Демократические организации Бронкса отказываются рекомендовать кандидатуру судьи Мирона Ковецкого на очередных выборах. По иску адвоката Фогеля матери покойного Генри Лэмба присуждается компенсация в 12 миллионов долларов. После смерти последнего окружной прокурор Аба Вайс возбуждает против Маккоя новое дело. Но отстраняет от него Крамера. Правда, не за нарушения закона, а за попытку выбить у ленд-лорда для себя и красотки Шелли Томас "любственное гнездышко", находящееся под рент контролем. Что еще? Ах, чуть не забыл! Питеру Фаллову присуждают высшую журналистскую премию Пулицера за серию репортажей о деле Генри Лэмба, и вместе со своей невестой, дочерью издателя "Сити Лайт", он отправляется в путешествие по Эгейскому морю. Последнее меня как читателя развеселило больше всего.



Елена ИГНАТОВА

ВЕНЕДИКТ

Мы познакомились в 1973 году, зимой. Я приехала в Москву и остановилась на несколько дней в мастерской у своего друга, художника. Жил он на окраине, у черта на куличках, в Чертанове, однако гости в доме не переводились, и хозяин с законной гордостью говорил, что у него бывает "вся Москва". По утрам я просыпалась от стука в дверь и громкого пения: "Как прекрасен этот мир, посмотри..." В один из дней прекрасного мира здесь появился и Венедикт.

Нагрянула очередная компания: румяный молодец в дубленке, барышня с повадками "роковой" и тихий, несколько старообразный человек, похожий на колхозного счетовода. Последним в коридоре топтался Венедикт — на две головы выше всех, без шапки, с сеткой бутылок в руке. Он дождался, пока остальные разденутся, бережно поставил сетку и скинул свое пальтецо поверх дубленок и шуб.

И потом много лет мне казалось, что пальто это —

пролетарское, подбитое ветром, с короткими рукавами — оставалось у него неизменным; в таких же — от первых холодов до раннего тепла ходили по Москве мои друзья — поэты. Венедикт в любой компании выделялся высоким ростом, замечательной русой с проседью шевелюрой — и этим пальто переростка.

Появление новых гостей в застолье всегда немного театрально. Человек входит с возгласом изумления при виде общего сбора. Ему отвечают радостными кликами. Он шумно усаживается, ему со всех сторон протягивают закуски, наливают стакан, он в центре внимания. Венедикт в больших компаниях держался скованно и несколько замкнуто, не стараясь привлекать к себе внимания. Он не терпел фамильярного обращения в стиле "Венички", но и к солидной манере в стиле "мы, мужики" относился иронически. Такой "мужик" тяжело подымался с места или тянулся через весь стол с рукопожатием, цедил суровое приветствие и, насупленный, возвращался на место. — А, — безмятежно откликнулся Венедикт, — и ты здесь, здорово, — но тон его был легковесен. Да и сам он был ироничен, насмешливо-зорок и совершенно не-солиден.

Единственный ритуал при появлении в гостях он исполнял неизменно и со вкусом — "приношение даров". Со сдержанным торжеством вынимал из сетки или портфеля бутылки — не все сразу, но с паузами, давая время нарадоваться и налюбоваться каждой... Если бутылка была одна, эффект не снижался: он ставил ее на стол королевским жестом — так в деревне выставляют среди мутного самогона бутылку настоящей "белой головки" из магазина.

Пьянел Венедикт быстро, но, не зная его, это трудно было заметить: разве что движения его, вообще неторопливые, становились еще более замедленными и осторожными да реплики более отрывистыми и ядовитыми.

Но в вечер нашего знакомства он был благорасположен и говорлив, царственно оделял гостей водкой и выслушивал хвалы "Москве-Петушкам" и цитаты из них. Это

было время его славы, он был окружен почтением и любовью.

Я спросила, можно ли смешивать коктейли по рецептам из "Петушков"? Он с комическим ужасом заклинал не делать этого (это же литература, художественный вымысел!) — не сбивать смеси веточкой жимолости — но только сирени, в крайнем случае, бузины.

Посиделки были литературные, все, кроме Венедикта и тихого прозаика, похожего на счетовода, читали стихи. Затем тот достал из потертого портфеля папку и, вздыхая и помаргивая, прочел несколько поразительных рассказов. Жесткий колорит "Москвы-Петушков" по сравнению с ними казался почти пасторальным. Там был свальный грех дегенератов, ребенок с отрезанными руками и невеста что еще.

— Откуда Вы берете сюжеты? — нелепо спросила я.

— Из газет, — кротко ответил прозаик и даже показал какие-то вырезки из "отдела происшествий".

Единственный, кто в этот вечер ничего не читал, был Венедикт. Он слушал внимательно, с усмешкой, отмалчивался, подливал водки. Часов в одиннадцать гости забирались, засуетились: ехать из Чертанова — целое приключение. Один Венедикт словно не замечал общего бегства, ему спешить было некуда — в Москве у него не было жилья.

Шумное прощание, хозяин с Венедиктом устроились допивать, а я отправилась спать. Проснувшись под утро от хлопанья дверей и шума на кухне. Хозяина сморило, Венедикт остался в одиночестве и слонялся по большой запущенной квартире в ожидании утра и первых автобусов. Мне тоже знаком этот печальный момент, когда все разъезжаются, последние говоруны и хозяйева засыпают, и ты внезапно остаешься в одиночестве среди сора и грязной посуды, как в заброшенных декорациях.

Я вышла на кухню и увидела очень печального красивого человека, сидевшего пригорюнясь, подперев ладонью щеку. Снежный сумрак, сиротский пейзаж окраины, глухая обложная тишина в доме — все сошлось так, что

мы разговорились и возникло спокойное доверие, которое я испытывала к нему на протяжении всех лет нашей дружбы. Мы проговорили несколько часов. Уже и автобусы пошли, и чай заваривался несколько раз, а Венедикт не спешил уходить.

Мало с кем из друзей-литераторов было так спокойно и хорошо говорить, как с Венедиктом. Наши вкусы и оценки не всегда сходились, но он умел услышать чужое мнение и хотя и подтрунивал над моей категоричностью, это никогда не было обидным. В литературном быту Венедикт был из числа одиночек — не примыкал ни к какой "школе" или "направлению", его не заботили соображения групповой тактики. Попытки привлечь его к "общему делу" были заведомо безнадежны: он отлынивал, не соглашался или просто ссорился с остальными.

И я принадлежу к "единоличникам" в литературе и общественной жизни; все включения в группировки, к сожалению, неизменно заканчивались расхождением и обидами. А в те годы шло активное сплачивание непризнанной, гонимой культуры — художников, писателей. Способы борьбы с нами были отнюдь не гуманитарными. Но многое происходившее во "второй литературной действительности" мне было не по душе. Не раз, сидя на собрании в какой-нибудь квартире, слушая декларации или петиции, споры хитроумных тактиков, я думала: зачем я здесь? Мне не интересно штурмовать Союз писателей, пробиваться в советскую литературу. Предыдущее поколение "шестидесятников" добилось этого — и кануло там. Не дай Бог такой "удачи".

Они правы, не принимая нас за своих и не печатая, а мы лжем, уверяя, что мы почти как они, вот только иногда по непонятной прихоти упоминаем слово "Бог".

Как ни странно, Венедикт был чуть ли не единственным собеседником, согласным со мной. И то, что он терпеливо слушал мои филиппики и снисходительно, как с очевидным, соглашался, меня поразило.

Тогда же, в первую встречу, выяснилось и некоторое сходство в наших родословных. Его родители и моя мама

родом из Поволжья; и его отец, и мой служили начальниками железнодорожных станций. Я навсегда полюбила особый пристанционный мирок детства — с запахом мазута, бархотками на клумбе вокруг гипсового памятника вождю, платформами дрезин и ни с чем не сравнимым стуком колес, под который так крепко спалось.

Казалось, мы чудесным образом встретились — земляки из провинциальной, сельской России послевоенных лет.

В произвольном, с припоминанием случайных примет того мира разговоре не было сказано о том, как трудно приживаться (а, в общем, и не прижились) в мире, который нас окружал. Жизнь далековато отнесла нас от трагической идиллии детства, но многое было усвоено там накрепко. То, что помню и люблю я, оказалось понятным и Венедикту.

И позже всякий раз, когда мы говорили о доме, который он приискивал в Подмосковье, или о хуторе, купленном мною на Псковщине, неспешные, обстоятельные эти разговоры доставляли нам радость. В том, как Венедикт держался, сидел, подперев ладонью щеку, закуривал — была не городская, мужицкая манера. Мне легко было представить его — деревенского философа, покуривающего, уже под хмельком, на завалинке дома. Впечатление это, вероятно, было достаточно поверхностным и скоро забывалось, но когда я долго его не видела, при встрече возникало снова.

И в "Москве-Летушках" при всем ужасе и уродстве слободской российской жизни — всего страшнее столица: бетонный монолит с тоннелем, пробитым к вокзалу. Герой пытается выбраться из Москвы, но гибнет на лестничной площадке многоэтажки, отгороженный камнем от земли и от неба.

В первую встречу мы проговорили очень долго и, пожалуй, меньше всего о литературе. Тогда сам он показался мне гораздо ближе и интереснее, чем его книга. По-настоящему я прочла "Москву-Петушки" гораздо позже (а сейчас, еще раз перечитав, все время слышала, узнавала

его интонации). Тогда же она затерялась для меня в общем ворохе самиздата. Это было варварское чтение: как правило, книга доставалась на день, хорошо, если на два, и прочитывалась залпом. Не чтение, а какое-то "ознакомление с темой", и важнее казалось не качество литературы — а "про что". Так же наспех, вприкидку подбиралось и определение для писателя — "авангардист", "модернист" и т.п.

Трудно придумать для писателя аудиторию и ситуацию хуже. Единственное, что может хоть как-то оправдать нас, верхоглядов поневоле — то, что для большинства авторов самиздата тоже было важнее не "как", а "про что" писать. Самиздат представлял собой в аварийном порядке созданную культуру, где было все: информация, публицистика, история, "творчество наших читателей", религиозные труды... — в общем, почти все составляющие нормально живущей культуры. Другое дело, что существовал самиздат в совершенно ненормальной, уродливой системе общественной жизни — и это тоже во многом определяло его уровень. Большинство из того, что тогда читалось взахлеб, сейчас перечитывать невозможно.

И роман Венедикта, попавший в руки на несколько часов, с затертой машинописной печатью и множеством опечаток — я толком не прочла, а скорее ознакомилась с тем, "про что" там. Поэтому при встрече с автором благообразно помалкивала.

Утром Венедикт распрощался, и я видела из окна, как он бежит по морозу в воробьином своем пальто, без шапки, оскальзываясь на ледяной тропе. Наконец, он затерялся в веренице таких же воробьиных фигурок, высыпавших из блочных домов-башен: в город на первых автобусах ехали работяги.

Когда Венедикт уходил, я испугалась, что мы потеряемся, не увидимся больше, и это чувство родства, общности, возникшее так неожиданно и счастливо, забудется. Именно из робости, неуверенности я не заговорила о том, как нам увидиться, где его искать. Потом полдня бродила по квартире, как отравленная, мучаясь от своей

глупости и оттого, что уже ничего не изменишь. "Человек без адреса", — сказал о Венедикте мой хозяин.

Кто не знает, как часто задушевные разговоры за полночь, столь любимые в России, рассеиваются и забываются на другой день напрочь. Мне это было известно не хуже, чем другим, но эта встреча казалась не случайной, а долгожданной и важной.

Венедикт позвонил к вечеру, договорились о встрече где-то у метро. Не зная Москвы, не умея толком разобрататься в схеме ее подземки, я сломя голову бросилась на свидание. Мой гостеприимный хозяин несколько оторопел при виде лихорадочных сборов и ворчал насчет "барышень, которые страсть как любят писателей".

Венедикт стоял на улице среди других иззябших, унылых ожидающих. У кого-то были цветы в ледяном целлофане, у Венедикта — авоська с бутылкой. Видимо, я разлетелась слишком сгоряча, слишком сияя, потому что он с некоторым изумлением объяснил, что он, собственно, просто хочет пригласить меня в гости к одному из московских поэтов. Я была счастлива и горда, проходя мимо принаряженных людей с гвоздиками в целлофановых кульках — с Венедиктом, продрогшим, прекрасным, беспечальным, помахивающим сеткой с бутылкой бормотухи.

* * *

Меньше всего Венедикт был склонен к открытости, исповедальным разговорам о своей жизни. Он грубо и насмешливо оборонялся от попыток вызвать его на откровенность, выяснить мнение, мировоззрение и прочее.

Так же, на мой взгляд, он по большей части избегал этических суждений и оценок, особенно в том, что касалось его окружения. Но было это не от чрезмерного добродушия или снисходительности (он был человеком достаточно жестким и обидчивым), а, пожалуй, от нежелания ставить свою жизнь в зависимость от заданных норм, пусть самых почтенных. Сам Венедикт имел четкие

нравственные представления, но других судил достаточно широко и иногда с удовольствием рассказывал о коленах, которые выкидывали его приятели.

Тут мы редко соглашались и, прерывая мои филиппики, он примирительно говорил: "Ну, расходилась, уймись, девка. Лучше пей-ка свое пиво..." — или что-нибудь столь же убедительное. Но спустя какое-то время сам заговаривал об этом и либо находил убедительные оправдания, либо досадливо отмахивался. Теперь я думаю, что неправа была я: его жизнь была куда труднее моей и многих других — и в ней не было места морализаторству. Она соединяла в себе такие "далековатые" сферы и людей, что и представить себе трудно. Иногда случалось, люди из этих разных сфер встречались у Венедикта — и смотрели друг на друга с глубоким изумлением. В таких случаях Венедикт мудро пускал дело на самотек, предоставляя им общаться, как знают, и вмешиваясь, лишь если дело доходило до прямого скандала. У него самого было несколько "образов", несколько легенд, и он редко давал себе труд свести их воедино.

Был литературный герой "Веничка", которого часто отождествляли с автором. Этого Венедикт не любил и позволял запанибратство лишь старым друзьям (многие из них упомянуты в "Москве-Петушках"). Для журналистов и западных славистов предназначалось биографическое клише с четко расставленными социальными акцентами: бегство родителей из голодного Поволжья, репрессированный отец, исключение из университета за бунт против военной кафедры, "университеты" рабочего-лимитчика, надзор и преследования КГБ и т.д. Эта биография жестко связана с общей советской биографией народа, она типична — и вполне анонимна.

И когда в воспоминаниях одного из друзей Венедикта я прочла, что из университета он был исключен не происками военной кафедры, а за то, что не стал сдавать сессию, честно говоря, не удивилась. Венедикт ничего не приукрашивал, не лгал — просто расставил акценты согласно канону биографии гонимого писателя, опуская то,

что к этой теме не относилось. Большая часть личных, литературных, просто бытовых обстоятельств — то, что, собственно, и составляет человеческую жизнь, в канон не включалось.

Это одна из печальных особенностей биографий литераторов "подполья": они большей частью анонимны, как голоса из хора, тянущего одну мелодию — о государственной травле, допросах в КГБ... Действительно, это было если не главной, то одной из самых важных составляющих наших жизней. Об этом рассказывали друг другу при встречах, давали интервью, писали... И плановые мероприятия "органов", "первых отделов" и отделов кадров становились важными событиями, болевыми точками наших биографий. Черт знает что такое! Служебному рвению какой-нибудь сыскной моли в них уделено внимания больше, чем обстоятельствам творчества, духовной жизни художника.

Из интервью Венедикта — об одном и самых замечательных писателей современной России Венедикте Ерофееве узнаешь очень мало. Он не отступает от шаблона: почти нет разницы между интервью, напечатанными ранее в зарубежье и в России, и последним, в "Континенте" 1991 года. Из немногого "частного", что в них включено, — история с его отцом, которая, видимо, мучила Венедикта. Когда ему, отличнику, вручали на выпускном вечере медаль, его отца, известного всему городу пьяницу, в школу не пустили. И отличник был рад, что вторжение неблагообразного родителя не испортило торжества.

Как-то мы с Венедиктом говорили о его сыне, тоже Венедикте, тоже отличнике, и он вспомнил эту историю. Сказал, что отец умер, не дожив до пятидесяти, и он сам едва ли протянет намного дольше.

Второй "частный момент" автобиографии — что написано кроме "Москвы-Петушков" и отчего так немного? В его рассказе о судьбе рукописей сплелись легенда о "Веничке" и реальная писательская судьба Венедикта Ерофеева. История с пропажей рукописи в сетке с бор-

мотухой совершенно в духе "Москвы-Петушков", почти цитата из них. И не раз потом отзывалось среди поклонников ее эхо: "Написал потрясающую вещь — и, надо же, опять потерял!.. в автобусе, трамвае, поезде..."

Не раз знакомые говорили, что Венедикт пишет, и даже сюжет и название сообщали. Сюжеты и названия были интригующие — но потом слух затихал. Думаю, что сведения эти исходили от самого Венедикта и были какой ни есть защитой от назойливости поклонников. Я никогда вопросов не задавала, зная, как тяжело на них отвечать, когда не пишется.

Из интервью в "Континенте":

Вопрос: Между "Розановым" и "Вальпургиевой ночью" 13 лет. Что-то было в этом промежутке?

Венедикт: Какое кому собачье дело? Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было? Это — вторгаться в интимные отношения.

Это предсмертное интервью, когда уже нет сил и желания что-то растолковывать, умалчивать, объяснить.

А между тем, до этого он не раз говорил о причине своего молчания, во всяком случае, об одной из главных психологических причин. Года за два до смерти Венедикта советская журналистика, вдоволь накричавшись о "Детях Арбата" и других шедеврах, вспомнила и о прочих книгах и авторах. Тогда началось паломничество и к Венедикту. Я знаю, что он был рад этому и тому, что "Петушки" в Москве напечатаны, и спектакль готовится... В интервью того времени, предназначенных для читателей в России, он говорил, в частности, и о том, почему так надолго замолчал после "Москвы-Петушков".

Из интервью в журнале "Театр" (1989 год):

"Рукописи "Петушков" разошлись мгновенно, и я стал известен, правда, в очень узких кругах, а говорили в узких кругах разное: одни — "самое свежее слово в русской литературе", другие — "безобразие"... А писать после "Петушков" было психологически трудно, я боялся повтора... "Шостаковича" (роман, рукопись которого была потеряна — прим. авт.) я пытался восстановить, но не

сумел... Но известность росла, а писать новую вещь стало как-то неудобно, да и рукописи пропадали, а с "Шостаковичем" пропали записные книжки."

Как-то Венедикт подарил мне машинописную копию "Розанова" и еще несколько страниц — фрагмент прозы, которая не была закончена. Обрывалась она неожиданно, чуть ли не на середине страницы, и было понятно, почему он ее забросил. Это был монолог алкаша, написанный замечательно — и казавшийся цитатой, повтором "Москвы-Петушков". Поэма Венедикта — одна из цельных, на едином дыхании написанных книг, которые не предполагают продолжения. Как и другая великая и горестная русская поэма — "Мертвые души".

Он искал выхода из заколдованного круга прозы "Петушков" в других жанрах: эссе, пьесе, коллаже "Моей маленькой ленинианы". Возможно, ему не доставало самоуверенности, уверенности в своей гениальности, а значит, в праве на ошибку, неудачу, повтор.

"Писать после "Петушков" было психологически трудно, я боялся повтора..." Слава в "узких кругах", пришедшая сразу, при невозможности нормальной литературной судьбы, сыграла дурную службу. Я знаю писателей куда менее одаренных, чем Венедикт, но с неколебимым убеждением в своей гениальности. Благодаря этому они не только реализовали свой дар, но и "приумножили" его; случалось, за счет упорства и равнодушия к чужим оценкам человек со временем превосходил все ожидания своих первых читателей.

* * *

Даже среди московской богемы жизнь и окружение Венедикта поражали воображение. Провинция, куда сильнее забитая и запуганная, глядела на столичные вольности с завистью. Московская писательская жизнь казалась со стороны чем-то вроде затянувшегося празднования, где ссорились с перепоею и, случалось, морды били, и вполне можно было ожидать любой гадости и

скандала — и все же все сидели за общим столом и состояли в некотором родстве. Многие "левые" из поколения Венедикта фрондировали, рисковали, но при этом где-то служили, зарабатывали, а иногда и умудрялись делать карьеру. До "полной гибели всерьез" дело доходило не часто.

Надо отдать должное, Венедикту не раз старались помочь, уладить его катастрофические бытовые обстоятельства (без жилья, без работы, почти всегда без денег). Он был незащищен и постоянно виноват перед властью: принадлежал к категории, близкой к "тунеядцам", почти не зарабатывал, часто терял документы, а с военным билетом дело принимало угрожающий оборот. У него были проблемы с пропиской, а тут и влиятельные друзья не могли помочь.

В числе его друзей, приятелей, поклонников были люди на редкость разные. Они и сами смотрели друг на друга с изумлением, когда случайно встречались у Венедикта: академический ученый — и философствующий забулдыга, прямо сошедший со страниц "Петушков"; диссиденты — и барышни, падкие до мистики.

Венедикт дорожил своим признанием в элитарных "узких кругах", которые ценили его; временами жил на чьих-то академических дачах... Он с почтением разночинца говорил о структуралистах, которые были тогда в зените славы. Мы вместе слушали доклады нескольких знаменитостей, и мне временами все это казалось каким-то интеллектуальным Зазеркальем. В них было больше эрудиции, чем основательности, а блеск и остроумие аргументов ценились выше, чем доказательность. Когда я сказала об этом Венедикту, он почти рассердился. На редкость свободный и самостоятельный, здесь он робел и безоговорочно принимал мнения и авторитеты, установленные в "узких кругах". Возможно, в этом сказывался комплекс самоучки? Недаром в его интервью столько места занимают рассказы, как его исключили из МГУ, а потом из Владимирского пединститута, хотя он был отличником и стипендию особую получал... О том, как он жил

несколько десятилетий после этого, он говорил куда меньше.

К ученым, к основательности академических знаний, авторитетам, Венедикт относился с почтением. Но к собратьям по литературе, как правило, отчужденно и без особого интереса. Хуже того, он не церемонился в суждениях и высказывал оценки со всей прямоотой. При всей грубости его определения бывали очень точными и смешными. А жизнь, постоянное государственное давление поневоле заставляли писателей держаться вместе. Каких разных людей сводила в один круг неутомимая травля! — в нормальных обстоятельствах им никогда бы не договориться. Так и случилось — при первых послаблениях перестройки многие круги и кружки распались, участники их вдруг оказались во враждебных лагерях. Но в 70-х годах жили сплоченно и семейственно, держали круговую оборону, выстроили свою иерархию. Беда была только в том, что, как и в казенной советской литературе, в иерархии этой было немало "мнимых величин". Если карьера советского писателя определялась количеством премий, то в "параллельной культуре" — степенью известности на Западе. Но субординация по отношению к знаменитости соблюдалась так же тщательно, как в Союзе советских писателей.

Однажды, когда я навестила Венедикта, он собирался в гости к одному из известных "тамиздатских" авторов. Звал и меня, дал прочесть последнее его сочинение. Книга мне не понравилась, ехать не хотелось. Венедикт выслушал меня с усмешкой, потом сказал: "Нет, тебе обязательно надо поехать. Ты ему выложи все как есть, а я добавлю. Очень даже добавлю". И поглядел многозначительно и важно. В гости мы так и не собрались, но, кажется, Венедикт не утаил от автора своего мнения о книге.

Он не вписывался в сложившийся литературный контекст, держался особняком. А поскольку он годами не писал, жил в довольно замкнутом кругу, то со временем стал личностью почти легендарной, с репутацией чело-

века замечательно талантливого, но безнадежного алкоголика.

Как-то молодой ленинградский прозаик расспрашивал меня о Венедикте и, зная, что тот безнадежно болен, сказал: "Что ж, он свое написал, получил, пора дать дорогу другим..." В московских литературных кругах в таких случаях говорили: "Пора снимать с пробега". Эта ипподромная мораль была в ходу. Все общество, в том числе и "параллельная культура", болело общими болезнями. Только здесь ценились не ордена, а публикации на Западе или хотя бы упоминание имени в зарубежных изданиях. Казалось, пока ты не упомянут, ты не вполне состоялся как писатель. В этом был свой резон — с таким человеком КГБ и прочие инстанции обращались куда деликатнее. Но даже не в этом было дело — как всякая страсть, она была иррациональна. Мы жили в какой-то странной литературной реальности: если ты опубликован и известен там — только тогда ты наверняка существуешь.

Сейчас эти книги вернулись в Россию — прекрасные книги и книги, которые уже невозможно перечитывать. И все же "Москва-Петушки" стоят среди них особняком. По напряженной тональности, пронзительной ноте ужаса и любви, которые, собственно, и остаются в памяти.

* * *

Как и все мои друзья, Венедикт был беден. Несколько раз у него случались деньги — гонорары с Запада, но они не задерживались. И ему приходилось работать.

Что за работы были у моих друзей! Кочегары, сторожа лодочных баз, церквей, кладбищ, автостоянок, вахтеры, вохровцы, шабашники — и еще невесть кто! В солидные конторы их не брали даже в сторожа — и места их службы располагались там, где кончался город, людные улицы, милиционеры и автобусы. Сколько раз, обмирая от страха, я спешила мимо канав и угольных куч на работу к кому-нибудь из друзей. Единственным напоминанием о

цивилизации в таких местах были мусорные баки, забытые на бескрайних пустырях, со всякой дрянью, свисавшей через края.

Венедиктовы места работы тоже были экзотические. Я запомнила название одной из них — пропитчик. Как-то подобралась бригада пропитчиков (они пропитывали огнеупорным составом балки и перекрытия в домах) из московских литераторов. Все они, кроме того, были людьми пьющими. Об этой и других работах я знаю только понаслышке, но один эпизод из трудовой биографии Венедикта мне запомнился. Я приехала в Москву на день, Венедикт был на дежурстве, и мы условились, что я зайду к нему на работу. И Галя, и Венедикт подробно объяснили, как его найти. И вот летним утром я отправилась в путь. Доехала до окраины, до проспекта, уходящего за горизонт. Жилые дома кончились, на другой стороне было кладбище, а на моей — бесконечный бетонный забор. Пройдя мимо него с полкилометра, я засомневалась: судя по кладбищу и забору, я шла правильно — мои друзья работали именно в таких таинственных местах. Но что-то слишком много колючей проволоки, прожекторов и телекамер было на этой ограде. И нигде не было видно входа. Несколько приуныв, я тащилась мимо забора. Проволока наверху гудела под током. Вдруг впереди открылись ворота, и пока я бежала к ним, оттуда выехал бронетранспортер. Бронетранспортер в те времена, среди бела дня на московской улице — такого не могло быть даже там, где работали мои друзья.

Часовой объяснил, что нужный мне дом — следующий, а не этот, за забором, потому что этот — без номера. Когда я, наконец, отыскала его, Венедикт поджидал на улице. И я еще раз подивилась странности нашей жизни. Среди послевоенных жилых бараков-развалюх, где вход в квартиры прямо с улицы, а окна в полуметре от земли, стоял огромный высотный дом с пандусами, подземным гаражом, какими-то стеклянными галереями. Венедикт служил в этом доме консьержем. В его дежурке на столе лежали словари и пухлый немецкий том. Он в это время

занимался немецким. Проходившие мимо жильцы поглядывали на него с уважением и интересом. Они сновали мимо его комнатки, выводили здоровенных собак, оставляли записки. Они были бодры и подчеркнуто доброжелательны. Худоба и высокий рост Венедикта особенно бросались в глаза рядом с этими солидными крепенькими людьми. Я обратила внимание на то, что большинство из них было ниже среднего роста. Венедикт сказал, что ничего странного нет — в этом доме живут космонавты.

* * *

Странного, парадоксального в его житейских обстоятельствах было немало. Я не раз замечала, что с писателями происходят удивительные вещи, словно они сами — герои талантливой, тщательно продуманной сюжета. По иронии судьбы дом, где жили Венедикт и Галя, тоже был чиновный, ведомственный, чуть ли не от Академии МВД. После многолетних мытарств Венедикт был счастлив. Он уверял, что устроит на балконе грядку и станет разводить огурцы, хорошо бы — сразу соленые.

Приехав к ним на Флотскую в первый раз, я подивилась — куда занесло Венедикта? В вестибюле под портретом Ленина сидел дежурный, отставник по виду. Он спросил, к кому я, и велел подождать, пока он подыметя со мной на лифте и проследит, в ту ли квартиру я пойду. Тут кто-то вошел, и вахтер доверил ему сопровождать меня. Человек рассмеялся и сказал: "Ладо, поехали". Его лицо было словно знакомым, но я не могла вспомнить, откуда. Он вышел со мной из лифта, позвонил в дверь и спросил у Венедикта: "Гостей ждете?" Оказалось, он из соседней квартиры, а похож был на телегероев из сериалов о следователях и разведчиках. По утрам такие подтянутые супермены выбегали на разминку, потом садились в машины и уезжали на службу. Вахтер встречал их сладкой собачьей улыбкой, при виде же Венедикта и его гостей — суровел. Мы несколько раз сталкивались в подъезде — супермены после пробежки и Венедикт с

бидоном пива. Они взбегали по лестнице, а мы ждали лифта, и я чувствовала холодок в затылке от взгляда вахтера.

Венедикт относился ко всему этому безмятежно, был доволен чистотой и чинностью дома, а на консьержа обращал внимания не больше, чем на сторожевого пса.

После многолетней неустроенности, скитаний он был рад тому, что есть своя квартира, кабинет, собирал библиотеку. Но главная мечта была — купить дом где-нибудь в Подмоскowie. Об этом он говорил, когда появлялись деньги и когда их не было, описывал прелести сельской жизни и заранее звал в гости. Мы не раз толковали, как я приеду пожить в тишине, буду варить кашу, а он огородничать, гнать самогонку... Каша неизменно включалась в картину идиллии и была наиболее осуществимой ее частью. Однажды я несколько дней прожила в гостях на Флотской. По утрам Венедикт будил меня сообщением, что каша готова. Варил он ее помногу, все подкладывал в тарелку и деспотически требовал доест до конца. В качестве стимула на стол выставлялся бидончик пива. К этому времени пить ему было категорически запрещено, и он объяснял Гале, что это — для гостыи. В первый раз я решила пожертвовать своим здоровьем ради его и постаралась выпить побольше. Венедикт отнесся к этому с одобрением, допил остальное — и отправился с бидоном — покупать еще. Больше я не пыталась сохранить его здоровье таким образом.

А жить в собственном доме в Подмоскowie — было ему не судьба. История с покупкой затянулась на несколько лет и принесла им с Галей немало мучений. Однажды они как будто нашли дом и деньги вперед заплатили — но их обманули и не вернули задатка... Венедикт тяжело переживал эти неудачи. Похоже, что единственное место, где он мог устроить огуречную грядку, был балкон дома Академии МВД, в котором он жил.

* * *

Я любила бывать в доме на Флотской. Случалось это не часто, но такие дни были самыми спокойными и теплыми, какие выдавались мне в Москве. Иногда там появлялись гости, но ничего похожего на загулы легендарного Венечки не случалось. Мне повезло — я почти не видела его в этом состоянии. Иногда при упоминании имени Венедикта замечала усмешки знакомых; временами кто-то из общих друзей рассказывал удивительные истории, героем которых был Венедикт. Вернее, сам он обычно в них бездействовал: не дрался, не буянил, зато приятели его вели себя, как бесенята из сказок. И, похоже, безобразничали они в угоду ему и при снисходительном его попустительстве. Мне казалось, что все эти рассказы по большей части выдуманы, имеют отношение к герою "Москвы-Петушков", а не к Венедикту, которого я знала и очень любила. Наверное, я выглядела смешно, когда с горячностью опровергала слухи... Но, повторяю, об этой стороне его жизни я долгое время знала лишь понаслышке, да и позже сталкивалась с нею редко.

Однажды он приехал в Ленинград. Занесло его в наши края случайно, непонятно зачем. Он позвонил, но я не могла понять, где он остановился и что собирается делать. На следующий вечер отыскала у полужнакомых людей, где его, бесчувственно пьяного, оставили какие-то приятели. Все это было похоже на дурной сон.

Венедикт лежал на грязной постели. Кроме кровати, никакой мебели в комнате не было. На полу сидели хозяин-литератор и его друзья, собравшиеся по случаю прибытия гостя. Этих людей я знала: они объявляли себя авангардистами, модернистами, авангардом модернизма и т.д., проявляя больше предприимчивости, чем таланта. Для них Венедикт был притягателен: ведь он, по общему признанию, был "модернистом" и, безусловно, знаменитостью. И сейчас он лежал здесь, на грязном тряпье, и поносил их сочинения последними словами.

В комнате было темно, топилась печь-голландка, на

полу на газете расставлены бутылки и еда. Гости с каждым стаканом переходили от приниженности к наглости. В пьяной речи Венедикта, которую он произносил, спотыкаясь и уставясь в потолок, было много справедливого, и это, вместе со сбивчивой бранью, звучало особенно оскорбительно. Сначала писатели пытались объяснить, потом стали отругиваться. Хозяин приподымался с грязного пола, восклицая, что "он не позволит в своем доме..." Венедикт распался еще больше — казалось, тяжелому безобразию этой сцены не будет конца. Я не решалась уйти, оставить Венедикта.

В углу у двери лежал мальчик, сын хозяина, он спал на ворохе одежды, сложенной гостями, спал, несмотря на шум. Его мать сидела у печки и смотрела в огонь. В какой-то момент хозяин стал уверять нас с Венедиктом, что эта женщина, его жена, за него любому горло перегрызет. Я поглядела на нее: она по-прежнему не отрывала взгляда от огня, ни во что не вмешиваясь и не слыша.

Глубокой ночью собрались к художнику, живущему по соседству. Венедикт уезжал в Москву ранним поездом, надо было скоротать несколько часов. Гости стали разбирать свои пальто, мальчик молча встал, оделся и вышел первым. Венедикт поднялся с трудом, его как бы не замечали. Мы с ним спускались по лестницы, из квартиры слышались возмущенные голоса.

После прокуренной комнаты замечательно дышалось на морозе. Венедикт был несколько смущен, шел неуверенно, опираясь на мою руку. Не хотелось ни утешать, ни упрекать его. Так тихо было во дворе, чистый снег выпал, и мы стояли, прислушиваясь к равномерно повторяющемуся сухому шуршащему звуку. На горке катался мальчик — молча, с каким-то ровным автоматизмом, вверх-вниз. Лед шуршал под его сапогами. Глядя на него, выныривающего на вершине горки, я подумала о своем сыне, который давно спал, не подозревая о таких печальных развлечениях.

Венедикт легко шагал по улице, он даже развеселился, а я, цепляясь за его рукав, скользила по ледяным доро-

жкам на тротуаре. Предводительствовал мальчик, а позади шли писатели — бородатые, мрачные, обиженные. Через несколько минут мы оказались в комнате, узкой, как щель. Большую часть ее занимал печатный станок для печатания гравюр, а вокруг сидели люди, поджидавшие Венедикта. Они были такие важные и благостные, а Венедикт с таким оживлением поглядывал на них и на батарею бутылок на станке, что я поняла — начинается второй раунд. Писатели, втиснувшиеся в комнату, ожидали того же с явным злорадством. Но скандала не вышло — после первого стакана Венедикт положил голову на печатный станок и заснул. Лучше всех повел себя мальчик — он сразу примостился у окна, накрылся своим пальтишком и тоже уснул. Мы до рассвета просидели в этой комнате, гости вяло шелестели о преимуществах ленинградской школы литературы перед московской. Слабость московской школы в образе поверженного Венедикта была налицо. Утром его доставили на вокзал. Больше таких приключений на мою долю, к счастью, не выпадало. И насчет этого Венедикт потом уверял, что половина мне примерещилась. "Да ничего такого там не было, ты, девка, придумываешь. Я их ругал? Да я их и не читал никогда... А вообще-то, так им и надо..." — добавлял он с усмешкой.

* * *

Отголоски бурной жизни Венедикта доносились до меня не только в слухах. Однажды в Ленинграде неожиданно пришли двое, сказали, что по делу, с запиской от Венедикта. Записка была — только мой адрес и телефон, и больше ни слова. Почему же не позвонили? Ответили: нельзя, за нами следят. Один был маленький, с ухватками карманного воришки, второй — зловещего вида мужчина с ассирийской бородой, в сапогах и с четками. Говорил маленький — представил второго как лидера мусульманского движения (имени не назвал — для конспирации), попросил меня связать его с мусульманскими активи-

стами в Ленинграде, дать материалы для журнала и вообще внести свой вклад в дело мусульманского движения. Черный сидел истуканом, перебирал четки, от еды отказался знаками и по-русски, видимо, не понимал. Иногда он согласно рычал, и мне чудилось, что у него нож за голенищем. Маленький все упоминал Венедикта и ссылался на него не реже, чем на Аллаха. При этом он пошучивал и повторял, что они к нам надолго и надо свести их со всеми писателями, сочувствующими мусульманскому движению.

Я была в ужасе. Венедикт спятил, если прислал их ко мне — все это отдавало провокацией, уголовщиной, невесть чем. Спроварила их, пообещав передать тексты через Венедикта. В дверях черный вдруг без всякого акцента сказал, что со мной "будут держать связь" и "скоро придут люди". Я позвонила в Москву. Прямо говорить было нельзя, и Венедикт долго не мог понять, о чем я толкую. Потом сообразил, выругался и посоветовал гнать их в шею. "А ты видел, какая шея у этого ассирийского быка?" Но важно было, что он знал, о ком речь. Как к ним попал мой адрес, догадаться было нетрудно. Правда, больше борцы за мусульманское дело не появлялись.

Летом в Москве у меня на улице сломался каблук. Доковыляла до сапожной будки, подала туфель сапожнику. Мы взглянули друг на друга — и не знаю, кто растерялся больше. В будке сидел мусульманский лидер — в фартуке, с кривым сапожным ножом...

* * *

Июльская жара. Мы с Венедиктом сидим у детской площадки в арбатском дворе. Дом, возле которого мы ждем, обшарпанный, убогий, это "кооперативный дом" конца двадцатых годов. Я знаю поблизости еще один похожий — дом "старых большевиков", где живет моя добрая знакомая Ада Лазо. Эти невзрачные "новоделы" недавней поры обросли зловещими легендами не мень-

ше, чем какие-нибудь замки за несколько столетий: жильцы их стрелялись в подъездах, выбрасывались из окон, отбывали в черных "воронках" — без возврата. Отчим моей приятельницы, известный командарм, застрелился на площадке возле своей двери, — "вот здесь" — кивает она туда, где помойный бачок.

И дом, возле которого мы сидим, безусловно, может похвалиться столь же ярким прошлым. Сейчас он словно вымер, во дворе только мы с Венедиктом да молодой человек, сошедший прямо с комсомольского плаката. При такой жаре он в костюме и галстук, мается на соседней скамейке.

В одной из квартир здесь будет собрание, предстоит составить открытое письмо о положении культуры в СССР. Молодой человек тут явно по долгу службы, а Венедикт должен взять у приятеля, который придет сюда, свою книжку. И мы делаем вид, что не замечаем служивого. Вот потихоньку начинают сходитьсь "диссиденты". Здесь, в безлюдье, особенно заметно, как их легко отличить по виду, этих молодых людей. По небрежности одежды, броской, с плеча заезжего иностранца, или очень бедной, по длинным волосам. Они вопиюще слабы и неспортивны по сравнению с молодцом на соседней лавочке. Каждому понятно, чего он тут загорает. Кто-то заметил его и ускорил шаг, кто-то, наоборот, идет подчеркнуто спокойно, разглядывая номера квартир над подъездами, рассеянно озираясь. Это маленький театр, и Венедикт посматривает с интересом. Меня поразил горбун лет тридцати, широкоплечий, почти квадратный, с невероятной шевелурой. Попав во двор, он сделал несколько шагов, повернулся, разлетелся к детской площадке и в упор уставился на нас и комсомольца. Так, наверное, глядел из своей клетки схваченный Емельян Пугачев. Он переводил взгляд с одной скамейки на другую, казалось, даже папка у него под мышкой дрожит от негодования. Совершив этот акт гражданского мужества, резко развернулся и пошел к подъезду. Я несколько

опешила, Венедикт тихо рассмеялся и сказал: "Это просто страшно, до чего человеку хочется пострадать..."

Наконец появился тот, кого мы ожидали, и мы вместе поднялись наверх. На лестничной площадке выше квартиры маялся еще один плакатный комсомолец. Он курил возле мусорного ведра и кисло рассматривал нас сверху.

А в квартире были оживление, шум. Полтора десятка людей обсуждали петицию, составленную горбуном. Он оказался большим законником и на все возражения отвечал ссылками на статьи уголовного кодекса. Самым резким его оппонентом был художник, требовавший резать правду-матку без всяких экивоков и сослагательных наклонений. Он нервничал, грубил, но глаза его смотрели уже как бы издалека. Венедикт ему поддакивал, поддерживал, даже предлагал усугубить — и в его редакции выходило так смешно и нелепо, что все рассмеялись, и художник обиделся (очень скоро он уехал на Запад).

Спор разгорелся, когда стали прикидывать, кому из именитых деятелей культуры предложить подписаться под петицией. "Этот струсит подписать... А этот струсит — не подписать, у него репутация либерала..." Я много раз присутствовала при таких разговорах и прикидках — и всегда испытывала неловкость. Венедикт предлагает дать на подпись писателю Федину. Предложение отвергнуто, и мы уходим.

На улице он сказал:

— Представляешь, они вот придут к власти и будут распоряжаться всем, кстати, и твоей судьбой. Как тебе такой вариант?

Представить себе это было совершенно невыносимо, власть была прочна, как надгробье.

— Нет, ну почему, вот такие новые большевики...

— Не очень, Венедикт, мне такой вариант, не очень...

* * *

Когда писатель — писать перестает, к нему подступает смерть. Обстоятельства смерти могут быть разными —

постепенное угасание, затяжная болезнь, убийство, самоубийство — примеры хрестоматийны. Но основа ее — отсутствие воздуха, меркнущий мир, удушье, очень точно названные Блоком.

Венедикт не писал или писал очень мало — годами. Его творческая немота реализовалась в самой буквальной и жестокой форме: рак горла, операция, во время которой были перерезаны голосовые связки, обернулись немотой. Спустя какое-то время у него появился аппаратик: Венедикт прижимал его к горлу, и из этой машинки звучал голос. Звук был жестяной, страшный, голос этот не походил на его собственный, исчезли характерные интонации. И я почти забыла, как звучал голос Венедикта, задолго до его смерти.

Ореол его славы постепенно меркнул. Кажется, к восьмидесятым годам распался и кружок старинных друзей и поклонников Венедикта. От одного из них я впервые услышала о пьесе "Шаги командора", он отозвался о ней довольно сдержанно, сказал, что напоминает "Полет над гнездом кукушки". Вообще первые отклики на пьесу были лишены того энтузиазма, с которым когда-то встречали "Москву-Петушки". Позже я прочла ее у Венедикта, он подарил мне номер "Континента", где она была опубликована.

Мне показалось, что сходство "Шагов командора" с "Полетом над гнездом кукушки" скорее внешнее: она о другом мире и другом времени, куда более безысходном. Пьеса Венедикта — записки из "мертвого дома" времени, которое выпало его героям, ему, да и нам всем. Тогда я подумала об одном из любимых приемов Венедикта, который есть во всех его сочинениях: цитировании и пародировании расхожих цитат, афоризмов. Эрудиция его в этом смысле поразительна, но, согласитесь, это довольно странная эрудиция. Кажется все знания о мире: история, культура, духовные прозрения и политическая конъюнктура — все равноправно в этом цитатнике разночинца. И каждый, кто хоть что-нибудь изрек, имеет право на место

в фантастическом сборище оракулов: от царевича Гаутамы до Зои Космодемьянской.

Все это очень напоминает сборники афоризмов и "мудрых мыслей", бывших очень в ходу во времена юности Венедикта, особенно в провинции. Их было множество, этих пособий по ликбезу. Я помню неизменную полочку с картонной закладкой в сельской библиотеке. На закладке разноцветной вязью было выведено — "Мудрые мысли".

Полагаю, и Венедикт в свое время усердно изучал эти сборники, недаром у него такая обширная коллекция высказываний и афоризмов на все случаи жизни (книжки имели разделы: "О любви", "О труде", "О смысле жизни" и т.д.). Они формировали мировоззрение, в котором все явления жизни были систематизированы, и на каждый случай предлагался свой совет и рецепт. И хотя в числе мыслителей соседствовали Мао-Цзедун и Монтень, Горький и Гете, в книжечках этих утверждалось "разумное, доброе, вечное", в них был не всегда внятный, но явный пафос.

"Веничка" и другие герои Ерофеева, несчастные, искалеченные, неизменно патетичны. Можно сказать, что их трагедия, шутовство и юродство вызваны полным несоответствием реальности и "мудрых мыслей", с которыми они вышли в путь. Да и наше собственное существование проходило под этим знаком. Жизнь обнаружила склонность к циническому юмору, нескончаемым парадоксам, все казалось взаимозаменяемым и совместимым. Никакие усвоенные нами "мудрые мысли" о долге, чести, достоинстве, вроде бы, не "работали", мало что с ними совпадало. И, подобно героям Венедикта, да и самому автору, можно было лишь развести руками: "Ну, бля...", озирая это фантастическое безобразия.

* * *

Каждому из нас жизнь навязывает свои сюжеты. Ве-

недикту как писателю сюжеты выпадали прямо хрестоматийные. Один из них можно назвать — "двойник".

Началось почти с анекдота. В московском ЦДЛ однажды появилось объявление о том, что писатель В. Ерофеев расскажет о своих заграничных впечатлениях, о Париже, кажется. Народу собралось множество, ожидали услышать что-нибудь вроде "Париж-Петушки", да и поглядеть на него хотелось — Венедикт был фигурой легендарной. Но Ерофеев оказался не тот — Виктор. Посмеялись — забыли.

Но сюжет продолжал развиваться. Одним из авторов альманаха "Метрополь", появившегося на Западе, был Ерофеев. Поклонники Венедикта обрадовались, но выяснилось, что это не он, а Виктор. Замечательно, что с "Метрополем" связана еще одна путаница такого же рода. Ленинградский прозаик Валерий Попов тоже много лет был "широко известен в узких кругах". Печатали его не часто, он лет до сорока числился в "молодых, подающих надежды". О нем, как и о Венедикте, многие больше слышали, чем читали. И поэтому рассказы москвича Евгения Попова в "Метрополе" поначалу приписали ему. Путаница усугублялась тем, что никто этого "Метрополя" толком не читал, одни слышали рассказы по радио, другие — просмотрели мельком. Но сразу бросалось в глаза, насколько эти рассказы не похожи на то, что писали Венедикт Ерофеев и Валерий Попов раньше. Дело, конечно, быстро разъяснилось, но сюжет продолжал существовать. Думаю, что и Виктору Ерофееву он был не в радость. Венедикта же раздражал еще и потому, что очень разные они с однофамильцем писателя.

Сюжет с "двойником" и завершился, как в скверном анекдоте. После смерти Венедикта в газете "Комсомольская правда" появился некролог, где сообщалось, что умер Ерофеев, участник альманаха "Метрополь". Странная история!

* * *

Большинство встреч с Венедиктом в последние годы сливаются в памяти и кажутся печальными. Правда, внешне мало что изменилось: и гости в доме не переводились, и смешных рассказов хватало, и бутылка стояла на столе. Только Венедикт теперь больше молчал, чем говорил, уставал и отпраивался к себе в комнату прилечь.

Я не скоро увидела его после операции и, честно говоря, немного боялась этой встречи. Наверное, поэтому бросилось в глаза, как изменились окрестности дома на Флотской. Безотрадные хрущобы скрылись за разросшимися деревьями, и ведомственная многоэтажка уже не возвышалась среди них так победительно. А обрюзгшие люди, вылезавшие из машин, были совсем не похожи на молодцеватых ребят, некогда взбегавших по лестнице. И только сторожевой сыч по-прежнему сидел под портретом Ленина. Спросил, к кому я иду, проворчал, что в ту квартиру слишком много ходят. Дверь открыл Венедикт. В волосах седина, он еще больше похудел, горло закрыла марлевая повязка. Он молча, с улыбкой смотрел, как я путаюсь в крохотной передней, запикивая сумку, переобуваюсь и бормочу что-то бодрое, стараясь не глядеть на эту марлю. У него появился новый жест — он прикрывал горло ладонью. Когда мы уселись на кухне, Венедикт широко и насмешливо улыбнулся, не торопясь приставил к горлу аппаратик и сказал: "Ну, здравствуй, Игнатова, как дела?" Я впервые услышала этот жестяной голос и сначала было очень трудно привыкнуть к нему.

В последние годы мы виделись редко. Мне казалось, что он в затяжной депрессии. О новостях литературной моды, особенно когда наступил журнальный бум, Венедикт говорил резко и презрительно. Они по большей части того и заслуживали, но если когда-то он мог с убийственной точностью определить то, что было для него неприемлемо, то теперь чаще просто бранился. Так, с одинаковой энергией он бранил и концептуалистов, и "Детей Арбата", которыми тогда зачитывались. О нем и

его книгах в бурном потоке "перестроечной" литературы поначалу почти не упоминалось. При встречах Венедикт показывал статьи и письма зарубежных филологов, упоминал об их визитах и интервью, которые давал на Запад говорил, что особенно его любят в Польше. Вероятно, в этом была доля справедливой обиды на то, что в отечестве его, как и прежде, не баловали вниманием-

Потом "Петушки" были изданы, кажется, в альманахе "Весть", пришла и официальная мода на "Веничку". Как-то я смотрела по телевизору его интервью. Бойкий молодой журналист расспрашивал, пошучивал, Венедикт старался отвечать ему в тон, аппаратик скрипел и перхал. Видеть это было больно.

Впрочем, все это было уже неважно. Болезнь развивалась, пришлось делать еще одну операцию. В последний раз мы виделись в 1989 году, за год до его смерти. Он болел так долго, и врачи столько раз говорили, что ему остались считанные месяцы, недели, а он продолжал жить — и это внушало не надежду, нет, но иллюзию того, что ему отпущен еще немалый срок.

Венедикт на минуту вышел встретить меня, я увидела шрам на его лице — след операции. Потом он лежал в темноте (от света болели глаза), а я сидела рядом и рассказывала что-то необязательное, веселое, стараясь не сбиться в слезы. Он так страшно похудел, под одеялом тело казалось совсем плоским. Временами я принималась твердить: "Мы еще поживем, еще есть время, увидишь..."

Венедикт слушал внимательно, без улыбки. Мою руку он положил себе на лицо, на глаза. И когда я заговорила о "поживем", он молча провел моей ладонью — по губам и подбородку, по свежему шраму. Но однако сам заговорил о будущем. О том, что все сбывается — и "Петушки" ставят в театре в Москве, и "Вальпургиеву ночь" собираются, и Вайда хочет снять фильм по "Москве-Петушкам"... Я не помню всего, о чем он рассказывал, но все у него складывалось замечательно, почти фантастически. "Правда, поздно, конечно... Но еще год-полтора надо потянуть..." Это уже Венедикт повторял, почти уве-

ренно, и я поверила ему, как верила всегда. Так оно и случилось — еще год жизни был ему отпущен.

А вот "поздно"... Дело не в том, что официальное признание и слава на родине пришли незадолго до смерти. И не стоит обвинять журналистов и именитых почитателей в том, что они появились так поздно. Хорошо, что Венедикт застал и это время. Он сожалел о другом.

Из последнего интервью журналу "Континент":

Вопрос: Ощущаешь ли ты себя великим писателем?

— Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого — более или менее мудозвонство.

Странная, странная судьба у писателя Венедикта Ерофеева. Он был разночинцем в современной ему культурной иерархии России, всегда стоя особняком в литературе — в "правой", "левой" — неважно. И отношение к нему было сложным: "великий писатель", "гениальная книга" — так заговорили о нем сразу после "Москвы-Петушков". А потом год за годом стало повторяться: "Да, великая книга. Но — только *одна* книга?"

От него всегда ожидали чудес, на него возлагали какие-то совершенно особые надежды, а он, казалось, эти надежды неизменно обманывал. В начале шестидесятых годов, в соответствии с общественной ситуацией, молодежь и начальство города Владимира видели в нем одного из вождей будущих классовых боев. В семидесятых, опять же в соответствии с ситуацией, после появления в самиздате "Петушков" читатели ждали от Венедикта Ерофеева новых "Мертвых душ", эпическую картину "мерзостей российской жизни". А он замолк на долгие годы. И сейчас, когда описаний "мерзостей" в нашей литературе хоть отбавляй, написанное Венедиктом по-прежнему стоит особняком.

Книги Венедикта отличаются от большинства книг его современников, как трагедия от натуралистической прозы или памфлета.

Очень жаль, что он написал так немного. Сил и таланта ему было отпущено куда больше, чем он успел реализо-

вать; хотя и то, что он успел, сделало его одним из лучших писателей современной России.

* * *

Со смерти Венедикта прошло два года. И по известному свойству памяти, постепенно изменилось представление о том, что казалось прежде важным и неважным. Так, литературные отношения, счеты и оценки, связанные с Венедиктом, отступили на второй план, а главное, что осталось, — наши не слишком частые встречи, частные обстоятельства и разговоры. И закончить эти заметки я хочу рассказом о двух загородных поездках, которые почему-то запомнились до мелочей.

В начале весны, во время Великого поста небольшая компания во главе с Венедиктом собралась за город. Приехали мы в подмосковное имение кого-то из лермонтовской родни, кажется, Шан-Гиреев. Место это было удивительное — вроде и отъехали недалеко, а казалось, откатило нас на полтора столетия назад. Над усадьбой стояла обморочная тишина, ни голосов, ни огней не было в доме — ныне санаторий для невротиков. Мы шли от станции в парк, по колено проваливаясь в снегу. Но сугробы, снежные отвалы вдоль аллей, лед на прудах — все это было уже лишь декорацией зимы. Декорацией казался и барский дом, поставленный "покоем", со стеклянной оранжереей, не освещенный электричеством. Даже гипсовый бюст советского бандита, чье имя носил санаторий, под снегом мог сойти за цветочную вазу.

И компания в это странное место у нас подобралась странная. Была, кроме Венедикта, поэтесса, красивая, словно сошедшая с Брюлловского портрета, и огромного роста молодой человек. Когда мы вышли из электрички и закурили, поэтесса припомнила было какую-то частушку, но осеклась — слишком это не вязалось с тишиной вокруг. А молодой человек держался совсем скованно: Великий пост он соблюдал с неистовой строгостью: ел, кажется, лишь семечки и сухофрукты, а на работу ходил

пешком. Дело в том, что он во время поста решил не прикасаться к женщинам, а в транспорте в часы пик этого было не избежать. Теперь он с грустью поглядывал на авоську, которую нес Венедикт, уже склоняясь к тому, чтобы выпить, и заранее переживая свой проступок.

С парковой дорожки, где лопата была воткнута в снег — но ни души кругом — мы сошли в снег по следу, который протапывал Венедикт. Наш предводитель, кажется, единственный не чувствовал грусти этого света, снега и воздуха, он твердо и осмотрительно шагал, как по снежной целине в лесу. Перебрались через каменный мостик с табличкой "Чертов мост". Мы нашли замечательное место на берегу пруда, приспособленное для культурного отдыха: кругом стояли три пенька, а посередине был положен кусок фанеры. Венедикт сидел на самом высоком пне, его друзья — на пеньках пониже, мне достались сломанные санки. Пили портвейн, молодой человек закусывал его изюмом из кулечка. Приторное вино и серый воздух сумерек; костерок, который сложила поэтесса, — все это окончательно умягчило наши души. И я запомнила красивую молодую женщину и грустного молодого человека пронзительной жалостью, с которой смотрела, как они прикрывают ладонями огонь костра.

Прервался этот благостный покой неожиданно и резко — Венедиктом. Он вдруг встал и, как пускают голыши по воде, швырнул в пруд пустую бутылку, потом вторую. Они со скрежетом и визгом полетели по льду. И все разом кончилось. Бросилось в глаза неблагообразие нашего застолья: стаканы и окурки в снегу, грязное пятно вокруг костра, наконец, эти проклятые бутылки в пруду. Мы мигом продрогли и заметили, что уже темно.

Раздраженные, замерзшие, мы молча спешили за Венедиктом. "Чертов мост" действительно превратился в "чертов" — он оброс льдом, под ним кипел водоворот. Вверх пришлось карабкаться по крутому откосу. Венедикт шагал, как на ходулях. Я шла последней, поскольку застряла

и начала сползать к воде. Молодой человек был в шаге от меня; я протянула руку, но он вдруг сложил ладони лодочкой и сказал: "Простите, но я не могу прикасаться к женщине". Поэтесса остолбенело смотрела сверху. "Венедикт!" — закричала я, уже предчувствуя ледяное купание. Он пролетел мимо, удержавшись у самой воды, и ровно и сильно, как трактор, потащил меня наверх.

В электричке мы почти не разговаривали, все были обижены друг на друга. Зато дома, отогревшись, я принялась обличать ханжество молодого человека. Венедикт, как обычно, был снисходителен, подшучивал и уверял, что прогулялись мы на славу. Оно конечно — но застрял в памяти скрежет бутылки, летящей по льду.

* * *

В Сергиевом посаде, в Лавре, я впервые побывала с Венедиктом. Собрались мы неожиданно, выехали довольно поздно, и в электричке он явно пожалел уже о своей аванюре. Я, глядя на его мрачное лицо, тоже. В вагоне была толпа людей, едущих из Москвы в свои пригороды. Дремлющие на лавках и стиснутые в проходе, в одинаково темных пальто, с тусклыми от усталости лицами, они заставляли чувствовать себя особенно неприятно. Венедикт все время выходил курить в тамбур, и стоящие с вождением глядели на освободившееся место. Как водится, не обошлось без пьяного, тот покрикивал и куражился, кругом молчали. Венедикт возвращался на свое место и сидел, закрыв глаза.

К Загорску вагон почти опустел, и наконец, мы вышли на обледенелый перрон. Кругом нас спешили, поталкивали, на площади те же молчаливые темные люди набивались в автобусы. Венедикт сказал, что мы пойдем пешком. Когда мы вышли на поворот к Лавре, и она открылась в дымящемся от мороза воздухе, Венедикт заметил, что она внизу, но кажется — выше этой горы. Мы спускались по крутой улице, и небо с бледными

звездами над куполами, словно приподнималось с каждым шагом.

В Лавре было немногочисленно, отъезжали последние автобусы "Интуриста". У часовни сверкали фотовспышки — японцы снимали живописного старца в ветхом пальто, галошах на босу ногу. Прошла вереница семинаристов, они немного замешкались, когда японцы отсалютовали им фотовспышками. Старец, тихая толпа женщин у часовни, соборы, палаты — все это было так ярко, неправдоподобно — я и не знала, что такое еще существует. Хотелось замешаться в эту толпу — но присутствие Венедикта останавливало. Пока я обегала двор, он стоял терпеливо и отдельно от всех, поглядывая на старика с бидоном святой воды, дымящейся на морозе. Так же терпеливо и равнодушно он прошел по музею, а в соборе остался у входа. Я пробыла там довольно долго, а когда спохватилась, Венедикта не было.

Он стоял во дворе и толковал со стариком, которого мы приметили. Старик был такой же высокий, худой, странно похожий на Венедикта. Он уговаривал Венедикта окунуться в проруби. Тот очень оживился, похоже, идея его увлекла. Когда я подошла, они оба стали уговаривать и меня. Венедикт подчеркивал пользу такого купания для здоровья и был особенно убедителен и серьезен. Я поглядела на сонную воду в бидоне и поежилась. "А ничего, дочка, — сказал старик, — столько людей купается, и никто не захворал, наоборот, исцеляются".

Они с Венедиктом вспомнили несколько случаев чудесных исцелений и простились с большим сожалением. У ворот я обернулась — старика уже не было. Два молодых милиционера перебрасывались снежками. Мы зашли в лавку, и Венедикт выбрал для меня масленку на толстых кривых лапках.

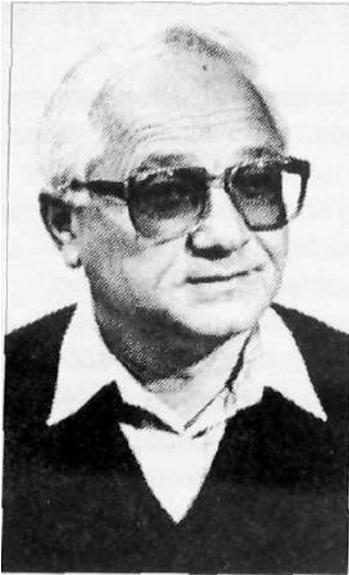
Вокруг Лавры был еще один волшебный мир — с чудесным стариком, милиционерами со снежками, разве-селей кособоким масленкой и светом в окнах деревянных

домов. Он был равно далек и от ее золоченой старины, и от печальной жизни черных фигурок, высыпавших на перрон и бегущих к автобусам.

Мы шли вдоль палисадников с кустами, оглохшими от снега, мимо окон с бумажными цветами и игрушками между рамами, голубым светом телевизоров и геранью на подоконниках. Мы подымались вверх, окруженные этим ровным, кротким теплом жизни, которого так не доставало в моем Питере, его Москве и, наверное, в Петушках, которых я никогда не видела.

1992

Альманах "Дом"



Хаим СОКОЛИН

В этом номере мы публикуем сокращенный вариант книги Хаима Соколина. В полном объеме она вышла на иврите. В рецензии на книгу ведущая израильская газета "Маарив" писала: "Итоговый вывод книги несомненно подобен взрыву. Если то, что в ней написано, верно, то местное нефтяное сообщество смеется над нами уже многие годы. И это еще мягко сказано" ("Маарив", 16.04.91).

ПОВЕСТЬ ОБ ИЗРАИЛЬСКОЙ НЕФТИ

Записки идеалиста

1

Август 1977 года. Самолет Аэрофлота вылетает из Шереметьевского аэропорта и берет курс на Вену. Среди пассажиров восемь семей еврейских эмигрантов, в том числе наша небольшая семья — жена, дочь и я. Из обычных в таких случаях вопросов — "откуда и куда" — задается только первый. "Откуда" — означает "из какого города". Оказывается, все семьи из Москвы и Ленинграда. Публика интеллигентная — инженеры, врачи, гуманитарии. Вопрос "куда" считается излишним. Все направляются в Америку. Наша семья — исключение, мы летим в Израиль. Но поскольку не спрашивают, мы об этом не говорим.

Постепенно разговор заходит о возможности работать по специальности. Кто-то спрашивает о наших профес-

сиях. Жена — химик, я — геолог-нефтяник. Общее заключение: "Ну, вам беспокоиться нечего. В штатах с работой проблем не будет". Вроде бы подходящий момент сказать о наших планах, что мы и делаем.

— Вы шутите! Не может быть! У вас в Израиле близкие родственники?

— Нет, у нас там вообще никого нет.

— Мы вам не верим. Это безрассудство. Подумайте хорошенько.

Опять подумать! Сколько мы уже думали и говорили об этом. Я перечитал все, что было доступно в СССР на английском языке о геологии и поисках нефти в Израиле. Даже на основании этой неполной информации был убежден, что в Израиле есть нефть. Несколько удивляло то, что поиски в такой небольшой стране ведутся уже более 20 лет и ничего существенного пока не найдено. Удивляло, но не обескураживало. В мировой практике известно много случаев, когда нефть находили в районах, где до этого десятки лет проводилась безрезультатная разведка. Перелом происходит тогда, когда появляются новые идеи, новые разведочные концепции. Где-то глубоко сидела тщеславная мысль, знакомая каждому профессионалу, — может быть, я буду тем, в чью голову придет такая идея.

По крайней мере одно условие, необходимое для этого, имелось. У меня было преимущество свежего подхода к проблеме — то, что американцы называют *open mind approach*. Короче говоря, в профессиональном отношении сомнений не было, что мое место в Израиле. Что касается "плохих писем", то наша семья на них просто не реагировала. Правда, чтобы как-то избежать риска с трудоустройством, примерно за год до отъезда я сделал попытку прозондировать почву в Израиле.

Знакомый эмигрировал в Америку, и я передал ему мою только что вышедшую книгу и список публикаций, чтобы он переслал все это в Геологическую службу Израиля в Иерусалиме. В Риме он передал пакет в израильское посольство с просьбой сообщить мнение Геологиче-

ской службы о возможности трудоустройства доктора Соколина в Израиле. Он пробыл в Риме три месяца, но так и уехал, не получив ответа. Большого значения я этому не придавал. Могло быть множество причин, по которым ответ не пришел.

Итак, мы летим в Израиль. Попутчики по самолету снова и снова приводят какие-то доводы, стараются переубедить. В конце концов жена и дочь начинают колебаться и предлагают компромисс: "В Израиль мы всегда успеем, может быть, сначала посмотрим Америку?" Но я непреклонен и пресекаю этот разговор. В семье считается (вернее, тогда считалось), что я "политически" более грамотен и лучше разбираюсь в обстановке.

В Венском аэропорту семь семей направляются к представителю ХИАСа, а мы следуем за представителем Сохнута. В какой-то момент обе группы останавливаются на расстоянии 20 шагов одна от другой. От "прямоков" отделяется женщина-ленинградка, подходит к моей жене и говорит: "Что вы делаете, идите с нами, еще есть время". Но мы желаем им всем удачи, прощаемся и идем к микроавтобусу, который доставляет нас в закрытый пансионат.

На второй день жену и меня приглашают в администрацию, где нас ждет человек средних лет, говорящий по-русски, который отрекомендовывается израильским консулом в Вене. Он говорит, что, просматривая списки новоприбывших, увидел, что я доктор наук и решил познакомиться с нами. Консул — первый официальный представитель израильского правительства, с которым мы встретились, и поэтому чувствуем себя польщенными. Он интересуется моим профессиональным опытом, спрашивает, действительно ли я доктор наук или кандидат. И объясняет, что на Западе и в Израиле кандидат тоже считается доктором. Узнав, что я доктор и что 20 лет работаю в разведке нефти, говорит, что стране очень нужны такие специалисты. К сожалению, сейчас все больше ученых едут мимо, в Америку. Напоследок он спра-

шивает, есть ли у нас какие-нибудь просьбы, может ли он чем-то помочь. У нас никаких просьб нет.

На завтра консул заходит в нашу комнату и сообщает, что он связался с Тель-Авивом, передал о нашем предстоящем приезде. В Лоде при распределении ульпанов нам не придется стоять в общей очереди. К нам подойдет представитель Министерства абсорбции, оформит все необходимые документы и направит в специальный ульпай для ученых в Тель-Авиве. Мы очень тронуты таким вниманием. Это особенно приятно еще и потому, что сделано без какой-либо просьбы с нашей стороны. "Разве в Америке могло быть подобное", — говорю я жене и дочери, подводя итог диспуту в самолете.

2

Самолет Эл-Ал приближается к Израилю. Все взволнованы и приникли к иллюминаторам. Посадка в Лоде, получение багажа, таможенные формальности. Затем пассажиров проводят в большой зал. За столами сидят чиновники Министерства абсорбции, к которым выстраивается длинная очередь. На всякий случай тоже становлюсь в нее, хотя и знаю, что нас должны вызвать отдельно. Никто не вызывает. И когда подходит моя очередь, я сажусь на стул напротив освободившегося "пакида". Он по-деловому сух, говорит по-русски с акцентом. Ни слов приветствия, ни поздравления по поводу такого события, как возвращение на историческую родину.

— Есть два ульпана, в Араде и Тверии. В какой хотите?

— Простите, но вам должны были сообщить обо мне из Вены.

— О чем сообщить?

— О том, что для меня приготовлено место в ульпане Бейт-Бродецкий в Тель-Авиве. Дело в том, что я доктор наук.

— Каждый третий из России говорит, что он доктор наук. У вас есть диплом?

— Конечно. Но оригинал отправлен через голландское посольство. С собой только копия.

— Копия — это не доказательство. (Я почувствовал себя подозреваемым.) Кроме того, в Бейт-Бродецком нет мест. Он переполнен.

— Но консул в Вене связывался с Тель-Авивом и сказал, что для нашей семьи есть место.

— Ничего не знаю. Решайте быстрее — Арад или Тверия.

Нахожу нужную комнату. За столом скучающий пожилой человек. Называю себя и говорю, что только что прилетел из Вены. Он оживляется, раскрывает толстую амбарную книгу и спрашивает, что я знаю об известных отказниках и активистах. Я решаю, что это, видимо, необходимая преамбула перед тем как перейти к вопросу об ульпане. Говорю, что знаком с несколькими из них, но не близко. Он понимает, что я не очень ценный источник, и с удивлением спрашивает, зачем я к нему пришел. В ответ ссылаюсь на консула в Вене. Да, он его хорошо знает, но никакого сообщения не получал. И вообще, он работник МИДа, а ульпанами занимается Министерство абсорбции.

Возвращаюсь к жене и дочери. После короткого обсуждения выбираем ульпан в Тверии. Первый день как-то обидно омрачен. Возможно, ульпан в Тверии будет не хуже, а даже лучше, чем Бейт-Бродецкий. Но досадно было от какого-то необъяснимого расхождения между словами в Вене и делами в Лоде. В сознание закрадывалось смутное ощущение отсутствия порядка. Понимание придет позже, когда станет ясно — то, что произошло в Лоде, не случайность, а визитная карточка Израиля.

Через полтора месяца я впервые оказался по делу в Тель-Авиве и зашел в Бейт-Бродецкий. Он был заполнен менее, чем наполовину. Как сказал директор, ученых приезжает очень мало, и ульпан еще ни разу не был заселен полностью.

Поздно ночью едем на такси из Лода в Тверию. Поражает большое расстояние, ощущение которого усиливается от того, что по обе стороны дороги непрерывно

возникают близкие и дальние огни кибуцов, городов и промышленных предприятий. Начинает казаться, что страна не такая уж маленькая. С улыбкой вспоминаю, как еще недавно в России, проезжая где-нибудь расстояние 80 километров, обязательно отмечал про себя — "вот тебе и весь Израиль, от Средиземного до Мертвого моря".

3

Примерно за два месяца до окончания ульпана настало время интересоваться работой. По существу, было только два места, где я мог бы работать по своей специальности — геология и разведка нефти.

В Иерусалиме находится Геологическая служба Израиля, в составе которой был отдел нефти; и в Тель-Авиве — Компания по поискам нефти (аббревиатура на иврите ХАНА). Обе организации принадлежат Министерству энергетики. Кроме того, в те годы существовала еще промежуточная организация между ХАНА и Министерством, которая называлась Национальная нефтяная компания. Это была буферная компания с неясными функциями и штатом из нескольких человек — одно из многих ненужных учреждений в Израиле, созданных для того, чтобы кто-то получил должность ее президента. В то время я еще этого не знал и написал письмо ее президенту. Тогда им был полковник в отставке Исраэль Лиор, бывший военный секретарь Голды Меир.

Встреча вскоре состоялась. Кроме Лиора присутствовал его советник по геологии Йоель Фишер. Вопросы задавал только Лиор. Первый вопрос был по-военному прямолинейен — участвовал ли я когда-либо в поисках и открытии месторождений? "Разумеется", — ответил я. "Назовите эти месторождения, когда и где они были открыты". Несколько озадаченный, я начал перечислять названия, регионы, годы. Фишер быстро записывал. Когда я закончил, Лиор что-то на иврите сказал ему, и тот вышел из кабинета со списком в руках. Я улыбнулся. Было совершенно ясно, что он отправился проверять

правильность моей информации по международному справочнику. Второй раз, после Лода, я оказался под подозрением, что я не тот, за кого выдаю себя. Утешало, что на этот раз имею дело с профессионалами, а не с враждебно настроенным чиновником-пакидом.

Пока Фишер ходил, разговор принял несколько неожиданный оборот.

— Расскажите мне о своих идеях, где и на какую глубину нужно бурить в Израиле, чтобы найти нефть? — огорошил меня президент Национальной нефтяной компании.

— Видите ли, я только три месяца в стране, занимаюсь в ульпане, еще не видел ни одной геологической карты, ни одного сейсмического профиля. У меня еще нет никаких идей. Я должен начать работать, и тогда, надюсь, появятся идеи.

Лиор был явно разочарован.

— Но вы же говорите, что вы доктор. Я думал, у вас есть предложения.

— Пока предложений нет и быть не может. Только после изучения геологических материалов я смогу что-либо сказать.

Вернулся Фишер и сообщил президенту о результатах проверки. Разговор между ними на иврите я, конечно, не понял. Вероятно, в справочнике удалось отыскать не все данные, так как в Советском Союзе публикуется далеко не полная информация о нефтяных месторождениях. Лиор поднялся и, дав понять, что встреча окончена, сказал вполне дружелюбно:

— Буду рад продолжить, когда у вас появятся предложения о разведке нефти в Израиле.

Однако, дожидаться этой встречи не пришлось. Вскоре полковник был переброшен на другую руководящую работу — начальником футбольной команды "Хапоэль". А на его место был назначен полковник Элиазар Барак.

Встреча с Лиором оставила странное впечатление. Отсутствие какого-либо интереса ко мне как к специалисту перевело разговор из области профессиональной в область местечковой подозрительности, недоверия к чужаку.

Никогда позже на Западе мне не приходилось сталкиваться с таким отношением к профессионалу во время интервью. Однако, чувство недоумения не уменьшило моего энтузиазма и уверенности, что все в конечном счете образуется. Оставалось еще два места, где я мог бы работать — ХАНА и Геологическая служба.

Президентом ХАНА был в то время полковник Рафаэль Гольдис, который, как меня предупредили, делами не интересовался, а свою должность рассматривал как синектуру. Поэтому я договорился встретиться с главным геологом компании Элизером Кашаи и его заместителем Цфанией Коэном. На сей раз разговор носил более профессиональный характер. Собеседники даже проявили интерес к моей прежней работе в России, и я решил положить на стол книгу, вышедшую накануне отъезда в Израиль. Книга так и осталась на столе нераскрытой. После нескольких вопросов о тематике и количестве публикаций мне было сказано, что, к сожалению, мой профессиональный уровень превышает тот, который требуется в компании. Лучше, чтобы я искал работу где-нибудь в университете. "Вы же не согласитесь составлять проекты бурения скважин или разведки небольших участков", — сказал Кашаи как о чем-то само собой разумеющемся. "Почему не соглашусь?", — с удивлением ответил я. — "Мне не раз приходилось делать такую работу, я могу выполнять ее и в Израиле".

Несмотря на докторскую степень, я никогда не был университетским ученым. Начав профессиональную карьеру в качестве геолога на нефтяном месторождении, я многие годы занимался бурением скважин, разведкой и добычей нефти. Составил десятки проектов разведочных работ. В 26 лет я стал главным геологом производственного предприятия по добыче и разведке, которое производило в год столько же нефти, сколько вся Австрия — одна из старейших нефтяных стран Европы. А количество ежегодно бурившихся скважин намного превышало число скважин в Израиле в годы наибольшей разведочной активности.

В дальнейшем, перейдя в головной НИИ Министерства нефтяной промышленности СССР, я до самого отъезда в Израиль работал в тесном контакте с нефтеразведочными организациями, занимаясь чисто практическими проблемами поисков месторождений. Разумеется, в институте я имел возможность анализировать и обобщать опыт разведки не только в каком-либо одном месте, а во многих районах СССР и за рубежом, и использовать его в конкретных геологических условиях того или иного района.

Последний крупный проект, которым я руководил и который был закончен буквально за месяц до отъезда, касался сравнения методов разведочных работ в СССР и США.

Читателю будет интересно узнать, что на огромной территории бывшего Союза имелись практически все без исключения геологические ситуации, известные в мире. По их разнообразию тогдашний СССР превосходил все остальные страны, включая США. Поэтому советские геологи, если они по характеру своей работы получали возможность изучать и обобщать особенности разведки хотя бы в масштабах страны, приобретали опыт, сравнимый с опытом западных геологов, работавших последовательно во многих странах. Мне в этом отношении особенно повезло. Заметим, что СССР в те годы прочно занимал первое место в мире по добыче нефти (к великому удивлению я вскоре обнаружил, что этот факт не был известен израильским геологам).

Обо всем этом в общих чертах я сказал Кашаи и Коэну. Но это не переубедило их: "Нет, нет. Ваш профессиональный уровень слишком высок для нашей компании".

Трудно представить себе большой абсурд, чем "сверхквалификация" геолога, мешающая поискам нефти. Само это слово лишено какого-либо смысла. В любой области существуют лишь специалисты квалифицированные или недостаточно квалифицированные. Других категорий нет. Я мысленно перенес это заявление, скажем, на хирурга, которому говорят, что он чересчур квалифицирован для проведения операции на открытом сердце. Такое срав-

нение не лишено оснований, так как поиски нефти в сложных геологических условиях требуют не только определенных знаний и опыта, но так же, как и сложные неординарные хирургические операции, искусства. Раньше я полагал, что минусом может быть лишь недостаточная квалификация. В Израиле профессиональным изъясном является слишком высокий уровень.

4

Итак, мои шансы на получение работы быстро уменьшались. Оставалась, правда, Геологическая служба в Иерусалиме, но в сознание уже закрадывалась мысль о том, что Израиль во мне вообще не нуждается. С точки здравого смысла это было трудно объяснить. Поиски нефти в стране проводились уже более двух десятилетий. Положительных результатов не было получено. В этой ситуации казалось неоправданным отказываться от услуг специалиста, имеющего более чем 20-летний стаж работы в стране, успехи которой в разведке нефти признаны во всем мире.

Я боялся потерять последнюю надежду и умышленно откладывал поездку в Иерусалим. Но вот, наконец, этот неизбежный день наступил — мой первый день в Иерусалиме. Увидев город, столь не похожий на все, что мне приходилось видеть раньше, я почти забыл о цели приезда. Предстоящая встреча в Геологической службе как-то сама собой отодвинулась на задний план. Я бродил по узким улочкам Старого города, по красивым новым районам, побывал у Стены Плача и был охвачен незнакомым мне дотоле волнением. Меня захлестнуло чувство глубокой исторической связи между событиями двухтысячелетней давности и моей собственной жизнью. Казалось, завершился некий гигантский исторический цикл. И когда мои предки покинули этот легендарный город, странствовали тысячелетиями по миру, передавая из поколения в поколение заветную мечту о возвращении. И вот я осуществил ее. Меня охватило почти мистическое

чувство предопределенности судьбы. Стало казаться, что не так уж важно, как сложатся дела с работой. Главное — жить в этом городе, быть частью его, дышать особым воздухом еврейской истории.

Все эти мысли теснились в голове каких-то два дня, которые удалось выкроить для первого знакомства с Иерусалимом. На третий день предстояла встреча с директором Геологической службы Эли Зоаром и пришлось поневоле спуститься на землю. Да, он уже слышал обо мне, был бы рад помочь, но бюджет ограничен, вакансий нет. Попытается что-то сделать, но не может дать никаких обещаний... Тогда я еще не знал, что бюджет здесь ни при чем. Каждый работодатель мог получать зарплату для нового репатрианта из специального фонда Министерства абсорбции, по крайней мере, в течение двух лет. Суть отговорки была в нежелании предоставить мне работу. Через год совершенно случайно я узнал, в чем была истинная причина.

После разговора с Зоаром я почувствовал, что мечты о Иерусалиме развеиваются так же быстро, как нахлынули. Не хотелось признаваться себе, но получалось, что попутчики по самолету были правы — не следовало так резко реагировать на предложение жены и дочери относительно Америки.

Пора было возвращаться в Тверию, в ульпан, занятия в котором теперь теряли всякий смысл. До автобуса оставалось несколько часов. Не знаю почему, но я решил еще раз заглянуть в Геологическую службу и попытаться поговорить с начальником нефтяного отдела доктором Гедалией Гвирцманом, о котором мне кто-то уже рассказывал. Эта встреча стала решающей.

Разговор сразу же принял живой, неофициальный характер — немного о жизни, о семье, но в основном о профессиональных делах. Он был среднего роста, в вязаной кипе, умные добрые глаза за стеклами очков. Выяснилось, что мы ровесники, обоим было по 46 лет. Я с удовольствием отвечал на его вопросы, объяснял иллюстрации в книге, рассказал о разведочной концеп-

ции, к которой пришел на основе сопоставления нескольких нефтяных провинций мира. Это была беседа между людьми, работающими в одной области, которым есть что рассказать друг другу.

(Как мне пришлось узнать позже, такая непринужденная атмосфера обычно создается во время профессиональных интервью на Западе, где умение проводить собеседование — одно из необходимых качеств руководителя.)

Разговор продолжался около двух часов. В заключение Гедалия сказал, что у него нет сомнений в том, что я должен работать в его отделе, и обещал сделать для этого все возможное. Ободренный, я уехал в Тверию. Вскоре Гедалия сообщил, что ему удалось убедить руководство Геологической службы устроить меня на зарплату из специального фонда Министерства абсорбции.

Закончив ульпан, мы переехали в Иерусалим. "В конце концов у всех все устраивается в Израиле" — этот оптимистический рефрен мне не раз приходилось слышать со дня приезда в страну. "Похоже, так оно и есть", — подумал я, получив работу и счастливую возможность жить в Иерусалиме.

5

В начале 1978 года, полгода спустя после приезда в Израиль, я начал работать в Геологической службе. И в житейском, и в профессиональном отношении все складывалось на редкость удачно. В Союзе разрешение на выезд мы получили через шесть месяцев после подачи заявления. Я продолжал работать до последнего дня и поэтому счастливо избежал многолетнего перерыва, столь болезненно сказавшегося на профессиональных судьбах многих ученых и инженеров, уехавших до и после меня. Эту удачу я объясняю тем, что мы подали заявление накануне Белградской конференции по правам человека. Такое везение на фоне мрачной политической обстановки конца 70-х годов и раздувания антиизраильской истерии даже немного пугало. Было смутное ощущение, что в

жизни обычно все сбалансировано и на каком-то этапе мне придется пройти через свою полосу неприятностей.

Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что эта полоса началась с момента приезда в Израиль. И если бы не встреча с Гедалией Гвирцманом, мое короткое пребывание в стране и стало бы платой за предыдущее везение. "Короткое" потому, что, не имея работы, я бы не задержался в Израиле, — в отличие от многих других, заявлявших, что они готовы "землю копать" на исторической родине. Копать землю я не был готов, да и родина в этом не нуждалась. В то же время вынужденный отъезд из Израиля был бы одной из самых больших неудач и разочарований в моей жизни. Но как бы то ни было, я благополучно миновал эту полосу неприятностей, и все продолжало складываться хорошо.

Геологическая служба расположена в Меа Шеарим — религиозном квартале Иерусалима. Когда впервые попадаешь в этот район ортодоксального иудаизма, то кажется, время здесь остановилось где-то в XVII веке. Мужчины даже в жару одеты в длиннополые сюртуки, черные фетровые шляпы или меховые шапки, некоторые в носках до колен и бриджах. Бритоголовые женщины в париках или косынках, в безвкусно сшитых закрытых платьях.

Вся жизнь мужчин проходит в ешивах и синагогах, женщин — в рожании детей и домашних делах. Они постоянно или беременны, или кормят очередного ребенка. На каждом шагу можно видеть молодых родителей, не старше 30 лет, в окружении пяти-шести ребятишек, один другого меньше. Как правило, семьи живут в бедности и тесноте. Зато в районе огромное количество синагог и ешив. Я с любопытством наблюдал эту среду, известную мне только по книгам.

Геологическая служба занимает несколько небольших двухэтажных домиков, построенных во время первой мировой войны для немецкого гарнизона, стоявшего тогда в Иерусалиме. Кроме того, имеется новый корпус, где расположены лаборатории и библиотека. Лаборатории оснащены современными приборами и оборудованием.

Но в большинстве рабочих комнат царит беспорядок — столы завалены грудями бумаг и отчетов, материалы лежат также на стульях и на полу. Все это характеризует особый израильский стиль ведения дел, присущий многим научным и государственным учреждениям.

Гедалия предложил мне сначала ознакомиться с материалами по геологии и разведке нефти в стране, а затем уже решить, чем бы я хотел заняться. Это было как раз то, с чего я и сам планировал начать, и с энтузиазмом взялся за дело. Около месяца ушло на изучение отчетов, проектов, публикаций, относившихся к поискам нефти в Израиле за 30 лет его существования. Вывод, к которому я пришел, был ошеломляющим. На небольшой территории страны были пробурены сотни скважин и выполнен внушительный объем геофизических работ, но ни разу не были проведены обобщение и анализ этого огромного фактического материала или хотя бы предпринята попытка ревизии концепций, на которых основывалась безуспешная разведка. Ни в прошлом, ни в настоящем не существовало единой стратегии поисков, общей согласованной программы геофизических и буровых работ. Вся нефтепоисковая активность носила стихийный, хаотический характер. Это напоминало ситуацию в начале века в таких старых нефтяных районах, как, например, Техас или Баку, где сотни независимых предпринимателей бурили скважины наугад или на основании сомнительных поверхностных признаков. Одни скважины оказывались удачными, другие нет. Никто не анализировал накопленную информацию. Те времена давно ушли в прошлое, уступив место целенаправленным поискам на базе регионального и детального анализа всей совокупности геологических материалов. Особенно это важно в районах, где многолетняя разведка не приводит к положительным результатам. Территория Израиля относится именно к такой категории.

Без постоянного анализа и ревизии концепций нельзя двигаться дальше. Эта простая истина лежит в основе философии поисков во всех нефтяных странах мира. Например, в СССР в каждом крупном разведочном регионе

существовали специальные группы геологов и геофизиков, выполняющие такую работу. Мне самому не раз приходилось в ней участвовать, и результаты неизменно приводили к открытию новых месторождений там, где разведочные работы заходили в тупик.

Как уже сказано, в Израиле, при наличии мощной техники бурения и современного геофизического оборудования, обобщение и использование данных, полученных с помощью этой новейшей технологии, находилось (и находится) на очень низком уровне. Чтобы картина была понятнее, можно снова прибегнуть к сравнению с медициной и представить, например, такую ситуацию, когда при лечении сложной, запущенной болезни различные органы больного исследуются с помощью самой современной аппаратуры, но результаты не суммируются и не анализируются в совокупности. Забегая вперед, следует сказать, что положение не изменилось и сегодня.

В 1989 году американская нефтяная компания Джеотек Энерджи Корпорейшн (Техас) провела частичную ревизию прошлых разведочных работ в Израиле и выделила несколько перспективных районов, бурение в которых планировалось в 1990 году. На вопрос корреспондента газеты Джерузале́м Пост — почему в течение десятилетий бурение в этих районах не привело к открытию нефти, президент компании Джерри Таненбаум ответил: "На основании того, что мне известно о прошлой разведке в Израиле, можно сделать только один вывод — они (так в тексте) просто считали, что для получения нефтяного фонтана достаточно сделать дырку в земле" (Джерузале́м Пост, 5 октября 1989).

Более убийственную оценку трудно себе представить. С точки зрения того, что американцы называют *exploration thinking* (разведочное мышление), это, по существу, уровень начала века, о котором говорилось выше.

Но вернемся к 1978 году. Я поделился своим выводом с Гедалией, и он без колебаний согласился.

— Да, к сожалению, это так. Обобщения и анализа материалов не проводилось.

— Если это так, то эту работу нужно выполнить как можно скорее. И я бы хотел ею заняться.

— По какому району?

— По всей стране. В прошлом я выполнял подобные работы по регионам, во много раз превосходящим территорию Израи́ля.

Гедалия был смущен.

— Дело не в размерах территории. Здесь существует психологический фактор. Пойми, тебе придется проводить ревизию и, возможно, даже критиковать идеи и гипотезы других геологов, которые и сегодня продолжают сидеть на своих местах. Это сразу же приведет к конфликтной ситуации. Не следует с этого начинать работу в стране.

Для меня это было еще одним "открытием Израи́ля". В СССР каждый геолог, а тем более главный геолог, то есть человек, достигший определенного профессионального и административного уровня, тоже чувствителен к критике. Эта черта, вообще, свойственна человеческой природе независимо от национальности и страны. Тем не менее везде существуют пути исправления профессиональных ошибок, а если надо, то и замены руководителей. Никто не застрахован от ошибок и от потери должности.

Со временем я узнал о порочной системе постоянства работников в Израиле, именуемого здесь "квиютом", и о молчаливом соглашении избегать взаимной критики.

— Но проблему надо рано или поздно решать. Без этого нельзя двигаться дальше, — пытался я настаивать.

Гедалия был непреклонен.

— Все это так, но не в условиях Израи́ля. Я предлагаю тебе взять район Мертвого моря. Там сейчас разведку прекратили. По общему мнению, район перспективный. Посмотри его, подними старые материалы. Может быть, обнаружится что-нибудь интересное. Этим ты никого не заденешь. К тому же там есть соляные купола, а ты ведь работал в солянокупольных районах.

В 1976 году вышла моя книга по геологии и нефтегазоносности четырех крупнейших солянокупольных рай-

онов мира, расположенных в СССР, США, Северном море и Африке, которая была и остается единственной публикацией по сравнительному анализу этих солянокупольных регионов в геологической литературе.

Соляные купола — это своеобразные геологические структуры, образованные ископаемой солью и имеющие форму подземных гор высотой до нескольких сотен и даже тысяч метров. Иногда они возвышаются над земной поверхностью, как, например, гора Сдом в районе Мертвого моря. Очень часто соляные купола свидетельствуют о газовых месторождениях.

6

С первого же дня работа захватила меня. Предстояло скрупулезно изучить все, что было опубликовано или содержалось в архивах, относящихся к Мертвому морю, просмотреть документацию по пробуренным скважинам, образцы пород, поднятых при бурении, геофизические материалы. Нельзя было упустить ни одного документа, письма, записки. Все это хранилось в многочисленных папках, покрытых пылью — свидетельство того, что они не раскрывались долгие годы. Необходимо было также выполнить несколько геологических маршрутов на местности.

Мертвое море — это уникальный геологический, геохимический и топографический феномен, подобного которому нет на Земном шаре. Топографически море представляет собой самое низкое место на Земле — поверхность воды расположена на 400 метров ниже уровня мирового океана. Геологически — это самая молодая часть гигантского Восточно-Африканского рифта, протянувшегося от Замбии и Ботсваны на юге до Красного моря на севере. У южной оконечности Синайского полуострова рифт раздваивается — западная ветвь образует Суэцкий залив, а восточная — залив Акаба, долину Арава, Мертвое море, долину Иордана и далее через Кинерет

продолжается в долину Хула. В Суэцком заливе и на его обоих берегах открыто много нефтяных месторождений.

Вода Мертвого моря содержит самые высокие в мире концентрации калиевых, бромистых и магниевых солей, на базе которых построен химический комбинат.

Прямые признаки нефти в этом районе в виде натеков на стенках вади (сухие овраги), высачиваний жидкой нефти из трещин в горных породах, а также огромных глыб асфальта, всплывающих время от времени на поверхность моря, известны с глубокой древности. Римляне называли Мертвое море Асфальтовым озером. Вот что писал о нем греческий историк Диодорус, живший в эпоху Юлия Цезаря (102—44г. до н.э.): "В этом обширном озере имеется много асфальта, который используется лишь в ничтожных масштабах. Каждый год огромные куски всплывают со дна на середину озера. Варвары, живущие на его берегах, называют более крупные куски "быками", а меньшие — "телятами". С берега плавающие глыбы асфальта выглядят как острова. За двадцать дней до их появления вокруг озера возникает неприятный запах, а изделия из серебра, золота и меди тускнеют. Воздух становится легко воспламеняющимся. Эти явления исчезают, когда асфальт всплывает на поверхность воды." Описание это свидетельствует о том, что перед тем, как глыбы асфальта, то есть окисленной нефти, отрывались от дна и всплывали на поверхность, струи сероводородного газа прорывались с еще больших глубин и достигали атмосферы. Несколько позже Диодоруса еще одно подтверждение столь необычного природного явления было дано греческим историком и географом Страбоном, жившим в первом столетии новой эры. Вслед за ним Иосиф Флавий описал технологию асфальтового промысла.

Большая часть выловленного асфальта отправлялась в Египет, где во времена фараонов и Птолемеев он употреблялся для изоляции водохранилищ, подвалов домов, зернохранилищ, саркофагов, а также для предохранения ценных деревянных статуй и мумификации умерших. Уже в древние времена Мертвое море считалось важным эко-

номическим владением, и на протяжении столетий оно непрерывно переходило из рук в руки. Египет, Вавилон, Сирия, Ассирия, Персия, Греция, а затем и Рим поочередно владели этой асфальтовой кладовой, и каждый новый завоеватель создавал здесь асфальтовый промысел. Сохранилось свидетельство, что Марк Антоний подарил его Клеопатре, которая сдала предприятие в аренду Малхусу-набатейцу. Последний не выполнил своих финансовых обязательств и по приказу Клеопарты был наказан Иродом. Во времена крестоносцев асфальт отправлялся в Европу и использовался там как медицинское средство.

В более поздние эпохи явления, описанные Диодором, продолжались, но стали более редкими. В 1834 и 1837 годах американский исследователь Эдвард Хитчкок наблюдал большие массы асфальта, всплывшие на поверхность после землетрясения. Спустя почти сто лет, в 1925 году геолог Блэйк сообщил о 150 тоннах асфальта, появившегося на поверхности моря в районе Эйн Геди. И, наконец, в 1958 году израильский геолог Яков Нир сфотографировал глыбу асфальта высотой в человеческий рост напротив Масады.

Все эти исторические и современные данные с несомненностью указывали на существование на глубине залежей нефти, которые служат источником асфальта. Что касается относительной древности исторических описаний, то несколько тысяч лет в масштабе геологического времени являются ничтожно малым периодом, и то, что наблюдалось во времена Римской империи, может считаться современным явлением с геологической точки зрения. Поэтому неудивительно, что после образования государства Израиль первая разведочная скважина с символическим названием Мазал-1 была пробурена именно в районе Мертвого моря. Бурение этой скважины можно считать началом активной разведки этого уникального геологического региона. Но, как известно, нефть здесь до сегодняшнего дня так и не обнаружена.

7

К 1978 году, когда Гедалия предложил мне заняться Мертвым морем, в этом небольшом районе были пробурены 11 разведочных скважин глубиной от 600 до 4000 метров, не считая более 20 мелких скважин. По результатам бурения был сделан вывод о бесперспективности дальнейших поисков. В 1976 году они были прекращены.

Хотя предложение Гедалии было продиктовано скорее психологическими, нежели геологическими соображениями, я сразу же почувствовал, насколько эта работа профессионально интересна. Спустя пять лет, когда я работал советником по международной разведке в канадской компании, мне пришлось производить оценку нефтяного потенциала Ботсваны — страны, в которой берет свое начало гигантская рифтовая система, оканчивающаяся в Израиле. Благодаря этому я получил возможность детально изучить геологию на обоих ее концах, разделенных расстоянием более 6000 километров. Незадолго перед тем промышленные залежи нефти были обнаружены примерно на полпути между Израилем и Ботсваной — в средней части рифтовой зоны, расположенной в Судане. И тогда я лишней раз убедился, насколько интересна геология рифта и насколько перспективны различные его участки для поисков нефти.

Но вернемся к Мертвому морю. В ситуации, когда в каком-либо районе многолетняя разведка не приводит к открытию месторождений, необходимо найти ответы на два принципиальных вопроса. Во-первых, имеются ли здесь вообще объективные геологические предпосылки для образования и сохранения залежей нефти? И если на этот вопрос ответ будет аргументированно положительным, то следующий вопрос касается разведочной концепции — была ли она адекватна конкретным геологическим условиям района? По этим двум направлениям я и построил свою работу.

Чтобы ответить на первый вопрос, помимо собственных полевых наблюдений, я собрал и проанализировал все

имевшиеся сведения о прямых и косвенных признаках нефти и газа на поверхности и в скважинах. Эти сведения были разбросаны по сотням публикаций, отчетов, кратких записок и даже личных писем, хранившихся в архивах. Данные, собранные вместе и рассмотренные под единым углом зрения, показывали, что район Мертвого моря буквально дышит нефтью. В документах были зафиксированы и весьма бурные нефтегазопроявления. В одном случае, например, дальнейшее углубление скважины оказалось технически невозможным из-за непрерывного притока в нее тяжелой вязкой нефти. В другом случае аварийный фонтан горючего газа из скважины сорвал с места буровую вышку и оборудование. Практически в каждой пробуренной скважине были обнаружены прямые или косвенные признаки нефти. Однако, несмотря на то, что поиски проводились в течение 23 лет, неудачи следовали одна за другой. Учитывая чрезвычайно малую площадь района, столь продолжительная безрезультатная разведка была сама по себе фактом беспрецедентным в истории нефтяной промышленности. Напрашивался вопрос, как в известном анекдоте, — "или район не тот, или разведка не та?"

8

Примерно через год после начала работы произошло событие, которое выбило меня из колеи. По каким-то делам я зашел в Иерусалимское отделение Сохнута, и начальник отдела алии Бенцион Фикслер попросил секретаря принести мой файл. Он раскрыл его, и в этот момент его вызвали в соседнюю комнату. Папка оказалась открытой на первом подшитом в ней документе. Это было письмо на иврите. Поразительной была дата письма — оно было написано за год до моего приезда в Израиль! Когда Фикслер вернулся, я спросил его, что это за письмо и каким образом оно могло появиться в то время, когда я еще находился в России и даже не обращался за получением визы? Он прочитал его и сказал, что это ответ

Геологической службы на запрос, поступивший через посольство в Риме.

— Что говорится в письме? — спросил я.

— Здесь сказано, что они рассмотрели документы и считают ваш приезд нецелесообразным, — с неохотой ответил Фикслер.

Еще не осознав полностью смысл письма, я испытал шок от этой очень уж знакомой формулировки. Ах да, конечно, — это же стандартная формулировка ОВИРа: "Рассмотрев... считаем выезд нецелесообразным". Вот где "отказ" настиг меня! Не успев подать документы в ОВИР, я уже попал в отказники здесь, в Израиле. Было над чем посмеяться... или поплакать.

— Почему же вы не переслали письмо адресату? — с трудом сдерживаясь, спросил я.

— Мы не отправляем такие письма, — сказал Фикслер. И, увидев выражение моего лица, добавил: "Не стоит волноваться. Вы же работаете. Мы знали, что все будет хорошо. В Израиле никто не умирает с голоду."

— Но как вы посмели перехватить личное письмо?

— Наша задача привозить евреев в Израиль, а не отпугивать их, — невозмутимо ответил Фикслер.

Самое любопытное в этой истории то, что волноваться действительно не стоило. Как я узнал впоследствии, любая научная или профессиональная организация в Израиле — университет, институт, госпиталь — отвечают на подобные запросы, точно так же делая все возможное, чтобы предотвратить приезд высококвалифицированных коллег.

В моем случае возмутительным был лишь факт перехвата письма Сохнутом. Все остальное вполне вписывалось в рамки профессиональных взаимоотношений в Израиле. Из-за этого страна теряла, теряет и будет терять крупных специалистов в науке, технике, медицине и других областях.

В Иерусалимском отделе трудоустройства специалистов висит плакат, изображающий человеческий мозг в разрезе. Надпись на английском гласит: grey matter mat-

ters in Israel (серое вещество ценится в Израиле). Вопрос лишь в том — насколько серое?

Еще более печально то, что такие местечковые нормы взаимоотношений существуют не только в науке. В своей автобиографии Ариэль Шарон рассказывает, как в 1968 году начальник генштаба Хаим Бар-Лев отказался продлить его контракт, то есть заставлял покинуть армию. Шарон был в то время 41-летним генералом, одним из лучших в стране. Поводом для конфликта послужила дискуссия о так называемой линии Бар-Лева. Шарон высказался против ее строительства, считая саму концепцию устаревшей и неэффективной. Война 1973 года показала, насколько он был прав. Но тогда, в 1968 году, Шарон удержался в армии только благодаря вмешательству министра финансов Пинхаса Сапира, который был обеспокоен возможной потерей голосов на выборах, если Шарон присоединится к Ликуду.

Как-то богатый американский еврей Самуэль Эйзенштат, тесно связанный с разведкой нефти в Израиле, заметил: "Все те сложности, которые существуют в отношениях между людьми в любой стране, в Израиле увеличены в тысячу раз." Но все это я узнал значительно позже. А тогда, после разговора с Фикслером, я почувствовал себя непрошеным гостем, которому прямо сказали, что его не хотят видеть в доме, но он все же нахально явился, уселся за стол, да еще собирается сказать хозяевам, что колодец во дворе они копают не в том месте, где надо было бы. Хозяева, разумеется, были уверены, что письмо дошло до меня. Да, было над чем задуматься.

9

В конце 1979 года геологический отчет "Поиски нефти в районе Мертвого моря", содержащий детальный анализ прошлых разведочных работ и предложения для следующего этапа, был закончен. Главная рекомендация заключалась в необходимости бурения скважины глубиной

5-6 тысяч метров в конкретной точке южнее Мертвого моря. Помня предупреждение Гедалии Гвирцмана о "психологическом факторе", я постарался свести критическую часть отчета к минимуму, без которого, как я полагал, работа теряла бы свой доказательный характер, ибо в научном анализе спорной проблемы любой тезис предполагает наличие антитезиса.

Нефтяной потенциал Мертвого моря был несомненно спорной проблемой. Однако, когда я передал несколько экземпляров отчета коллегам для обсуждения, то единственное их замечание касалось именно критических фраз о разведочной активности компании ХАНА. В результате отчет пришлось переделать и убрать из него всякий намек на критику. Что касалось существа работы и рекомендаций, то по ним никаких замечаний сделано не было.

В это же время в самой компании ХАНА произошли важные изменения. Президентом ее был назначен полковник Йоси Лангоцкий, закончивший службу в армии. В отличие от всех других "нефтяных" полковников, до армии он окончил геологический факультет и девять лет работал в Геологической службе. И теперь, после многолетнего перерыва, снова вернулся к своей гражданской профессии.

Лангоцкий был исключительно энергичный и преданный делу человек, сразу же развернувший активную деятельность и встряхнувший компанию, находившуюся до этого в дремотном состоянии. Помимо общей амбиции найти нефть в Израиле, у него была особая мечта — сделать это именно в районе Мертвого моря, где его отец был одним из создателей химического комбината. Поэтому, когда Лангоцкому сказали, что некий русский геолог только что закончил отчет по Мертвому морю, он немедленно запросил экземпляр работы.

В тот момент отчет еще не был окончательно завершен, готов был лишь рабочий вариант, который нуждался в редактировании и который мне не хотелось отдавать "на сторону". Но Лангоцкий, сгорая от нетерпения, не хотел ждать и, сославшись на важность вопроса, попросил "то,

что есть". И, не поставив меня в известность, сразу же отправил отчет на экспертное заключение в США Джеймсу Вильсону, бывшему президенту Американской Ассоциации Нефтяных Геологов и Американского Геологического Института. Незадолго перед этим Вильсон провел некоторое время в Израиле в качестве советника по нефтяной разведке Министерства энергии и поэтому был в достаточной мере знаком с проблемой поисков нефти в стране.

Заключение Вильсона пришло в феврале 1980 года. К моему большому удовлетворению, он полностью согласился со всеми выводами и рекомендациями отчета. Разумеется, был я приятно удивлен и оперативностью Лангоцкого. Все это вселяло надежду на быстрое практическое осуществление моих предложений. События разворачивались с такой стремительностью, разговоры об израильской медлительности стали казаться сильно преувеличенными. Вскоре я сделал два доклада о результатах работы — в Геологической службе и ХАНА. Оба доклада прошли хорошо. Было много вопросов и никаких сколько-нибудь существенных возражений. Однако, через некоторое время стали происходить странные вещи.

10

Отчет был издан тиражом 100 экземпляров и разослан всем заинтересованным организациям. Я знал, что Лангоцкий развил активную деятельность по подготовке к новому этапу разведки в районе Мертвого моря и с нетерпением ждал начала бурения.

И вдруг, в июне 1980 года стало известно, что ХАНА решила в качестве первого шага углубить на несколько сот метров старую скважину "Масада-1", пробуренную еще в 1955 году до глубины 1700 метров во внешней зоне, то есть там, где нефтяных залежей заведомо быть не могло.

Я попытался срочно связаться с Лангоцким и отговорить его от этой затеи, ведь она означала не что иное,

как начало нового витка бессмысленной и безрезультатной разведки. Но поймать его оказалось практически невозможно. Он был в непрерывных поездках, на бесконечных встречах, совещаниях — стиль работы, олицетворявший бурную деятельность.

20 июля 1980 года я написал Лангоцкому докладную записку, в которой попытался убедить его отказаться от углубления старой заброшенной скважины, расположенной в абсолютно бесперспективной зоне. Ответа не последовало. Через несколько дней мы встретились на геологической экскурсии, и я спросил, каково его окончательное решение насчет "Масада-1". Ответ поразил меня обезоруживающей откровенностью: "Видишь ли, Хаим, ты советуешь одно, другие — другое. А я еще не такой специалист, чтобы понять, кто прав, а кто нет".

Я уже имел представление о том, как происходит "получение советов" новым президентом ХАНА. Незадолго до того я присутствовал на совещании, где обсуждались принципиальные вопросы поисков нефти в стране. В зале находилось более тридцати специалистов в самых разных областях геологии, геофизики, бурения, экономики, административные работники и т.д. И все с одинаковым апломбом и уверенностью высказывались по вопросам, о которых многие из них имели лишь смутное представление. Это все равно, как если бы в медицине для решения вопроса об операции по пересадке печени, помимо хирургов были приглашены с равным правом голоса ортопеды, стоматологи, кожники и т.п. Оставалось бы пожалеть пациента, судьба которого решалась. Но в разведке нефти в Израиле это считается нормой. Здесь каждый специалист, независимо от того, какова его узкая область — палеонтология, геохимия, гидрогеология и т.п. — считает себя вправе авторитетно высказываться о наилучшем месте бурения, глубине скважины — по всем вопросам нефтяной геологии. В какой-то мере это напоминает государственную политику, в которой любой израильтянин считает себя экспертом.

Нефть и политика — по двум этим вопросам у каждого

жителя страны имеется твердое мнение. Что касается нефти, то оно формируется не в последнюю очередь журналистами, которые бросаются из одной крайности в другую. В одних случаях они раздувают сверх всякой меры значение нескольких баррелей нефти из очередной скважины, вызывая спекулятивную лихорадку на бирже. В других — публикуют пессимистические прогнозы сомнительных экспертов. Вот образчик такого нелепого высказывания: "Геолог сказал мне, что нефть ушла. Мы опоздали на полмиллиона лет. Землетрясения разорвали пластическую оболочку, которая удерживала нефть, и она ушла в сторону Мертвого моря. Мы бурили в этом районе, но ничего не нашли. Нефть, где ты?" (Джерузалем Пост, 29 сентября 1988 г.). Этот пассаж принадлежит Якову Молдауэру, бывшему начальнику отдела бурения нефтяной компании Лапидот.

Итак, начались работы по углублению скважины "Масада-1". Вскоре я побывал на месте бурения. Досадно было видеть, как огромные деньги и усилия тратятся на ненужное дело. Как и следовало ожидать, эта затея, которая обошлась в полмиллиона долларов, вписала еще одну страницу в непрекращающуюся историю ошибок. Снова была сделана попытка найти нефть "под городским фонарем".

Когда через некоторое время стало известно, что Лангоцкий принял чей-то совет пробурить глубокую разведочную скважину к северу от Иерихо — в столь же бесперспективном районе, я понял, что дальнейшие мои усилия ни к чему не приведут, и отчету по Мертвому морю, в который вложено столько труда и надежд, готовано лишь место на полке в длинном ряду других пыльных геологических документов. Скважина "Иерихо-1" была вскоре пробурена, и более миллиона долларов выброшено на ветер.

В это время я получил приглашение от канадской нефтяной компании. Это поставило меня перед сложной моральной и профессиональной дилеммой. Стоило ли приезжать в Израиль, чтобы через три года покинуть его?

Внешне у меня все обстояло благополучно. Спустя немногим более года после начала работы я получил высшую профессиональную аттестацию (даргу "алеф") и пресловутый квиют. Мне было 48 лет, и я мог рассчитывать на спокойную жизнь и работу в Геологической службе вплоть до пенсии. Но что это была бы за работа? Каковы были бы ее практические результаты? Писать никому не нужные отчеты, ставить их на полку и писать новые. Перспектива удручающая. После долгих размышлений я решил поехать на два-три года. Разумеется, если бы отношение к моим рекомендациям по Мертвому морю было иное, то я бы не задумываясь отклонил предложение канадской компании.

11

Итак, с начала 1981 года я стал старшим советником по международной разведке в компании Хоум Ойл (Калгари). В мои обязанности входила оценка нефтяного потенциала и составление разведочных проектов по территориям за пределами Северной Америки. Это были либо районы, которые могли стать потенциальными партнерами для совместной разведки, либо районы, представлявшие самостоятельный интерес для компании. Кроме того, моей задачей являлся независимый поиск районов и участков, в которых уже проводилась разведка нефти, но которые заслуживали дополнительных исследований. Все это было необычайно увлекательно и требовало кропотливой творческой работы.

В официальном Положении о должности старшего советника были перечислены основные требования к геологу, занимающему ее. Наиболее важным был следующий параграф: "Независимый подход к сложным разведочным проблемам; критическая оценка выводов других исследователей; разработка новых разведочных концепций в тех случаях, когда прежние идеи не приводили к успеху". Эти задачи полностью соответствовали моим представлениям

о работе нефтяного геолога и о поисково-разведочном процессе.

Я планировал пробыть в Канаде два-три года, а фактически пробыл шесть лет. За это время мне пришлось основательно изучить геологические и геофизические материалы и дать детальную оценку нефтяного потенциала и крупных районов, и сравнительно небольших разведочных участков в Северном море, Марокко, Египте, Судане, Ботсване, Бразилии, Перу, Аргентине, Индонезии, Новой Зеландии и в ряде других стран.

В последние два года, когда из-за резкого падения цен на нефть международная активность компании снизилась, я подготовил несколько разведочных проектов по территории самой Канады. Шестилетний "канадский период" намного расширил мой профессиональный кругозор, обогатил международным опытом и еще раз показал значение непредвзятого, свежего подхода к решению сложных разведочных проблем.

В то же время, работая в Канаде, я не переставал внимательно следить за развитием поисков нефти в Израиле. Технически это не составляло особого труда, так как я был обязан постоянно быть в курсе событий, касавшихся разведки во всех странах и располагать о каждой из них подробной информацией. Важные сведения содержались и в письмах из Израиля. Вскоре после моего приезда в Канаду, в феврале 1981 года Гедалия Гвирцман писал мне: "Позволь сообщить тебе, что произошло за последние несколько месяцев. Скважина "Сдом-3" будет в конце концов буриться в той точке, которую ты давно предложил. Ожидается, что в инженерном отношении это будет сложный и дорогостоящий проект, поэтому разработана детальная программа бурения. Были проведены консультации с несколькими фирмами, и окончательный бюджет близок к 12 миллионам долларов. Оборудование уже заказано, и начало бурения намечено на май 1981 года. Будем надеяться, что оно приведет к крупному открытию".

Это сообщение настолько взволновало меня, что я даже

пожалел об отъезде в Канаду. Начиная с мая, я стал внимательно просматривать все сообщения об Израиле в международных информационных бюллетенях, получаемых компанией. Но время шло, а о начале бурения не было слышно. В конце концов стало ясно, что по каким-то причинам проект отменен. Но если, как писал Гедалия, деньги для него уже имелись, то рано или поздно они должны были быть использованы для какого-то другого проекта. Вскоре ситуация прояснилась.

В августе 1982 года я приехал в отпуск в Израиль. В первые же дни зашел в ХАНА повидаться с коллегами и был ошеломлен, узнав, что почти закончено бурение разведочной скважины "Цук Тамрур-1" стоимостью 3,5 миллиона долларов в той самой злополучной внешней зоне, которая уже поглотила десятки миллионов долларов и не дала ни одной тонны промышленной нефти.

Вокруг этой скважины разворачивалась шумная кампания в газетах, публиковались интервью с Элазаром Бараком, Йоси Лангоцким и другими руководителями ХАНА. Причиной ажиотажа было получение небольшого количества легкой нефти, суточный приток которой был ошибочно определен в 400 баррелей. Вскоре намечалось бурение второй скважины рядом с первой. А всего, как заявил Лангоцкий, для оценки запасов месторождения планировалось бурение не менее десяти разведочных скважин. Газеты пестрели заголовками: "Поворотный пункт в поисках нефти в Израиле", "Крупнейшее открытие" и т.п. "Джерузалием Пост" опубликовала 27 августа 1982 года сенсационное сообщение: "Вчера эксперты Министерства энергии пришли к выводу, что нефтяная скважина "Цук Тамрур-1" является первым крупнейшим открытием нефти в стране после обнаружения месторождения Хелетц в 1955 году. Через две недели начнется промышленная добыча, которая должна составить за пять лет от 90 до 180 тысяч баррелей нефти".

Я внимательно просмотрел всю геологическую и техническую документацию по скважине. Большого непонимания основ нефтяной геологии и разведки было трудно

представить. Любому опытному геологу было ясно, что ни о каких тысячах баррелей не может быть и речи. Это был обычный непромышленный приток нефти, характерный для внешней зоны. Но я хорошо знал "экспертов Министерства энергии" и понимал, что от них нельзя требовать невозможного. Отсутствие личного опыта оценки нефтяных пластов ничем нельзя заменить.

В этих записках я уже упоминал автобиографию Ариэля Шарона. Делаю это потому, что многие профессиональные и этические проблемы в жизни армии, столь остро обрисованные в его книге "Воин", существуют и во всех других израильских сферах. Я, например, вижу прямую аналогию между его оценкой действий командования Южным фронтом накануне форсирования Суэцкого канала в 1973 году и историей с так называемым нефтяным месторождением "Цук Тамрур". Шарон обвиняет командование ("генералитет наихудшего типа", по его словам) в абсолютной неспособности читать карту театра военных действий. В истории с "Цук Тамрур" проявилась такая же неспособность читать карту нефтяной разведки. В этих столь разных и далеких друг от друга событиях мы имеем дело с одним и тем же национальным феноменом, когда люди оказываются на ключевых постах не благодаря своим способностям, знаниям и опыту, а благодаря каким-то иным факторам. Поэтому и происходят неизбежные провалы то в одной, то в другой области.

Во время короткого отпуска в Израиле у меня не было Возможности встретиться с руководителями ХАНА и попытаться охладить их энтузиазм по поводу Цук Тамрур. Но если бы эта встреча и состоялась, ее эффект был бы нулевой. Поэтому я решил действовать иначе. Возвратившись в начале сентября в Канаду, я сразу же написал письмо Министру энергетики, которым в тот момент был Ицхак Модай. Мне казалось, что официальное письмо на бланке крупной нефтяной компании с указанием моей довольно длинной должности (старший советник по международной разведке) заставит, по крайней мере, отнестись к нему внимательно. Очень важно было предот-

вратить выбрасывание на ветер следующих трех с половиной миллионов долларов, которые должна была вот-вот поглотить скважина "Цук Тамрур-2".

Я прекрасно понимал, что бюджет компании ограничен и очень скоро Йоси Лангоцкий пожалеет о растраченных впустую миллионах. Поэтому письмо было составлено с максимальной убедительностью и основывалось на фактах, которые говорили сами за себя. В заключение, я предлагал вообще прекратить на время бессистемное бурение скважин и провести детальный анализ прошлых разведочных работ по всей территории страны. Такой анализ позволит выявить ошибки и разработать новую концепцию поисков нефти. Это было то, что я уже предлагал когда-то Гедалии Гвирцману. Но я плохо знал израильский "нефтяной генералитет", который ничем не отличался от того армейского, о котором говорит Ариэль Шарон.

В конце ноября был получен от министра короткий ответ, в котором сквозила ирония по поводу моей попытки повлиять на распределение разведочного бюджета: "Уважаемый доктор Соколин, я получил ваше письмо о разведке нефти в Мертвом море. Хотя в настоящее время я не могу высказать какие-либо комментарии по поводу ваших рекомендаций, я бы хотел выразить признательность за ваши хлопоты, направленные на то, чтобы Израиль правильно расходовал свои капитальные ресурсы в разведке нефти".

Меньше всего я рассчитывал на комментарии такого специалиста, как Министр энергии. Хотя формально письмо и было адресовано ему, но предназначалось оно, разумеется, руководителям ХАНА. Да, гордые и уверенные в себе израильтяне не принимают чужих советов! Даже если они и идут от провала к провалу. Скважина "Цук Тамрур-2" была, конечно, пробурена, и общая сумма выброшенных на ветер денег составила семь миллионов долларов. О "месторождении" под названием "Цук Тамрур" вскоре забыли. За "поворотный пункт в поисках нефти" была принята очередная веха в цепи непрерывных

ошибок. Что такое семь миллионов для Израиля! Надо будет — американские евреи дадут еще денег. Но очень скоро обнаружилось, что этот обильный источник долларов вдруг начал быстро иссякать. По крайней мере в том, что касалось разведки нефти.

12

В 1983 году Йоси Лангоцкий ушел из ХАНА и создал частную нефтяную компанию "Сисмика", оперативная зона которой была ограничена районом Мертвого моря. Как я уже говорил, с этим районом он был связан не только профессионально, но и эмоционально. "Сисмика" получила от правительства самую большую концессию, когда-либо предоставлявшуюся одной фирме (400 тысяч акров), исключительное право ведения всех видов разведочных работ, а также заем в несколько миллионов долларов. Общая стоимость разведочной программы была определена в 50 миллионов долларов. Финансовое участие в этом предприятии приняли известные израильские промышленники Авраам (Бума) Шавит и Адам Поллак. Но основную часть денег намечалось получить от американских евреев, а также путем привлечения в качестве партнеров иностранных нефтяных компаний.

Вскоре в одном из израильских журналов появилось интервью с Шавитом. Коснувшись вопроса о столь новом для него бизнесе, он заявил: "Мое чутье говорит мне, что я делаю верную ставку, потому что до сих пор никто еще не искал нефть в Израиле серьезным образом". "Молодец, Бума!" — подумал я, читая интервью. Было приятно услышать заявление, столь созвучное моим мыслям, от человека почти не знакомого с нефтяной разведкой. "Вероятно, кто-то уже успел просветить его", — решил я, ибо широкая публика в Израиле уверена, что "эксперты Министерства энергии" прилагают самые серьезные усилия, чтобы найти нефть. И не их вина, что "нефть ушла, мы опоздали на полмиллиона лет". Следующие слова Шавита вызвали у меня улыбку: "Мы не

собираемся искать нефть под городским фонарем. Мы проберемся в такие места, где никто еще не бурил". Ага, вот оказывается в чем дело. Бума знаком с моей работой по Мертвому морю. Ну что же, это тоже приятно. Неважно, что он понял слова о городском фонаре слишком буквально. Само по себе это осветительное устройство не говорит об отсутствии нефти. Например, на окраине Парижа залежи нефти обнаружены под городскими фонарями в прямом смысле этого слова. Геологи уверены, что нефть есть и под самим Парижем, но никто не разрешит бурить скважину в городе. И, наоборот, бурение в местах, куда трудно пробраться, — это еще не гарантия успеха.

Однако, несмотря на энтузиазм Шавита, финансовое положение компании "Сисмика" было плачевным. Сумма, которую удалось собрать, составляла лишь незначительную часть от намеченных 50 миллионов долларов. Американские евреи не спешили вкладывать деньги в предприятие, которое было многократно дискредитировано в прошлом и последний раз совсем недавно — в бурении скважин "Цук Тамрур". Нельзя было бесконечно бурить сухие скважины, а затем пытаться убедить потенциальных инвесторов, что возможность открытия промышленной нефти все-таки существует. Такую ситуацию я предвидел уже несколько лет назад, когда в июле 1980 года в докладной записке Лангоцкому по поводу углубления скважины "Масада-1" писал: "Следует учитывать психологическое воздействие неудач со скважиной "Масада-1" на инвесторов и широкую общественность. Она приведет к дискредитации поисков нефти также и в той зоне Мертвого моря, где промышленные залежи бесспорно существуют". Одним словом, необходимая сумма никак не набиралась, и вся разведочная программа была под угрозой срыва.

В это время, по чистой случайности, я снова оказался вовлеченным в дела Лангоцкого. Вот как это произошло. Ему удалось привлечь в качестве партнера небольшую американскую компанию "Номад Эксплорейшн" (Техас), которая получила из Израиля объемистый пакет мате-

риалов по геологии и разведке района концессии. Президент компании Эд Диллон переслал их для экспертной оценки в канадскую консультационную фирму, с президентом которой Джеком Сенчури я был хорошо знаком. Зная, что я занимался Мертвым морем, Джек попросил меня просмотреть материалы. Так цепь случайностей привела к тому, что в моих руках оказались весьма любопытные документы. Некоторые представляли собой, как говорится, хорошие новости, а некоторые — плохие.

Среди хороших новостей была папка, содержащая три геологические работы о Мертвом море, названные "профессиональными документами". Один из них — короткая статья Джеймса Вильсона, опубликованная в американском нефтяном журнале в 1983 году; второй — компиляционный отчет американского геолога Каспера Арбенца, написанный в том же году; и третий — мой отчет. Эти документы были разосланы Лангоцким во много десятков адресов в США — нефтяным компаниям и частным лицам. Для этого он получил специальное разрешение Геологической службы выпустить дополнительный тираж отчета. К папке документов был приложен лист с аннотациями каждого из них. Аннотации работ Вильсона и Арбенца содержали лишь формальные сведения об обстоятельствах, при которых они были выполнены, и об их авторах. О моей работе было сказано следующее: "Анализ, выполненный доктором Х.Соколиным, является наиболее глубоким исследованием из опубликованных когда-либо по разведке нефти в районе Мертвого моря. Доктор Соколин — международно-известный геолог, эмигрировавший в Израиль из России в конце 70-х годов". Это было уже нечто иное, нежели то, что Лангоцкий говорил в 1980 году: "Ты, Хаим, советуешь одно, другие — другое. А я еще не такой специалист, чтобы понять, кто прав, а кто нет". Похоже было, что он, наконец, разрешил дилемму. Работы этих "других" среди "профессиональных документов" вообще не фигурировали, хотя они и исчислялись многими десятками, если не сотнями. Видимо,

признать мою работу было психологически легче, когда я находился в Канаде, а не в Израиле.

Вторая хорошая новость содержалась в письме Эда Диллона, с которым я тогда еще не был знаком, президенту другой американской компании "Каскад Ойл Эксплорэйшн" Роберту Леону. Письмо, датированное апрелем 1985 года, касалось нефтяного потенциала Мертвого моря и тоже находилось среди "профессиональных документов". В нем говорилось: "Изучение многочисленных частных и опубликованных отчетов, а также мои собственные полевые наблюдения подтверждают, что израильская часть Мертвого моря является одной из наиболее перспективных, все еще неразведанных нефтяных провинций. Возможность открытия в ней крупных месторождений была доказана лишь недавно, когда была опубликована работа доктора Хаима Соколина о поисках нефти в этом районе. Предыдущие работы сводились в основном к описанию асфальта и высачиваний нефти, а также обнажений соленосных пород... Я решительно рекомендую этот район для любой компании, которая может позволить себе участие в разведочной программе мирового класса. Разумеется, здесь имеется элемент риска, как и в любом разведочном проекте, но потенциальное вознаграждение может оказаться огромным". Вскоре после этого письма компания "Каскад Ойл Эксплорэйшн" также стала партнером компании "Сисмика".

Однако, имелась и очень плохая новость, которая сводила на нет все похвальные слова о моей работе и о высоком нефтяном потенциале Мертвого моря. Этой новостью было начавшееся уже бурение скважины "Хар Сдом-1". Правильнее сказать, что в проекте этой скважины опять же были две стороны — хорошая и плохая. Хорошая — то, что скважина была заложена именно в той точке, которую я давно рекомендовал. Однако, это обстоятельство теряло всякий геологический смысл и полностью перечеркивалось тем, что проектная глубина ее составляла лишь 3100 метров. Иными словами, бурение не планировалось даже до поверхности соли, не

говоря уже о вскрытии подсольевых пластов. Трудно было представить себе более неудачное начало широко разрекламированной разведочной программы, которая была официально названа "проектом Обеспечения Энергетической Независимости Государства Израиль". Серьезное дело с реальными шансами на успех снова, в который раз, превращалось в фарс, обреченный на неудачу. Я намеренно употребляю это резкое слово, так как бурение сопровождалось рекламными заявлениями, напоминавшими недавние громкие слова о "поворотном пункте" и "крупнейшем открытии" в связи с "Цук Тамрур".

На этот раз были даже привлечены американские профессиональные издания, и проекту придавалось пророческое библейское звучание. Вот что писал, например, американский геологический ежемесячник "Эксплорер" в июне 1985 года: "В то время как жена Лота и духи Земли Моав и Холмов Иудеи смотрят вниз на скважину "Хар Сдом-1", бурение продолжается в попытке добраться до пласта, который, как разведчики надеются, будет "обещанным песком".

Итак, на сей раз "поворотного пункта" было уже недостаточно. Требовалось более сильное выражение — "обещанный песок", который ассоциировался с "обещанной землей". Думали ли авторы этой рекламной кампании, что в случае еще одной неудачи будет дискредитирована не только идея дальнейших поисков нефти в районе и соответственно еще труднее станет изыскивать деньги для разведки, но и вера в божественное предначертание будет подорвана?

Так завершилась еще одна попытка обнаружить нефть в районе Мертвого моря. Причиной этой очередной неудачи были явные геологические ошибки. Игнорировались рекомендации, основанные на детальном анализе фактических материалов и на международном опыте, и как результат — вновь была продемонстрирована неспособность правильно читать карту нефтяной разведки.

А что происходило в это время в компании ХАНА? В 1984 году Министром энергетики стал Моше Шахал. Было

нечто символическое в том, что поиски нефти в стране перешли в ведение выходца из Ирака, одной из богатейших нефтяных стран мира.

В качестве первого шага Шахал назначил бывшего геолога из Южной Америки, а ныне израильского бизнесмена Альфредо Розенцвейга, своим советником по разведке нефти. В октябре 1984 года Розенцвейг представил Министру отчет, главная рекомендация которого заключалась в полном прекращении разведки на два года с целью проведения детального анализа прошлых работ и разработки новой разведочной концепции. Рекомендация была абсолютно правильная и удивительно напоминала предложение, сделанное мною в сентябре 1982 года в письме Берману-Модаи. Шахал принял ее и поручил ХАНА проведение анализа. Если оставить в стороне профессиональную сторону дела, то в этом решении была одна существенная психологическая деталь — критический анализ поручался тем же самым "экспертам", которые были ответственны за прошлые ошибки и просчеты.

В отчете Розенцвейга отмечалось, в частности, что только за предыдущие 9 лет (1975-1984) в поиски нефти в Израиле было вложено 250 миллионов долларов и пробурена 131 разведочная скважина. Однако, положительных результатов не было получено. На основании собственного опыта хочу отметить, что этой огромной суммы и такого количества скважин достаточно для исчерпывающей оценки нефтяного потенциала нескольких стран, равных по площади Израилю, тем более, что перспективная территория его составляет лишь 30% от общей. Конечно, при условии грамотного проведения разведочных работ.

Примерно в это же время в Геологической службе был ликвидирован нефтяной отдел и прекращены исследования, связанные с поиском нефти.

вернулись в Израиль. Правда, вместо трех лет пришлось задержаться в Канаде вдвое дольше, но ни в профессиональном, ни в материальном отношении это не было потерянное время. Что касается поисков нефти в Израиле, то я вряд ли мог сделать для них что-либо большее, если бы оставался в стране. По крайней мере, из Канады мой голос был слышен. В Израиле же вообще было бы невозможно подать его ("ты советуешь одно, другие — другое" и т.д.).

Я был уверен, что проблем с работой не будет. Мне было 55 лет, за всю свою жизнь я ни разу не был на приеме у врача, если не считать операции аппендицита в 1951 году и сломанной ноги в 1983 году во время катания на горных лыжах. Я просто не представлял себе, что в таком возрасте можно жить без работы. Кроме того, из Канады я вернулся с большим опытом, который не терпелось применить в Израиле. Все это лишь говорит о моей глубокой наивности и полном незнании психологии соотечественников.

Ури Геллер, один из самых известных в мире израильтян, пишет в книге "Эффект Геллера" (1986): "В израильском характере имеется низменная черта — зависть по отношению к любому, кто добивается успеха за границей".

По рассказам отца я знаю, что эта не израильское изобретение. Корнями оно уходит в тесный замкнутый мир еврейского местечка, где наряду с натурами высокодуховными формировались характеры завистливые, мстительные и высокомерные. Этот национальный феномен оказался необычайно стойким и без труда укоренился в Израиле. Израильскому обществу удалось легко и быстро освободиться от многих унижительных галутских комплексов за исключением двух — завистливости и гипертрофированного самомнения.

Помню, как в начале 80-х годов меня поразило интервью с нынешним начальником Генерального штаба Даном Шомроном, опубликованное в одной из израильских газет. Поводом для его выступления в прессе послужили

напряженные отношения с коллегами-генералами. Слова руководителя операции в Энтеббе меня буквально потрясли. Шомрон заявил, что неприятности начались после этого легендарного рейда, и что "неудачу мне бы простили, успех простить не могут". Как видим, Ури Геллер не совсем прав — зависть вызывается успехами не только за границей, но и дома. Хотя, строго говоря, Уганда — это все-таки за граница...

Рука об руку с завистью идет и самомнение, порождающее патологическое неприятие критики. Нередко самомнение находит свое выражение в знаменитой израильской хуцпе*, которая проявляется на всех уровнях, в том числе и на государственном. Вот один из примеров. В начале декабря 1989 года в Средиземном море, недалеко от Герцлии произошла незначительная утечка нефти из каботажного танкера. Эта была первая авария такого рода у побережья Израиля. К счастью, утечка ограничилась лишь 60 тоннами горючего, что ничтожно мало по сравнению с десятками тысяч тонн нефти, загрязняющей поверхность моря и прилегающее побережье при катастрофах супертанкеров. Однако, безуспешные попытки предотвратить распространение нефтяного пятна и загрязнение пляжа Герцлии заставили прийти к ошеломляющему выводу: "Несмотря на то, что ежегодно сотни супертанкеров бороздят восточное Средиземноморье, Израиль не имеет средств борьбы даже с незначительным разливом нефти. Внезапно обнаружилось, что страна не располагает необходимым оборудованием, специалистами и планами на случай подобных аварий". (Джерузалем Пост, 12 декабря 1989).

Сам по себе этот тревожный вывод не заслуживал бы упоминания в моих записках, если бы не событие, происшедшее менее чем через месяц, у берегов Марокко, где потерпел аварию супертанкер и огромное нефтяное пятно угрожало прилегающему побережью. Ситуация ос-

*Нахальство

ложнялась штормовой погодой и высокими волнами. И вдруг Министерство окружающей среды Израиля, нимало не смущаясь собственной беспомощностью в борьбе с микроскопическим разливом нефти у берегов Герцлии, немедленно предложило помощь правительству Марокко: "Вчера отдел предотвращения загрязнений моря Министерства окружающей среды предложил послать экспертов в Марокко для борьбы с огромным разливом нефти, угрожающим побережью. Израиль готов обеспечить Марокко специалистами и оказать другую профессиональную помощь", — говорится в заявлении Министерства" (Джерузалем Пост, 3 января 1990). Остается лишь гадать — в каком положении мог оказаться Израиль, если бы Марокко приняло это великодушное предложение? Большую хуцпу трудно себе представить. После этого не будет удивительным, если Министерство энергетики предложит какой-либо стране помощь в разведке нефти.

Не секрет, что многие соотечественники увлекаются подсчетом процента евреев среди Нобелевских лауреатов. Процент действительно высокий. Однако, сам по себе он говорит не о каких-то особых качествах "еврейского ума", а скорее отражает благоприятные условия для развития интеллектуального потенциала в галуте. Контрастом служит полное отсутствие этих лауреатов в Израиле, хотя, казалось бы, концентрация "еврейских умов" в научных центрах страны самая высокая в мире. И многие ученые, работающие в них, получили профессиональную подготовку именно в тех странах, на которые приходится наибольшее количество Нобелевских премий.

Существует легенда, что царица Савская отправила посла к царю Соломону с наказом узнать, как ему удастся предотвращать социальные волнения. Вместо прямого ответа Соломон пригласил посла на прогулку по злаковому полю. Гуляя и беседуя на отвлеченные темы, царь одновременно обрывал те колоски, которые торчали выше остальных. За время прогулки он выровнял таким образом большой участок. Это и был ответ на вопрос царицы Савской. Если верить легенде, то царь Соломон в данном

случае еще раз подтвердил свою репутацию мудрого правителя, указав способ предотвращения социальных бунтов. Но в науке и технике бунт идей, идеи, идущие вразрез с идеями большинства, научная критика — это именно те факторы, которые определяют развитие. Однако, похоже, что в израильской науке имеется немало последователей царя Соломона.

Как-то после возвращения в страну, я заглянул в Министерство энергетики к доктору Моше Голдбергу, с которым был хорошо знаком по совместной работе в Геологической службе. Разговор зашел о возможности возобновления моей работы в разведке нефти. Моше был настроен скептически и в качестве одного из аргументов привел "тот факт", что в свое время я посмел якобы, по его словам, "критиковать Кашаи, который уже десятки лет работает в Израиле в этой области"*.

Я очень удивился и напомнил о том, что критика компании ХАНА, если вообще и была, то содержалась лишь в черновом варианте отчета. Моше ответил: "Неважно, что только в черновом. Это не забыто".

Не думаю, что Моше Голдберг был озабочен профессиональной репутацией главного геолога ХАНА. Для него, как и для некоторых других, был неприемлем сам факт критики чужаком "одного из наших". Видимо, он был настолько поражен, что спустя семь лет счел нужным напомнить об этом.

Критику в Израиле не прощают. Эта особая чувствительность к ней тоже уходит корнями в местечко и городские гетто, где она была связана с комплексом неполноценности. Отец рассказывал мне (и даже изображал), как в местечке выясняли отношения. "А ты кто такой!" — восклицает обиженный, грозя указательным пальцем перед носом обидчика. — Я тебе покажу, ты у меня поплачешь!" Обиженный прекрасно знает, "кто такой" его

*Того самого Кашаи, который сказал, что моя квалификация слишком высока, чтобы работать в компании ХАНА.

оппонент, живущий на соседней улице. Этот презрительный ритуальный вопрос-восклицание означает: "Ты что, считаешь себя умнее меня?" Если отбросить карикатурную упрощенность этой сценки, то подобную ситуацию в Израиле можно наблюдать всюду, где властвуют те же местечковые нравы и амбиции — в кнессете, армии, университетах, научных и медицинских учреждениях. Что касается угрозы ("я тебе покажу, ты у меня поплачешь!"), то это не пустая риторика. При первой же возможности от слов переходят к делу. И зачастую мстительность не знает границ.

Один мой знакомый получил любопытный совет от социального работника в центре абсорбции: "В Израиле, — поучал пакид, — ты можешь быть, кем хочешь — красивым, сильным, смелым. Но ты не можешь быть умным". Понимать эту сентенцию следует так: не каждый израильтянин имеет тайную претензию считать себя красивым, сильным или смелым. Поэтому эти "вакансии" свободны. Хочешь считать себя красивым — пожалуйста, никто тебя не осудит. Но если заподозрят (только заподозрят!), что ты считаешь себя умным, то это не прощают. Быть "умным" — не значит просто не быть дураком. Нет, за этим кроется вызов. Когда говорят — "он считает себя умным", то имеют в виду — "умнее других". Речь, разумеется, идет не об уме в житейском понимании этого слова, а о профессиональных качествах — знаниях, опыте, способности генерировать идеи. Позволяющий себе давать непрошенные советы и критиковать других сразу же попадает в категорию "умников". При первой же возможности с ним сводят счеты. И неважно, что критика и советы порой отвечают интересам государства.

В Израиле вообще не существует понятия "интересы государства". Есть интересы отдельных групп — политических, религиозных, этнических. Или даже интересы отдельных лиц. Но нет интересов государства, которые бы признавались всеми как высший императив. Кроме того, над этими частными интересами господствует общий дух незаинтересованности и безразличия, на иврите:

"ло ихпат ли". Например, логично было бы считать, что открытие нефти — в интересах государства, независимо от того, кем оно сделано — израильтянином или репатриантом, раздражающим кого-то своей активностью. Как говорится, — хоть чертом, хоть дьяволом. Нефть — выше всего. Но не в Израиле. В этой стране открытие нефти желательно лишь постольку, поскольку оно могло бы служить интересам небольшой группы лиц, десятилетиями подвизающихся в этом бизнесе. В противном случае нефть может быть вообще не открыта — это никого не беспокоит.

Профессор Иерусалимского Университета Йехезкель Дрор, международный авторитет в области политических наук, считает, что из-за особенностей еврейской национальной истории "израильские граждане в целом лишены чувства общественного долга, а в израильской политической жизни широко проявляется отсутствие государственной сознательности". Одним из таких проявлений служит, по его мнению, "отсутствие традиции признания ответственности за свои провалы и ухода в отставку" (Джерузалем Пост, 21 декабря 1989). Можно добавить, что такая традиция отсутствует и во всех остальных звеньях государственной системы, в том числе в промышленности, экономике и науке.

14

Вскоре после возвращения я зашел в ХАНА. Как я уже сказал, по распоряжению Министра разведка была прекращена и сотрудники занимались анализом геологических материалов, накопленных за прошлые годы. Я поинтересовался, как идут дела, намечается ли что-нибудь интересное? Ответ был не очень обнадеживающим. Похоже, что сами исполнители проекта не особенно верили в его успех. Складывалось впечатление, что компания продолжает существовать, но об открытии нефти уже никто больше не думает.

— Но разве это не является по-прежнему главной

задачей? — спросил я Владимира Капцана, геолога из Молдавии, уже много лет работавшего в ХАНА и бывшего одним из основных исполнителей проекта.

— Позволь рассказать тебе историю, которая ответит на этот вопрос, — сказал Капцан.

И он многозначительно рассказал о том, что произошло с его знакомым, начальником нефтеразведочной экспедиции в Кишиневе. За несколько лет до вторжения советских войск в Афганистан этот геолог был послан туда в качестве руководителя группы специалистов. На обычном в таких случаях инструктаже в ЦК партии он спросил — является ли их задачей открытие нефти в стране? "Это не обязательно, — ответил инструктор ЦК, — главное — обеспечить советское присутствие в Афганистане".

Этот рассказ действительно был достаточно красноречивым ответом на мой вопрос. Оставалось только неясным — чье присутствие (и благополучие) в Израиле требовалось обеспечить? Скорее всего тех, кто посвятил себя пожизненным поискам нефти в этой маленькой стране. "Господи, оставь истину себе, а мне дай бесконечные поиски ее". Существующее положение не является секретом.

В декабре 1984 года при обсуждении в Кнессете ситуации с разведкой нефти депутат Бенъямин Бен-Элиэзер заявил: "В Министерстве энергетики работают люди, лишённые уверенности. В то же время иностранные геологи считают, что в недрах Израиля находится около 400 миллионов тонн нефти. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности страны на протяжении 40 лет" (Джерузалем Пост, 22 декабря 1984).

Известный американский геолог Вильям Пратт писал в статье "Философия поисков нефти" (1954), которая стала библией разведчиков: "Открытия месторождений прекращаются, когда геологи больше не верят, что нефть может быть найдена. Но до тех пор, пока остается хотя бы один разведчик, в голове которого существует идея нового месторождения и у которого есть возможность и стимул искать нефть, открытия будут продолжаться". Эта истина

была подтверждена на практике бесчисленное количество раз — как в старых нефтяных районах, так и в районах, в которых длительная безрезультатная разведка породила пессимизм и неверие. Объясняется такая ситуация тем, что нефть все еще остается загадочным природным явлением, о котором многие знают немного, немногие — многое, но никто не знает достаточно.

Выйдя от Капцана, я столкнулся в коридоре с Цфанией Коэном. Незадолго до этого он был назначен главным геологом компании вместо ушедшего на пенсию Кашаи, который стал ее научным консультантом. Узнав, что я окончательно возвратился в Израиль и подумываю о работе, Коэн пригласил меня в свой кабинет, чтобы обсудить этот вопрос. Он сообщил интересную новость. Оказывается, ХАНА получила право после завершения проекта выбрать для себя наиболее перспективный район с тем, чтобы остальные были предложены иностранным компаниям и частным инвесторам. И хотя работа еще не окончена, но общее мнение таково, что этим районом должно быть Мертвое море.

— Поэтому, — сказал Коэн, — твой приезд весьма кстати. Единственная проблема — это фонд зарплаты. Мы сейчас заморозили прием новых сотрудников.

— Эту проблему на первых порах можно будет решить, — ответил я. — Как тошав хозер*, я имею право на зарплату от Министерства абсорбции в течение года.

— Прекрасно, — сказал Коэн. — Оформляй там документы, а когда получишь разрешение, договоримся, чем конкретно ты будешь заниматься. Пока же я бы хотел познакомиться с характером твоей работы в Канаде. Привез ли ты какие-нибудь отчеты или проекты?

— Разумеется, я привез почти все свои работы, но они еще идут в багаже. Когда получу, передам тебе, — пообещал я.

Получение разрешения на зарплату оказалось нелегким

*Вернувшийся в страну репатриант

делом. В моем файле было указано, что я уже однажды получал ее в течение года как оле хадаш. И хотя я тогда не использовал полностью положенную по закону двухгодичную финансовую помощь, а теперь как тошав хозер имел право еще на один год, юридически ситуация не имела прецедента. Многие бывшие репатрианты уехали из страны, но ни один из них не вернулся обратно. Поэтому министерские чиновники плохо знали, как поступить в моем случае.

Потянулись долгие месяцы хождений по инстанциям, встреч, ожидания решений то одной, то другой комиссии. В одной инстанции от меня даже потребовали письменного объяснения — почему я уехал из страны? Неожиданно Цфания Коэн начал вести себя странно. Через несколько недель после встречи он вдруг сказал, что если я и буду работать в компании, то не по Мертвому морю, а по какому-нибудь другому району. Это напомнило самый первый разговор с ним и Кашаи в 1977 году. ("Вы же не согласитесь составлять проекты бурения скважин?"). На этот раз я был снова немало удивлен, так как и мне, и ему было очевидно, что наибольшую пользу я могу принести именно в районе Мертвого моря. Да и разговор об этом он начал по своей инициативе. Мне не оставалось ничего другого, как ответить, что я не являюсь узким специалистом только по Мертвому морю и могу работать в любом районе Израиля. "Посмотрим," — неопределенно сказал Коэн, видимо, ожидавший другой реакции. Слова и тон были хорошо знакомы. Что-то явно происходило за моей спиной. Тем временем пришел багаж, и я передал Коэну обещанные канадские отчеты и проекты.

15

Мои друзья и знакомые с недоумением следили за развитием ситуации в Министерстве абсорбции и ХАНА. Каждый пытался чем-то помочь, но их возможности были ограничены. И наиболее частый совет сводился к тому,

что нужно искать протекцию. То, что этот способ улаживания дел очень популярен в Израиле, конечно, не было для меня секретом. Однако, еще ни разу в жизни мне не приходилось прибегать к нему — ни в России, ни в Канаде, ни прежде в Израиле. Я просто не знал, как это делается. Было что-то недостойное и нелепое в том, что специалист должен искать какие-то обходные пути, чтобы принести пользу государству.

В это время коллега моей жены стала настойчиво предлагать познакомить меня с некой, по ее словам, влиятельной дамой, женой бывшего израильского посла. "У нее обширные связи — министры, депутаты кнессета", — уговаривала она. Жена тоже оказала нажим. Так состоялось мое знакомство с Рахель Каспи — обаятельной милой женщиной, обладающей добрым сердцем и огромным желанием помогать людям, которое намного превосходит ее реальные возможности. Но тогда я еще не знал этой существенной детали. При первой же встрече Рахель составила план действий, в котором фигурировали известные имена — "позвоним тому, обратимся к этому, организуем встречу с Шахалом" и т.п. Тогда это произвело на меня определенное впечатление. Однако, в конечном итоге грандиозный стратегический замысел закончился тем, что по чьей-то протекции Рахель удалось поговорить по телефону с неким Яроном Раном, референтом Министерства энергии Шахала. И Ран милостиво согласился передать ему мое письмо.

Рахель четко объяснила мне, каким должно быть письмо министру. Во-первых, только самые существенные факты, а во-вторых, краткость — больше одной страницы израильский министр читать не будет. Письмо получилось на трех страницах. Рахель была в ужасе, но прочитала и согласилась, что из песни слова не выкинешь.

И вот незабываемый день — 26 октября 1987 года отношу письмо господину Рану. Встретил меня очень занятый молодой человек с приятными демократическими манерами.

— Хаим, я все сделаю. Письмо передам лично Министру. Можете быть уверены, Хаим.

— Я бы хотел встретиться с Министром, — говорю я.

— Я спрошу об этом, Хаим, — обещает Ран.

Потянулись долгие недели ожидания. Ответа из Министрства не было. Через месяц я позвонил Рану и узнал, что письмо находится у некоего Михаила Байта, начальника отдела геологических проектов.

— Как насчет встречи с Министром? — спросил я.

— Это исключено, Хаим.

— В таком случае я хотел бы встретиться с Байтом.

— Я узнаю, Хаим.

Через неделю опять звоню Рану.

— Байт отказался встретиться с вами, Хаим.

— Почему ?

— Не знаю, Хаим.

Рахель тоже позвонила Рану. С ней он был более откровенен.

— Вам не стоит хлопотать за Соколина. Из этого ничего не выйдет.

— Почему?

— Я вам пришлю кое-что, и вы поймете, в чем дело.

Через несколько дней Рахель позвонила мне и попросила срочно приехать. По выражению ее лица я понял, что есть плохие новости.

— Вы угадали. Смотрите, что я получила от Рана.

На столе лежала копия письма Министру абсорбции Якову Цуру от Министра энергетики Моше Шахала. Письмо было датировано 12 июня 1987 года и являлось ответом Шахала на запрос Цура "о возможности трудоустройства доктора Соколина в системе Министерства энергетики при условии, что Министерством абсорбции будет выделен специальный фонд зарплаты". В письме говорилось, что предоставление мне работы полностью исключается по двум причинам:

1. Профессиональные качества геолога Соколина не соответствуют израильским стандартам (этот пункт был жирно обведен Раном).

2. Ожидается большая алия из России, и поэтому Министерство энергии должно подготовить рабочие места для тех многочисленных геологов, которые приедут в страну.

Под подписью Шахала было напечатано — "копия М. Байту". Это означало, что Байт является действительным автором письма. Но поскольку оно было адресовано Министру, то и подписал его тоже Министр.

Я попросил у Рахель разрешения сделать копию. Она замялась и сказала, что должна поговорить об этом с Раном. Их телефонный разговор оказался весьма любопытным. Узнав о моей просьбе, Ран перепугался: "Соколин вообще не должен знать об этом письме. Если станет известно, что оно попало к нему, у меня будут большие неприятности. Немедленно верните его обратно."

Все это напомнило мне историю, которая произошла в конце 70-х годов с моим хорошим знакомым доктором Г.Б., текстильщиком из России и мастером-золотые руки. Г.Б. с большим трудом нашел работу по специальности на текстильной фабрике в Кирьят-Гат. Инженер цеха увидел в нем конкурента, и жизнь Г.Б. стала настолько невыносимой, что одно время он был близок к самоубийству. Однажды на фабрике вышла из строя французская прядильная машина, и никто не мог отремонтировать ее. Г.Б. вызвался сделать это и после долгого дня кропотливой работы машина была исправлена. Поздно вечером перед уходом домой он еще раз проверил ее, все было в порядке. Придя утром на фабрику, Г.Б. узнал, что машина со скрежетом остановилась сразу после запуска. Он снова полез в нее и обнаружил деревянный брусок, вставленный в труднодоступном месте между шестеренками. Я бы никогда не поверил в эту историю, смахивающую на дешевые детективы о "вредителях", наводнявшие книжный рынок и киноэкраны в СССР в 30-х годах, если бы не услышал ее от самого Г.Б. Ну что ж, одни орудут брусками, другие — письмами. Все зависит от уровня интеллигентности и обстоятельств.

Я позвонил Гедалии Гвирцману и рассказал ему о письме Байта-Шахала. Он не мог в это поверить. Гедалия

тут же предложил написать собственное письмо и адресовать его "всем, кого это касается". Хотя я и понимал, что обращаться с этим письмом к кому-либо в Израиле мне уже не придется, но с благодарностью принял предложение. Вот это письмо:

"Я знаю профессора Хаима Соколина с января 1978 года, несколько месяцев спустя после его приезда в Израиль, когда он начал работать в нефтяном отделе Геологической службы. Я в то время был начальником этого отдела. Очень скоро выяснилось, что Хаим — геолог высокого уровня, обладающий большими знаниями и опытом в поисках нефти. В Геологической службе он занимался изучением перспектив нефтеносности района Мертвого моря. За сравнительно короткое время Хаим подготовил отчет, в котором дал убедительную оценку нефтяного потенциала района. Высшая аттестационная комиссия исследовательских институтов Израиля присвоила Хаиму даргу алеф с начала его работы в Геологической службе. Эта дарга эквивалентна званию профессора университета. Решение комиссии основывалось на его исследованиях и работах, опубликованных в СССР.

К моему сожалению, Хаим оставил работу в Геологической службе и уехал из Израиля в 1980 году. В 1984 году компания "Сисмика" получила разрешение Геологической службы выпустить дополнительный тираж его отчета с целью привлечения инвесторов для поисков нефти в районе Мертвого моря.

У меня нет сомнений в том, что профессиональные данные и опыт Хаима Соколина, приобретенные в Советском Союзе, Израиле и Канаде, могут принести большую пользу стране."

15 декабря 1987 года я написал второе письмо Шахалу, в котором сослался на его письмо Министру абсорбции Цуру, и приложил письмо Гедалии.

"Если по каким-либо причинам вы не можете ответить мне письменно, я хотел бы встретиться с вами лично и ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть", — писал я. Разумеется, никакого ответа не последовало.

довало. Письмо было сразу же передано Байту. При этом Шахал, вероятно, указал ему на несоответствие между его "оценкой" моих профессиональных данных и оценкой Гвирцмана. Дальнейшее мне рассказал Гедалиа.

Разъяренный Байт примчался в Геологическую службу и потребовал от него взять обратно письмо, которое, как он заявил, поставило его в трудное положение. Гедалиа наотрез отказался, сказав, что это профессиональный документ, который он намерен твердо отстаивать, если конфликт будет где-либо разбираться. Конечно, никакого разбирательства не было и в условиях Израиля быть не могло. "Я не хочу участвовать в политических дразгах, не имеющих отношения к профессиональной стороне дела", — добавил Гедалиа. Байт уехал ни с чем, бросив напоследок, что Соколин не получит ответов на свои письма, в которых "он представляет себя самым лучшим геологом в Израиле". Эти слова смутили Гедалию, и он спросил, о чем я писал в письмах Шахалу. Я дал ему прочитать их. "Здесь нет ничего такого, о чем говорил Байт", — сказал он.

В разгар этих событий я неожиданно получил письмо из Министерства абсорбции с извещением, что мне будет предоставлена годовая зарплата, если найдется организация, готовая принять меня на работу. Я позвонил Цфании Коэну и услышал то, что уже и так не вызывало сомнений, — компания больше не заинтересована в моих услугах.

16

На этом мои попытки сделать что-либо полезное для поисков нефти в стране не прекратились. Встречаясь с коллегами в Геологической службе, я часто слышал от них весьма скептическую оценку возможностей компании ХАНА выполнить квалифицированный анализ поисковых работ и предложить какую-либо новую разведочную концепцию. Наиболее определенно заявил об этом мой старый знакомый доктор Моше Голдберг, который раньше

работал в Геологической службе, а в последние годы был одним из советников по нефтяной разведке в Министерстве энергетики. "В ХАНА просто нет людей, способных сделать такую работу. Я не жду от них ничего квалифицированного", — сказал мне Моше при встрече.

Это и другие подобные заявления натолкнули меня на мысль предложить проведение своего собственного альтернативного анализа разведочной ситуации. Собственно говоря, альтернативный подход в случае многолетней безрезультатной разведки какого-либо района требуется в любом случае, независимо от способности или неспособности тех, кто выполняет основной проект. Такая система давно уже вошла в международную практику, и она, по существу, повторяет медицинский опыт, когда при сложных заболеваниях, наряду с лечащим врачом к больному приглашается независимый консультант. Что касается нефтяных компаний, то приобретая любую новую концессию, имеющую безрезультатную историю прежних разведочных работ (случай довольно частый), они проводят в обязательном порядке двойную экспертную оценку — силами своего собственного геологического отдела и силами независимых консультантов. Только после получения обеих оценок и обсуждения их принимается окончательное решение о приобретении концессии и разведочной концепции. Это основа современного подхода к оценке нефтяного потенциала во всех регионах мира.

Вернувшись из Канады, я не должен был думать о хлебе насущном. Конечно, работать в нормальных условиях и получать зарплату было бы хорошо, особенно с социальной точки зрения. Но если такой возможности нет, то я вполне мог себе позволить работать бесплатно. Однажды, в разговоре с Гедалией Гвирцманом я высказал эту мысль и добавил, что мне требуется для этого лишь доступ к геологическим материалам. Он заинтересовался и обещал поговорить с руководством. Через некоторое время Гедалия сообщил, что ничего не вышло, предложение отклонено.

Тем временем я получил предложение от одной евро-

пейской нефтяной компании проконсультировать крупный разведочный проект. Все еще ожидая встречи в Министерстве энергетики и полагая, что в случае, если мое предложение примут, "альтернативный анализ" займет много времени, я сообщил компании, что смогу дать ответ только через 3-4 месяца. Это их не устраивало, и переговоры прекратились. Так я потерял очень интересную работу. Но альтернативный проект был для меня в то время важнее.

Между тем ХАНА выпустила долгожданный отчет. По содержанию и анализу он был на уровне телефонной книги — в таком-то районе пробурены такие-то скважины, глубины такие-то, пористые пласты такие-то и т.д. В Нефтяном институте в России такая работа лишь с большими оговорками могла быть принята в качестве курсового проекта. Я помнил слова Цфании Коэна о том, что компания решила оставить за собой район Мертвого моря, и внимательно прочитал соответствующий раздел отчета. То же самое — никакого намека на анализ, голое перечисление скважин и результатов бурения. Текстовая часть завершалась обширным библиографическим списком из нескольких сотен названий.

Как и следовало ожидать, после заявления Коэна о том, что компания больше не заинтересована в моих услугах, моей работы в нем не было, хотя список включал почти все статьи и отчеты по Мертвому морю. Эту маленькую хитрость можно было считать обнадеживающим признаком, который указывал, что ХАНА наконец-то решила следовать моим рекомендациям. Известно, что определенная категория людей (в других странах их называют плагиаторами) предпочитает, перед тем как воспользоваться какой-либо идеей, сделать вид, что она ранее не существовала. Моя уверенность в этом окрепла, когда в январе 1990 года газета "Маарив" опубликовала подборку материалов о предстоящем новом этапе поисков нефти в районе Мертвого моря, в том числе интервью с Шахалом. В связи с этой публикацией уместно еще раз рассказать в хронологическом порядке историю вопроса.

В январе 1980 года в отчете о поисках нефти в районе Мертвого моря, на основании анализа всей совокупности геологических данных, я пришел к выводу, что "главные залежи нефти расположены под соленосным пластом. Площадь месторождения может быть большая, соизмеримая с площадью самого Мертвого моря, а запасы не менее 100 миллионов тонн. Обнаружение его требует бурения скважин глубиной 5000-6000 метров, на 150-200 метров ниже подошвы соли. Для уточнения конкретных точек бурения необходимо провести предварительную сейсморазведку". В последующие годы многие компетентные специалисты, независимо друг от друга, дали следующие профессиональные оценки этому выводу.

Джеймс Вильсон, бывший вице-президент по разведке компании Шелл, бывший президент Американской Ассоциации Нефтяных Геологов, бывший президент Американского Геологического Института, бывший советник Министерства энергии Израиля: "Я полностью согласен с выводом Соколина о том, что основные залежи нефти в районе Мертвого моря расположены под соленосным пластом на глубине 5000—6000 метров, и что для их обнаружения необходимо пробурить скважину на 150—200 метров ниже подошвы соли" (Официальное экспертное заключение по просьбе компании ХАНА, 1980).

Компания "Сисмика": "Анализ, выполненный доктором Х. Соколиным, является наиболее глубоким исследованием из опубликованных когда-либо по разведке нефти в районе Мертвого моря" (Официальный документ, приложенный к Проекту разведки Мертвого моря, 1984).

Эд Диллон, президент нефтяной компании "Номад Эксплорэйшн" (Техас): "Возможность открытия крупных месторождений была доказана лишь недавно, когда была опубликована работа доктора Хаима Соколина о поисках нефти в этом районе" (Официальное письмо президенту компании "Каскад Ойл Эксплорэйшн", 1985).

Профессор Гедалия Гвирцман, один из наиболее известных израильских геологов: "За сравнительно короткое время Хаим подготовил отчет, в котором дал убедитель-

ную оценку нефтяного потенциала района" (Профессиональное письмо, 1987).

В январе 1990 года, ровно десять лет спустя после опубликования этого отчета, Министр энергетики Шахал сообщает в интервью газете "Маарив" необычайно свежую новость: "В настоящее время в районе Мертвого моря впервые проведены глубокие геологические исследования с участием лучших иностранных специалистов. Эксперты пришли к выводу, что залежи нефти находятся под соленосным пластом, и что для их обнаружения необходимо прорубить скважину глубиной около 6000 метров" ("Маарив", 30 января 1990). Разумеется, Министру энергетики, как всякому партийному функционеру, поставленному руководить какой-либо отраслью промышленности, простительно не знать историю вопроса — даже если этот вопрос и является одним из главных в той области, которой ведает его министерство. Но советники Министра эту историю безусловно знают. И если они намеренно ввели его в заблуждение, то это лишний раз говорит о том, на каком профессиональном и моральном уровне ведется разведка нефти в стране. Израильский балаган широко известен. Но даже для Израиля необычно доведение дела до такого абсурда, когда "лучшие иностранные специалисты и местные эксперты после проведенных впервые глубоких исследований" объявляют вывод десятилетней давности принципиально новой разведочной концепцией. В этой ситуации включение моей работы в библиографический список отчета компании ХАНА, хотя бы в порядке элементарной профессиональной добросовестности, действительно могло поставить экспертов в неловкое положение.

Французский ученый и философ прошлого века Густав Ле Бон заметил как-то, что в развитии каждой новой идеи можно выделить три этапа. На первом этапе ее автору говорят, что она абсурдна и противоречит фактам. На втором этапе заявляют, что он проповедует банальность, известную каждому. На третьем этапе оказывается, что он к этой идее вообще не имеет отношения, а авторами

являются те, кто вначале игнорировали или не понимали ее.

В феврале 1990 года в "Маарив" появилась еще одна статья о разведке нефти в Мертвом море. В статье излагаются взгляды на эту проблему некоего Марка Хейтнера, нового генерального директора Национальной нефтяной компании "Ханаль", образованной в результате слияния ХАНА и нескольких других родственных организаций. Следует заметить, что Хейтнер, так же как и Шахал, не является специалистом в области разведки нефти, что не мешает ему излагать "свою профессиональную точку зрения", — разумеется, без всякой ссылки на историю вопроса. Если вспомнить то, о чем рассказано в настоящих записках, эта точка зрения не лишена интереса. В статье говорится: "У Марка Хейтнера есть заветная мечта. Мечту эту разделяют сотрудники отдела поисков нефти Министерства энергии — вложить 30 миллионов долларов в район Мертвого моря... По мнению Хейтнера, это один из последних шансов, если не самый последний, — найти нефть в Израиле. Он считает, что в районе имеется 100—200 миллионов тонн нефти. Программа стоимостью 30 миллионов долларов позволит пробурить 6 скважин глубиной 5—6 тысяч метров. Легче найти иголку в стоге сена, чем нефть таким способом (замечу, что это весьма оригинальная мысль, неизвестная нефтяным геологам, которые, если следовать формулировке Хейтнера, занимаются именно поисками иголки в стоге сена — Х.С.). С профессиональной точки зрения, — говорит Хейтнер, — намеченную программу нельзя даже сравнивать с предыдущим бессистемным бурением мелких скважин в районе Мертвого моря. Исследования последних лет (?!) показывают, что в этом районе имеются все предпосылки для нахождения больших запасов нефти... Нужно дерзать, — говорит Хейтнер, — в Нигерии, например, искали нефть тридцать лет". (Замечу для справки, что поиски нефти в Нигерии начались в 1937 году, а первое промышленное месторождение было открыто в 1953 году, т.е. спустя 16 лет — Х.С.). "Профессиональная"

точка зрения господина Хейтнера обладает многими достоинствами, за исключением одного — в ней нет новизны. Все это уже было сказано и написано десять лет тому назад.

Любой дилетант отличается от профессионала прежде всего подходом к проблеме. Профессионал добросовестно изучает историю вопроса, дилетант не утруждает себя этим занятием. Отрывочные сведения, которые оказываются в его распоряжении, он воспринимает и пересказывает как результаты новейших исследований.

Нефть в районе Мертвого моря будет в конце концов найдена. Иначе и быть не может. Открытие ее будет объявлено величайшим успехом "экспертов Министерства энергии", будут выданы премии и награды. На самом же деле это будет свидетельством одного из крупнейших провалов, в результате которого страна расходовала ежегодно около миллиарда долларов на импорт нефти, имея ее на своей территории. Каждая скважина, пробуренная в районе за последние 15 лет, — это вопиющий пример игнорирования (или незнания) мирового опыта и азбучных истин нефтяной разведки. Последней такой скважиной является "Адмон-1", пробуренная сравнительно недавно, в сентябре-октябре 1990 г. Уже после заявлений Шахала и Хейтнера о том, что проблема может быть решена только бурением на 6000 метров, проектная глубина этой скважины снова составляла всего лишь 2600 метров. В этом отношении "Адмон-1" является точной копией "Хар Сдом-1". Из выделенных на ее бурение 2,2 миллионов долларов удалось израсходовать только 1,6 миллиона — благодаря аварии и преждевременному прекращению бурения. Итак, компания "ХАНАЛЬ" приступила, вслед за компанией "Сисмика", к новому витку бессмысленной разведки.

В августе 1988 года мой "альтернативный проект" был передан представителю Министерства энергетики для обсуждения. Им оказался Моше Голдберг. О да, он хорошо знает Хаима Соколина и питает к нему дружеские чувства. И предлагаемый им проект очень нужен. Но решает не

он. А тот, кто решает, не допустит, чтобы Соколий занимался этой работой. Пусть читатель простит меня — я хочу еще раз обратиться к книге Ариэля Шарона. Касаясь решения изгнать его из армии после дискуссии о строительстве линии Бар-Лева, Шарон пишет: "Я не мог в это поверить. Одно дело профессиональный спор, независимо от того, насколько он резок. Но изгонять меня из армии в то время, когда они отчаянно нуждались в любом дельном совете, который только могли получить, даже — и особенно — если этот совет был не таким, который они хотели услышать? Помимо личного аспекта этой истории, я был достаточно нескромен, чтобы полагать, что такой взгляд на критику является безгранично саморазрушительным". Если подобные вещи возможны в армии, то что говорить о такой "третьестепенной" области, как разведка нефти. Шарон тысячу раз прав — патологическая нетерпимость к критике явление саморазрушительное в национальном масштабе. Обычно она сопровождается навешиванием ярлыков, якобы свидетельствующих о претензии на исключительность ("считает себя самым лучшим"), что еще больше усиливает разрушительный эффект.

17

Итак, израильские игры для меня окончены. В этой стране мне больше делать нечего. Звоню в европейскую нефтяную компанию и предлагаю свои услуги. У них на очереди следующий проект, и меня приглашают приехать. Так начинается новый этап в моей профессиональной карьере — работа международного консультанта. За первым проектом следует второй, за одной компанией — другая, потом следующая и так далее. Среди моих клиентов — компании разного размера, в том числе и такие, которые входят в пятерку крупнейших нефтяных компаний мира.

После года интенсивной работы я решил сделать перерыв и привести в порядок давно ждущие своей очереди

"Записки геолога". Начинаю писать и вижу, что содержание выходит за рамки этой узкой темы. Она служит лишь фоном, на котором разворачивается моя профессиональная драма, а также раскрываются особенности профессиональных и общественных отношений в Израиле. Поиски нефти не проводятся в вакууме, вне общей политической и моральной обстановки. В конечном итоге именно она определяет подход к разведочным работам и их практические результаты.

Когда-то в России я говорил себе — единственная страна, в которой я был бы счастлив найти нефть, это Израиль. Сейчас я говорю — Израиль это единственная страна, в которой я не хотел бы больше этим заниматься. И тем не менее, с каждым новым разведочным проектом я испытываю странное чувство от этого парадокса: я вынужден использовать свои знания и опыт для поиска нефти за тысячи километров от Израиля, в странах, с которыми я никак не связан, если не считать чисто профессионального интереса. В то же время в каких-то ста километрах от моего иерусалимского дома находятся залежи нефти, которая необходима Израилю и которая еще не обнаружена из-за бюрократизма, уродливых амбиций и профессиональных ошибок.

Многие годы я считал, что, как еврей, должен что-то сделать для Израиля. Где бы я ни находился — в России, Канаде, Израиле — эта мысль не покидала меня. Она была не просто абстрактной мечтой. Я делал для этого все, что было в моих скромных силах. Вероятно, моя активность была чрезмерной и вызывала раздражение чиновников от геологии. То, что в Канаде, да и во всех остальных странах рассматривается как положительное качество ("В ситуациях, когда трудно принять решение, проявляет настойчивость и целеустремленность" — было сказано о моей работе в Канаде), в Израиле считается профессиональным минусом. Как бы то ни было, железный кулак местечково-левантийской ментальности выбил эту мысль из моей головы. Больше она меня не тревожит. Остался, правда, горький осадок, который всегда возни-

кает, когда расстаешься с иллюзиями. За опыт надо платить, и единственным оправданием ошибки является урок, который из нее можно извлечь. Урок, который я усвоил, помог мне благополучно разрешить лишь профессиональные и моральные проблемы.

В России и в Канаде я жил только Израилем — событиями, которые происходили в стране, новостями из нее. Сейчас меня уже больше ничто здесь не волнует — левые, правые, религиозные, секулярные, евреи, арабы, выборы. Я смотрю на все глазами туриста — люблю природой Израиля, спокойно разглядываю его восточный облик под тонкой оболочкой западной цивилизации и с любопытством слежу за усилиями страны проложить свой нелегкий путь в современном мире.

Конечно, я желаю ей успехов, но как наблюдатель, а не участник. Именно на такую моральную позицию упорно сталкивало меня это государство. А государство, как известно, сильнее личности. И лишь одна мечта все еще связывает меня с тем идеалистом, который сошел с трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион жарким августовским днем 1977 года, — чтобы нефть, так долго ждущая своего часа в недрах страны, перекрыла путь танкерам, доставляющим ее из заграницы. В личном плане для меня больше не имеет значения тот факт, что это произойдет без моего участия. Я свой вклад уже сделал.

Из окон моей иерусалимской квартиры открывается панорама Иудейских гор — один из красивейших пейзажей, который я когда-либо встречал. Мой дом на самой окраине города, за ним больше нет строений. Только мягкие рыжие холмы, зеленые долины, оливковые рощи и далекие, словно игрушечные, арабские деревушки. Этот изумительный вид действует как целительная терапия. Какие бы неприятности не омрачали мою суетную жизнь (как образно говорят на идиш, сохнут-шмадут, шахал-шмахал, байт-шмайт), я подхожу к окну, и почти осязаемый покой, разлитый над этими вечными холмами, приводит мои мысли и чувства в состояние гармонии и равновесия. Все пройдет, а холмы останутся. Немые сви-

детели тысячелетий, они видели все — и как евреи сражались с врагами, и как воевали друг с другом. И кто знает, в каких войнах наши предки были более беспощадны? Нам остается только полагаться на Иосифа Флавия, который писал во вступлении к Иудейской Войне: "Я покажу контраст между жестокостью еврейских лидеров по отношению к соотечественникам и милосердием римлян по отношению к чужеземцам". Современный Израиль — это плоть от плоти своей истинной истории и истинных национальных традиций. Что касается десяти прекрасных заповедей, то они уже давно подарены другим народам, как и было предназначено...

На закате косые лучи солнца создают причудливую, быстро меняющуюся игру света и тени — вот ближайший холм, еще несколько минут назад озаренный светом, уже отошел в тень, а лучи высветили другую вершину. Но вот уже и ее сияние ускользает к соседнему холму. Через четверть часа на все ложится прозрачный темно-синий сумрак, который еще больше подчеркивает мягкие формы ландшафта. И лишь далеко на горизонте, где-то над Средиземным морем, продолжает полыхать огненно-красный закат.

Не такова ли и судьба человеческая? Еще вчера твоя жизнь была озарена светом, а сегодня плотная тень обволакивает тебя. Но если ты действительно чего-то стоишь и веришь в себя, то завтра снова наступит день и снова взойдет солнце. И ты снова получишь свою долю света. И в конечном счете неважно, где этот свет прольется на тебя, на исторической родине или за ее пределами. Как сказал Гете — если ты не можешь делать то, что тебе нравится, то пусть тебе нравится то, что ты делаешь. То, что я делаю, мне по-настоящему нравится. Я мог бы делать то же самое и в этой стране. Для этого я и приехал в нее тринадцать лет назад. Но теперь это уже не моя проблема.

Послесловие

Эти записки уже были сданы в издательство, когда Ирак захватил Кувейт и над миром нависла угроза нового нефтяного кризиса. События застали меня в Восточной Сибири, где я выполнял для крупной компании оценку нефтяного потенциала одного из наиболее сложных и удаленных районов мира.

Облетая на вертолете труднодоступные районы Якутии, я думал о том, как быстро все меняется в работе консультанта. Только месяц назад я закончил проект разведки Восточной Болгарии, и вот уже Сибирь — совершенно другая геология, другие условия поисков нефти. Неожиданный и волнующий поворот судьбы снова привел меня в страну, где начиналась моя профессиональная карьера. Во время одной из многочисленных встреч с советскими коллегами мне был задан неизбежный вопрос — почему, живя в Израиле, я не работаю в этой стране? Ответить на него можно было по-разному. Но я предпочел правду и сказал, что некий израильский министр вынес приговор о моей профессиональной непригодности. Разумеется, мне не поверили. Решили, что я что-то скрываю. Временами я и сам начинаю сомневаться, что такое могло произойти.

Мы летим на высоте 300 метров над Сибирской тайгой, но мои мысли сейчас на Ближнем Востоке. Вспоминаются слова, сказанные в конце Второй мировой войны Гарольдом Айкесом, министром внутренних дел в правительстве Рузвельта: "Скажите мне, как будут распределены источники нефти, и я скажу вам, как долго продлится мир".

Более ста лет назад известный русский поэт писал: "Любовь и голод правят миром". Сегодня миром правит нефть. И мои мысли возвращаются к ней. Я думаю о том невероятном упорстве и целеустремленности, с которыми нефтяные компании ведут разведку во всех уголках мира. Их ответом на нефтяной кризис 70-х годов были поиски

в любом районе, где имелись хотя бы малейшие шансы найти нефть. И успех превзошел все ожидания.

Перед лицом нового нефтяного кризиса Израиль должен наконец сделать то же самое. Затраты на разведку подсолевой нефти в Мертвом море составят не более 3% от стоимости ее годового импорта. Если не мы сами, то кто за нас? Если не сейчас, то когда? Если не под Асфальтовым озером, то где?

Иерусалим, 1990

СЛОВО АРТПАРТИИ "ПРАВДА"

Вот что сказано в декларации этой партии: "На протяжении истории искусства его цели трактовались по-разному. Но как бы они ни трактовались, искусство шло по пути свободы, ибо свобода вытекала из логики постижения феномена искусства — поиск собственных задач и очищение искусства от побочных функций культуры. Процесс этот завершился очищением искусства от самого себя. Путь свободы привел его к свободе от цели: искусство стало бесцельным. Но над мертвым телом искусства культура производит свои ритуалы..."

Против них и выступает артпартия "Правда". Что же представляет собой эта партия? Кто в нее входит? Каковы ее эстетические принципы? Подозреваю, что даже ее члены не в состоянии дать законченные, логические ответы на поставленные вопросы. По их мнению, современное искусство изуродовано, испошено, измордовано, и управляют его жизнью не нравственность, которой служил, например, Тициан, а идеология извращения моральных ценностей, открывающая путь к дегенерации общества — всякий извращенец неизбежно превращается в дегенерата...

Искусство, как его представляет лидер артпартии "Правда" Леонид Пинчевский, ничто не связывает с аван-

гардизмом, модернизмом, импрессионизмом, абстракционизмом, дадаизмом — все эти многочисленные течения есть не более, чем плод интеллектуальных извращений, претендующих на последнее слово. "Мы, — продолжает Пинчевский, — бросаем вызов любым канонам, кроме канона "Правды", — это и есть наш главный девиз и главный эстетический принцип".

Что это — бунт незамеченных и обиженных? Вызов, брошенный рынку искусств? Желание найти нишу в этом тяжком, загнивающим мире? Или, наконец, желание просто вызвать скандал, эпатировать нью-йоркских эстетов? Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Не успел в Сохо открыться первый вернисаж артпартии "Правда", как на головы ее членов обрушился поток обвинений, издевательств, подозрений, насмешек, презрения, сарказма, даже выходящая на другом конце планеты газета "Московские новости" — и та поспешила бросить в них камень.

Не будем удивляться: ситуация вполне тривиальна. Другой не следовало ожидать. Так что оставив в стороне риторику и амбиции, давайте просто посмотрим, что показывает нам эта группа нью-йоркских художников. И в начале послушаем их самих. По словам Михаила Таратуты: "Современное общество обрушивает на незащищенного потребителя массу ненужной информации. Через радио, ТВ, газеты и уличные рекламы на нас идет поток стандартных символов, штампов, приевшихся фраз." На картине Таратуты представлены 72 символа, самых расхожих в американском обществе. Знак X, по его словам, ассоциируется с плэйбоем, картинка дома — с рекламой моргеда, динозавр — с газетой "Нью-Йорк таймс", яблоко — с Нью-Йорком (Большим яблоком), Петр — с Майклом Джексоном и т.д.

Александр Шнуров: "Принципиальное отличие художника от нехудожника заключается в том, что нехудожнику кажется его авторство несомненным, в то время как художник знает о своей непричастности к творению, а только к посредничеству во взаимодействии высших сил. Поэтому лучше говорить, что я занимаюсь искусством, а не что я художник. Профессии художника и минера похожи... и те и другие ошибаются только один раз. Но в отличие от минера, художник ошибается в начале пути, и это доказывает, что его профессия опасней".

По причинам, о которых нетрудно догадаться, Пресса для членов артпартии "Правда" — это враг номер один, которому они выплескивают в глаза все, что о нем думают. Вот "Встреча с Прекрасной Прессой в Лесу" Леонида Пинчевского. Язык художника, его величественные клас-

сические формы не скрывают сарказма, которым исполнен его взгляд на мир. Голый мужчина — символ открытости, незащищенности человека (Природы) перед властью могущественной и прекрасной Прессы (Интеллекта). На протяжении истории не угасает война между вечной Природой и хитрым Интеллектом, т.е. война между Порядком и Логикой.

В работе другого члена артпартии Л. Панина — "Ослепление прессой" — тот же сарказм, но выраженный в совершенно другой манере и других символах. Взгляните, говорит художник, как пресса профанирует свое главное назначение — и превращает в слепцов людей, ждущих от нее Слово Правды.

Посетителям выставки в Сохо демонстрировалась и живая инсталляция, самый скандальный из всех экспонатов, — живой Константин Кузьминский, сидящий с бутылкой водки под кумачовым плакатом "За высокие показатели в социалистическом соревновании" и под вещим плакатом: "Все человечество дерьмо, кроме господина Кузьминского". Угол Кузьминского — это воистину целый мир, которому, будь у нас больше места, мы могли бы посвятить специальную статью. И по соседству уже не нуждающийся в комментариях "Взгляд на прессу" В. Титова, который не может не шокировать зрителя-эстета. Так же, впрочем, как работа Сергея Соколова "Гуд мониторинг Америка" (рисующая двух охваченных порывом страсти гомосексуалистов), как шокирует вся эта бунтующая, хохочущая, плюющая на окружающий мир компания художников, назвавших себя артпартией "Правда".

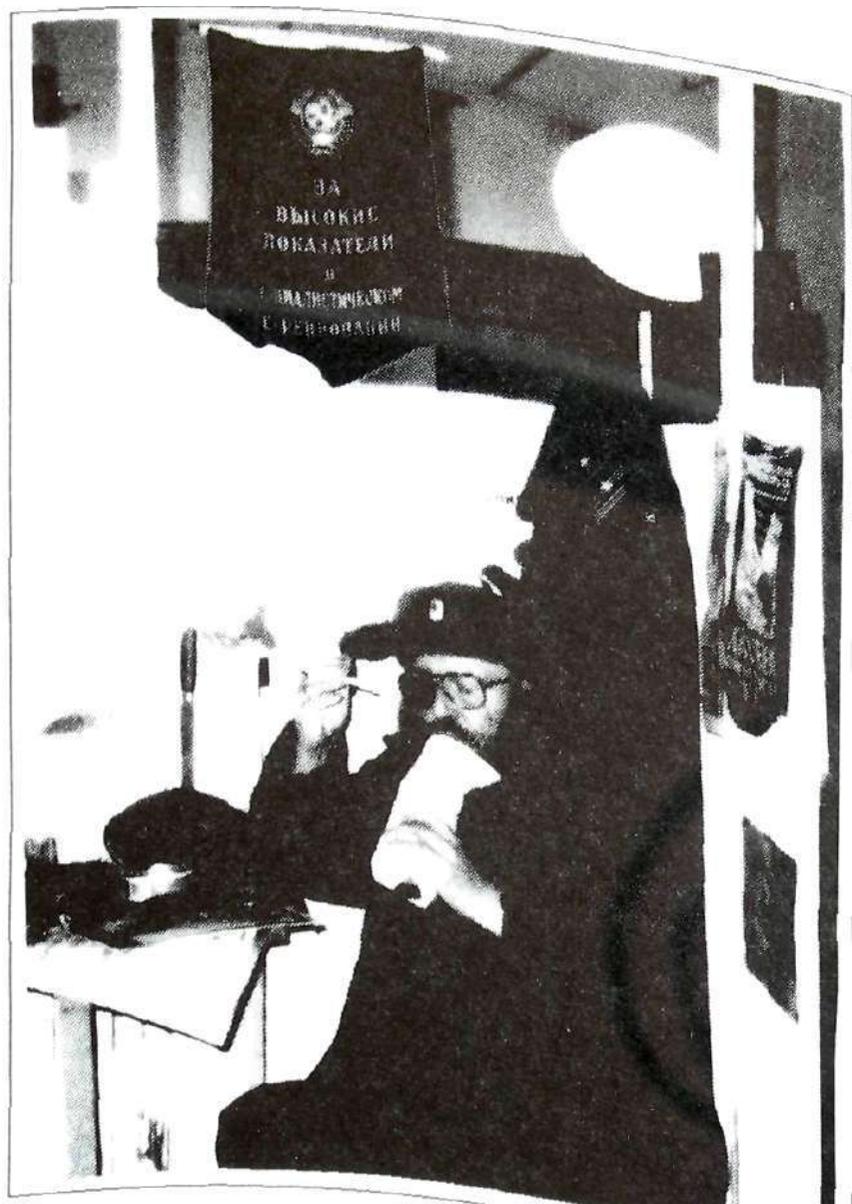
Но тут уж ничего не поделаешь. Хотите, чтоб искусство резало правду-матку, — терпите! Всех и каждого, кого мы представляем. А чтоб легче было терпеть, вспомним, что Чувство Юмора — величайшее из данных Богом чувств, и что живем мы, в конце концов, в Свободном Мире, и что у Правды не должно быть границ, как и у прекрасного, вечно меняющего свой лик Искусства...

Впрочем, если все это вам не покажется... у вас всегда есть выход: хлопнуть дверью и отправиться на соседнюю выставку нью-йоркского авангардизма, демонстрирующего в миллион первый раз свой непревзойденные достижения.

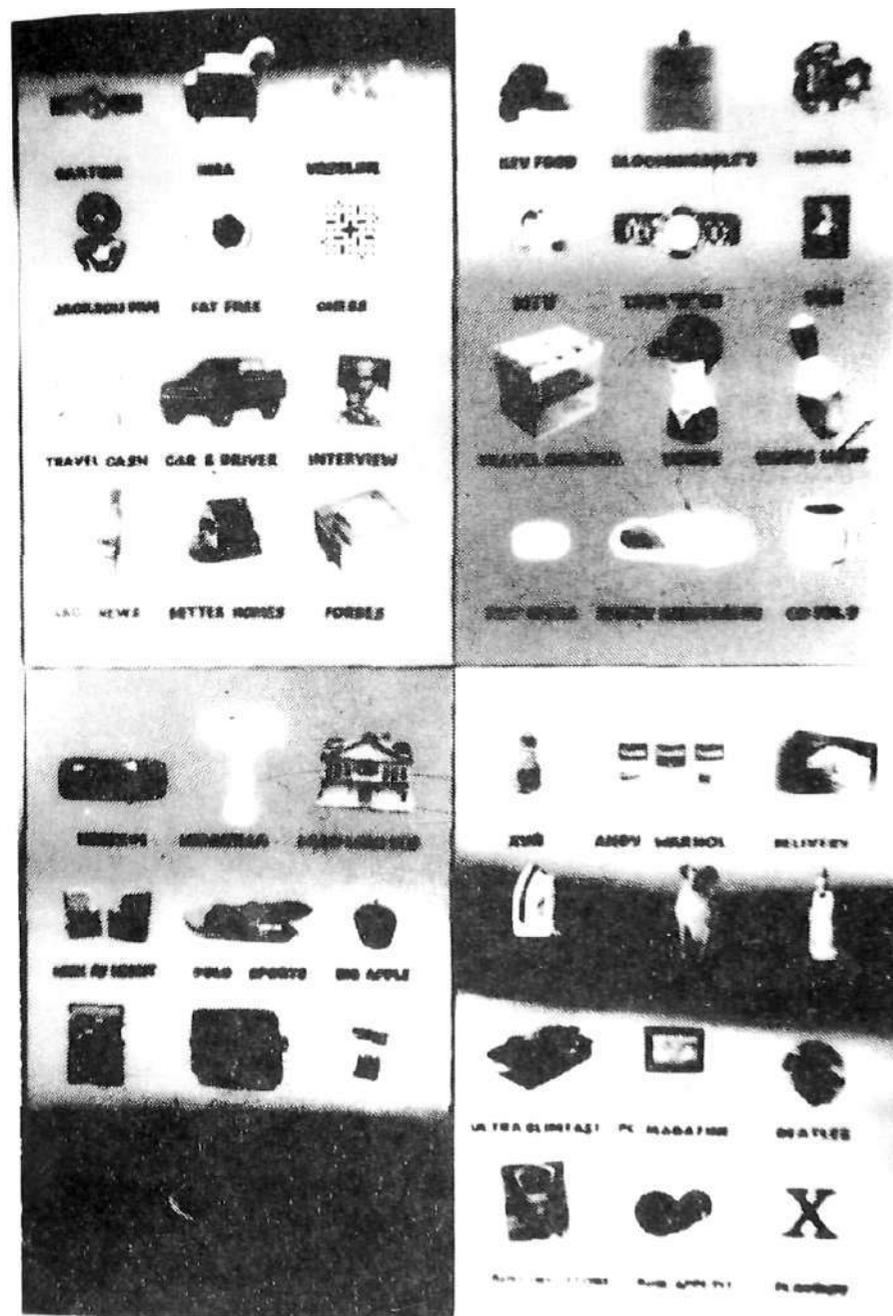
В. ПЕТРОВСКИЙ



Л. Пинчевский. Встреча с прекрасной прессой

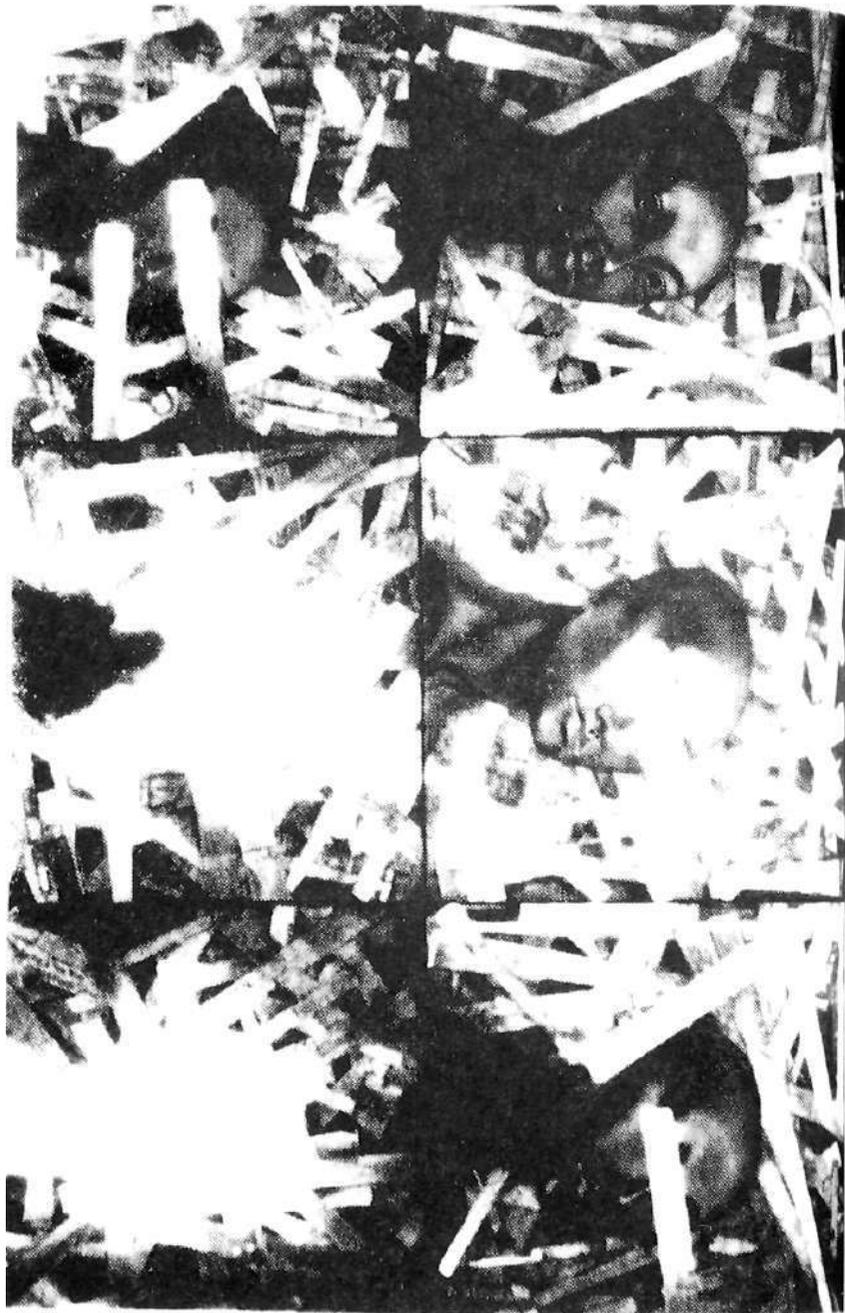


К. Кузьминский. Живая инсталляция "О пользе прессы"



М. Таратута. Фрагмент

Л. Панин. Слепление прессой



Е. Шешенин. Без названия





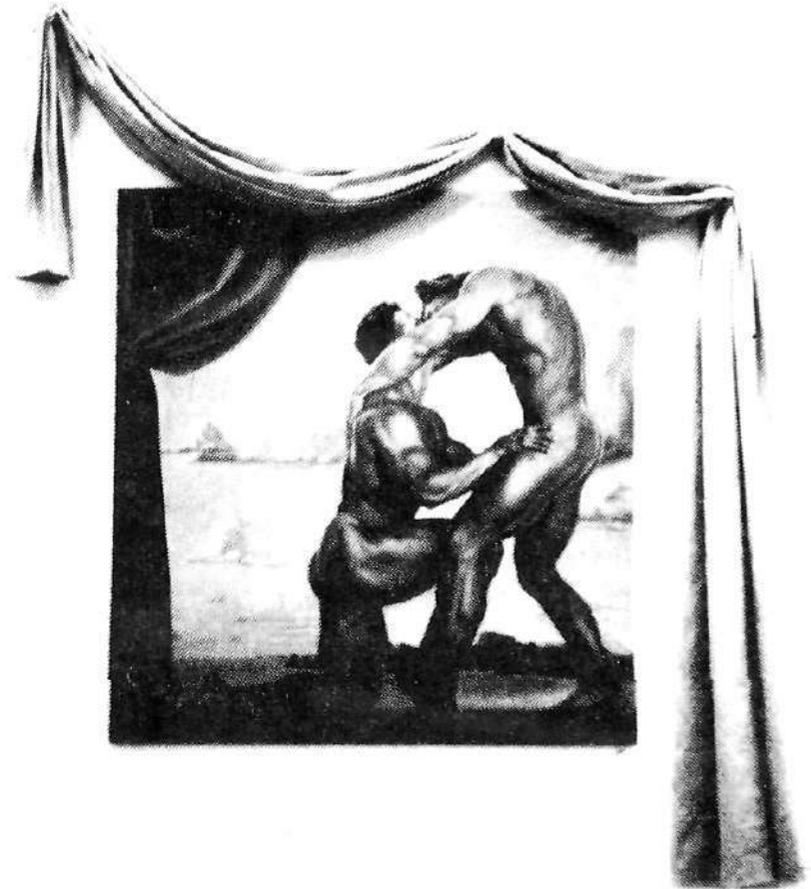
С. Соколов. Самурай номер 1



А. Шнуров. Сталин



В. Титов. Взгляд на прессу



С. Соколов. Гуд монинг Америка

ЗИНОВИЙ ЗИНИК. Родился в 1945 году в Москве. Изучал живопись в художественной школе для юношества, а затем топологию в Московском университете. Сотрудничал в журнале "Театр". Эмигрировал в 1975 году в Израиль, где был режиссером первого русскоязычного театра-студии при Иерусалимском университете, а затем был приглашен работать в Би-Би-Си и переселился в Великобританию. Живет в Лондоне. Автор повестей и романов: "Извещение", "Уклонение от повинности", "Перемещенное лицо", "Ниша в Пантеоне", "Русская служба", "Русофобка и фунгофил". Проза Зиника переведена на английский, французский и другие европейские языки. Как рецензент и критик постоянно сотрудничает с Би-Би-Си и лондонскими периодическими изданиями.

ВЛАДИМИР ДУШСКИЙ. Автор живет в Москве. Его биографическими данными редакция не располагает.

ЛОРЕН АЙЗЛИ. См. вступительную заметку к переводу.

ДМИТРИЙ БРЕЩИНСКИЙ. Родился в 1938 г. в Китае в русской семье, детство провел в Австралии. Высшее образование получил в США, окончив Колумбийский университет (аспирантуру заканчивал при университете Вандербильта). По специальности русист, преподает в университете Пурдю в штате Индиана, работая в области древнерусской литературы. С 1965 г. неоднократно бывал в СССР, его научные труды выходили в изданиях Академии наук. Работает переводчиком-синхронистом. Переводить Лорена Айзли стал лет шесть назад, познакомив с его творчеством русскоязычного читателя (публикации в журналах "Смена" и "Лепта", газете "Книжное обозрение"). В журнале "Время и мы" публикуется вторично. В настоящее время готовит к печати сборник произведений Айзли на русском языке.

ЖЕНЯ КИПЕРМАН. Родился в 1967 году в Ленинграде, учился на режиссерском факультете Ленинградского театрального института, служил в армии. Эмигрировал в США в 1988 году. В настоящее время живет в Нью-Йорке, учится в Колумбийском университете на отделении сравнительной литературы. Неоднократно публиковался в журнале "Время и мы".

ДЕНИС НОВИКОВ. Представитель группы молодых московских поэтов. Выступал и выступает во многих периодических изданиях. Работал корреспондентом "Огонька". В журнале "Время и мы" печатается второй раз.

АЛЬБЕРТ ЛЕЙН. Родился в 1939 году. До эмиграции жил в Виннице, в Прибалтике. Печатался в журналах Литвы, Латвии, Якутии. Работал слесарем, грузчиком, настройщиком радиоаппаратуры. После эмиграции живет в За-

ладном Берлине. Систематически печатается в журнале "Время и мы".

АЛЕКСЕЙ АБРИКОСОВ. См. вступительную заметку к публикации.

ЯКОВ АЛЬПЕРТ. Радиофизик. В России участвовал в исследованиях ионосферы и распространения радиоволн, проводил эксперименты на спутниках, а в последние десятилетия до настоящего времени занимается, главным образом, теоретическими исследованиями различных явлений в окружающей Землю магнитоплазме. В СССР опубликовал 9, а в США и Англии - 8 научных книг.

Александр Мигдал. См. письмо в газету "Нью-Йорк Таймс".

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Главный редактор журнала "Время и мы". Биографическую справку см. в №117.

ЭРАСТ ГЛИНЕР. Родился в Киеве. С трех лет жил в Ленинграде. В 1940 году поступил в Ленинградский университет. Участник войны. Вернулся в университет в 1944 году. Вскоре после войны был арестован и сослан в сталинские лагеря. Специалист в области общей теории относительности. В 1975 году разработал вместе с друзьями математические модели общества, пытаясь понять, был ли путь страны от Октября до развитого социализма неизбежен. В настоящее время живет в США. Автор многих статей и эссе, опубликованных в журнале "Время и мы".

ЕЛЕНА ИГНАТОВА. Известный поэт "новой ленинградской школы". Выпустила три сборника стихов. 11 мая 1990 года эмигрировала с семьей в Израиль. (В этот же день скончался ее друг, замечательный писатель Венедикт Васильевич Ерофеев.) Живет и работает в Иерусалиме.

ХАИМ СОКОЛИН. Родился в 1932 году в Москве. Окончил Московский нефтяной институт, доктор геолого-минералогических наук. В 1977 году эмигрировал в Израиль. С 1980 по 1987 год работал старшим советником по международной нефтеразведке в крупной канадской нефтяной компании, с 1987 года — независимый консультант по нефтеразведке в Израиле. Автор книги "Есть ли нефть в Израиле?" Автор рассказа "Свидетель защиты", опубликованного в №119 журнала "Время и мы".

SUMMARY OF VREMYA I MY [TIME AND WE] №122

Zinovy Zinik, "The Descent on Colure." A dramatic psychological short novel about the lives of several recent Russian emigres in the West, their unending squabbles, their inferiority complex, their inability to maintain their sense of dignity.

Vladimir Dushsky, "Pavel Ivanovich." A short story about a Russian "little man" crushed by the new era of disintegration.

Loren Eiseley, "The Flow of the River." A poetic essay of the contemporary American naturalist, some of whose best works are being translated into Russian by Dimitry N. Breschinsky. The author's abiding concern is the fate of man in a fragile and ever-changing Universe.

Zhenya Kiperman, "Poem."

Albert Lein, "On the Lips of Night Rain." Lyrical verses.

V. Bogoyavlensky, "The Test." An analysis of the results of the election to the Russian State Duma and the causes of the victory of Vladimir Zhirinovskiy.

Academician Alexei Abrikosov, "I Shall Never Return to Russia." An interview given by the well-known Soviet physicist to the newspaper Izvestia and then to the New York Times deals with the issue of whether the West should help Russian science and Russian scientists. Polemical letters from radiophysics professor Yakov Albert and Academician Alexander Migdal.

Victor Perelman, "The Fall of Sherman McCoy, Master of the Universe." Reflections on Tom Wolfe's novel, "The Bonfire of the Vanities." Power and the masses in American society.

Erast Gliner, "A Force of Nature with a Human Face? or, the Future of Russian Jews." The role of Soviet Jews in the

creation of Russian national culture; their right to leave and their right to stay in Russia.

Elena Ignatova, "Venedict." The poet Elena Ignatova reminisces about her meetings with the late Venedict ("Venetchka") Yerofeev, one of Russia's most original modern writers. Their conversations and his views of life, literature, and Russia.

Khaim Sokolin, "The Tale of Israel Oil: Notes of an Idealist." The memoirs of a former Russian geologist who, while living in Israel, undertook a number of attempts to find oil (which he is convinced Israel has) but was defeated by the ignorance and indifference of Israel bureaucrats.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 16 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 120

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1386 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала,
в качестве подарка получает полный комплект книг
издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605. USA

"ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ РЕДАКЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ С ПРОСЬБОЙ ПОДДРЕЖАТЬ ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ". В ЭТИХ ЦЕЛЯХ, НАЧИНАЯ С 120 НОМЕРА, УЧРЕЖДАЕТСЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛА. СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ЭТОТ ФОНД, БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ В НЫНЕШНИХ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИРОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ИЗДАНИЯ.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"
ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД
СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ. ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

*Цена книги - 15 долларов.
 Заказы и чеки высылать по адресу.*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
 LEONIA, NJ 07605. USA
 Tel.: (201) 592-6155**

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пере-*Sau*Ку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

Владимир Карцев РЕГОТМАС

Новая книга Владимира Карцева "РЕГОТМАС" - это нарядный литературный коллаж о шестидесятих-восьмидесятих годах, о встречах со знаменитыми российскими и американскими учеными, художниками, писателями, издателями, увиденными в новом, порой поразительном ракурсе. Это также и размышления о вечных загадках "человеческого" времени, неожиданно перекликающиеся с идеями кембриджского физика Хокинга. Эта экспериментальная работа стала двадцать первой книгой Владимира Карцева и "распечатала" третий миллион экземпляров общего количества его книг, переведенных во многих странах мира.

Владимир КАРЦЕВ (Володин) - один из наиболее интересных русскоязычных писателей, ныне живущих в США, родился в 1938 году в Самарканде, учился в Ленинграде. Журналистикой занимается с 1956 года, первая книга вышла в 1966 году. Начав с научной популяризации ("Приключения великих уравнений"), Владимир Карцев всю свою жизнь в литературе двигался к созданию собственного стиля, наиболее отчетливо проявившегося в биографии Ньютона (1987). Работал в московских и нью-йоркских издательствах. В Союз писателей вступил по рекомендации Льва Разгона, Юрия Нагибина и Даниила Данина. К одной из его книг ("Трактат о притяжении") предисловие написал академик Андрей Сахаров. В США с 1989 года.

Книга (113 с, м.о., с иллюстрациями О.Целкова, Ю. Соостера и др. известных художников) может быть заказана через издательство "Fort Ross, Inc." по адресу: 79 Madison Ave, Suite 1106, New York, NY 10016. Тираж книги ограничен, все экземпляры номерные. Возможна персонализация автографа. Цена книги - \$8.95, с автографом - \$10.95, с персонализированным автографом - \$14.95, пересылка одной книги \$1.50, каждой последующей - \$0.50. Чеки и мани-ордеры.



E. Sztein's Antiquary

PUBLISHING AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
594 CHESTNUT RIDGE RD. ORANGE, CT 06477-U.S.A.
Phone (203)387-0597

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

АРСЕНИЙ НЕСТЕЛОВ

В В В

РОССИИ



АНТИКВАРИАТ 1990

СТР. 480.

ЦЕНА 35 ДОЛЛАРОВ

ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и пережила» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает занавесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюс, д-р наук, проф. русского языка и литературы)

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ -- рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1994

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов, для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. и высылаются по адресу «Time and We»

409 HIGHWOOD AVENUE. LEONIA. NJ 07605, USA

TEL: (201)592 6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на год. Высылать с номера ... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу

.....

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07606

(201) 592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Л. Пинчевский "Променад аристократа".**

